

РАССКАЗЫ ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ



РАССКАЗЫ  
ИЗРАИЛЬСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ



ЙИЦХАК АВИ-ДАВИД  
МОРДЕХАЙ АВИ-ШАУЛ  
ААРОН АМИР  
ААРОН АПЕЛЬФЕЛЬД  
ИЕХОШУА БАР-ИОСЕФ  
ХАНОХ БАРТОВ

## РАССКАЗЫ

АЛЬБЕРТ БЕНИ  
МИРИАМ БЕРНШТЕЙН-КОХЕН  
ИЕХУДА БУРЛА  
АТАЛЛА МАНСУР  
ЙИЦХАК ОРПАЗ  
ХАВА СЛУЦКА-КЕСТИН  
МОШЕ СТАВИ  
Ш. ТАЛЬ  
БЕНЬЯМИН ТАМУЗ  
ЭВЕР ХАДАНИ  
ХАИМ ХАЗАЗ  
ИЕХУДИТ ХЕНДЕЛЬ  
ЯКОВ ХУРГИН  
ШИМОН ЦАББАР  
К. ЦЕТНИК  
МОШЕ ШАМИР  
НАТАН ШАХАМ  
ИЕХУДА ЯАРИ



# ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПЕРЕВОД С ИВРИТА И ИДИШ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1965



## РАССКАЗЫ ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Редактор *П. П. Петров*. Художник *А. Ременник*  
Художественный редактор *А. П. Купцов*  
Технический редактор *Ф. Х. Джатиева*

Сдано в производство 4 V 1965 г. Подписано к печати 10/IX 1965 г. Бумага  
84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>=5 бум. л. 16,4 печ. л., Уч.-пед. л. 16,77. Изд. № 12/4807  
Цена 1 р. 4 к. Заказ № 1986. (Тем. план 1965 г. № 852)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» Москва, Зубовский бульвар, 21

---

Отпечатано с матриц Первой Образцовой типографии  
имени А. А. Жданова в Московской тип. № 4 Главполиграфпрома  
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати  
Москва, Б. Переяславская, 46

## ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ИСТОКИ

Прежде чем раскрыть книгу, переведенную с иврита и идиш, русский читатель должен хотя бы в самых общих чертах знать, как шло историческое развитие литератур на этих двух еврейских языках. Может быть, не лишне именно теперь напомнить, что литература на древнееврейском языке началась с записей песен и сказаний о борьбе кочевников хабири (так называли дальних предков евреев), а затем групп северных (израильтян) и южных (иудеев) племен за свое существование.

Образцы народной поэзии более чем трехтысячелетней давности — мифы о сотворении мира и всемирном потопе, «Песнь Деборы», сказания о богатыре Самсоне, «Песнь песней» — могучий, ничем не сдерживаемый гимн любви и человеческой красоте — и др. стоят в ряду лучших литературных творений древности.

Следует также сказать, что анонимные авторы таких ранних памятников, как повествования о первых царях, смело вносят в литературу полемичность, публицистический тон. Наряду с обычными восхвалениями в адрес царя Давида, например, сказано много горьких слов о его коварстве и жестокостях.

Подлинное величие художественная публицистика в древнееврейской литературе приобретает с появлением речей пророков VIII—VI вв. до н. э. Речи Амоса, Исайи, Иеремии и других были обращены к народу, к толпе. Они произносились на улице — пророки, так сказать, митинговали. Острое социальное звучание этих речей дало возможность древнееврейской публицистической прозе идти

в ногу со своим временем, быть в числе активных борцов против рабовладельческого строя.

В середине V в. до н. э. завершилась огромная по своим масштабам работа, в результате которой пропущенные через богословский фильтр произведения прошлых времен были включены в религиозный канон, и жрец Эзра, основной редактор Ветхого завета, возвел его в степень Закона для евреев. Казалось, что теперь литературное творчество народа за прошедшие столетия подытожено и можно ожидать дальнейшего его развития.

Однако жизнь складывалась иначе.

Собирание и переработка литературных произведений для включения их в Ветхий завет проводились в условиях пребывания евреев в пятидесятилетнем, без малого, вавилонском плену, после того как Навуходоносор покорил и разрушил в 586 г. до н. э. иудейское государство. Когда Нововавилонское царство пало под ударами персидского царя Кира, евреи по милости последнего вернулись в Палестину, и жить им пришлось в условиях теократической общины, управлявшейся группой жрецов-обскурантов во главе с первосвященником.

Конечно, не так-то просто было жрецам и надзирателям из администрации Кира заглушить голос наследников пророков. То и дело появлялись полемические произведения, такие, например, как «Книга Руфи», внешне спокойная идиллия о доброй невестке, которая после кончины мужа заботится о свекрови. В ней положительная героиня является по национальности моавитянкой, и это в то время, когда теократическое правительство издало закон против смешанных браков! Или героиня «Книги Эсфири», ставшая женой персидского царя Артаксеркса и спасшая своих соотечественников от истребления, или герой «Книги Даниила» (о временах вавилонского пленения). Самим своим появлением эти книги, будучи патриотическими по своей сути, спорили с установками, которые жрецы и их чужеземные хозяева давали древнееврейской литературе.

Вместе с тем нельзя было не заметить факт приспособления великих литературных памятников к религиозным канонам — открытое насилие над ними со стороны святых редакторов.

Это подтвердилось появлением в IV—III вв. до н. э. книг, от которых веяло глубоким пессимизмом, безысход-

ностью, покорной созерцательностью, отказом от борьбы. Смысл в общем-то богоборческой «Книги Иова» не только в том, что хорошего, добродетельного человека постигло несчастье, что он потерял своих детей, имущество, сам покрылся язвами,— смысл этой книги в том, что на жалобы несчастного, разочаровавшегося в боге человека отвечает сам бог, то есть незыблемое вечное начало, и вывод, к которому после этого приходит автор, таков: терпи, человек, подчиняйся своей участи, ибо бессилён ты перед законами всевышнего.

Неутешительна и мысль, возникающая при чтении другой философской книги того времени — «Экклезиаста». Весь мир в состоянии застоя. Ничто не изменяется. Движение никуда не ведёт. Качественных сдвигов не происходит. А это значит: не стремись к изменениям, человек, борьба твоя будет напрасной.

В эллинистическую и римскую эпохи евреи подвергаются языковой ассимиляции, Библия переводится на греческий язык, чтобы быть понятной молодому поколению. Такие произведения, как «Книга Маккавеев», «Книга Юдифи», «Книга Товита», «Премудрость Иисуса сына Сирахова», не вошедшие в иудейский канон, сохранились только в греческих переводах. Другие произведения написаны с самого начала на греческом языке, хотя возникли в еврейской среде (философские трактаты Филона из Александрии, исторические труды Иосифа Флавия и другие).

Наконец наступает период, длившийся от I в. до н. э. и до раннего средневековья. Талмудические переработки библейских литературных памятников (агада) отражают феодализацию общественно-экономических отношений. Агада сохранила для литературы много ценного из народного творчества: великолепные сказания, басни, легенды, притчи, пословицы. Однако правда и то, что древнееврейскую литературу захлестнул поток схоластики, мистики, заменивших собой поэтическое восприятие мира, воспевание любви, красоты человека и природы.

Древнееврейскую литературу последующих столетий я бы сравнил с затопленным архипелагом: из-под океанской волны то и дело появляются высокие выступы гор на подводных островах, в то время как остальная островная



земля существует лишь для связи, для того, чтобы архипелаг оставался архипелагом, чтобы не растаял он в океане, как тают в стакане воды несколько кусков скрепленного между собой сахара; если архипелаг сохранен, то не исключено, что когда-нибудь в этом месте помелеет, острова вновь оживут, напьются солнца, оденутся зеленью, зашумят голосами людей и пением птиц. Гарантией служит то, что жизнь бурно расцветает на вершинах гор, поднимающихся, как неожиданное чудо, над затопленными островами.

Самыми заметными вершинами на подводном архипелаге древнееврейской литературы были в последующие столетия: «могучая кучка» великих лириков средневековья — Соломон ибн Габироль, Моисей ибн Эзра, Иегуда Галеви (XI—XII вв.), более поздние мастера — Иегуда Алхаризи, Иммануил Римский (XII—XIII вв.), а затем просветители XVIII—XIX вв. и выдающиеся художники слова, творившие в первой половине нынешнего столетия, — Хаим-Нахман Бялик, Саул Черниковский, Залман Шнеур.

Но вот странное дело: Бялик, Шнеур и многие другие творцы древнееврейской литературы XVIII—XX веков писали не только на языке Библии, но и на другом, неведомом в древние времена языке — идиш. Что это за язык? Какую литературу вызвал он к жизни?

Идиш возник на базе одного из немецких диалектов после того, как евреи, изгнанные из Испании, поселились и быстро акклиматизировались в Германии. Разговорный язык больших масс простого народа — бедных, загнанных в гетто людей — с самого начала был заземлен в быту и повседневных заботах, его лексика отражала безрадостную жизнь узких грязных переулков черты оседлости. Не возлюбили этот язык идеалисты — апологеты старины. Они называли идиш «служанкой» и не заметили, как эта служанка, впитав в себя элементы древнееврейского и славянских языков, сама завела большой двор: после тяжелых трудов на литературной целине XV—XVIII вв. она начиная с 70-х годов XIX в. и вплоть до Октябрьской революции открывала миру одного за другим таких замечательных писателей-классиков, как Менделе Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, Перец.

Теперь древнееврейский и идиш уже существовали рядом, и литературы на этих языках развивались параллельно. Часто можно было видеть, как тот или иной писа-

тель пишет одновременно на двух этих языках, которые внешне, казалось, враждовали друг с другом. Проникнув в живую жизнь народа, идиш стал господствующим разговорным языком, литература на идиш — живой, народной литературой, а древнееврейский язык ушел в область фанатичных, временами широко поставленных экспериментов по искусственному восстановлению утерянных им много веков назад функций.

В 1948 г. на территории английского протектората Палестины возникло государство Израиль. Но лишь полвеком раньше возобновил свои разговорные функции древнееврейский язык — иврит.

Иврит — ныне живой язык, и евреи в Израиле создают свою литературу и на иврите, и на идиш. В США, СССР, Польше, Франции, Аргентине, Канаде и других странах обиходным языком, а следовательно, и языком, на котором создается еврейская литература, остается идиш.

Итак, нет ничего удивительного в том, что литература, прошедшая исторический путь длиной в тридцать и более веков, вдруг «обернулась» в самую молодую из современных литератур.

В 20-х годах, еще при жизни Бялика, Черниковского, Шнеура и Фихмана, появились, каждый особняком, без связи с каким-либо общим для них литературным течением, молодые поэты и прозаики, которым суждено было стать зачинателями новой литературы на иврите. Палестинские писатели привнесли разные влияния, разный колорит, ибо пришли они на «обетованную землю» из разных стран: романист Агнон — из польской Галиции, поэт Шлёнский — с Украины, беллетрист и поэт Ави-Шаул — из Венгрии, романист Хазаз — с юга России, поэт Пэн — с ее севера, поэт и публицист Альтерман — из Польши. Можно в этой связи вспомнить и такой редкий случай. Русская поэтесса, Жиркова Элишева, родившаяся в Рязани в 1888 г. и выступившая в 1919 г. в Москве с двумя стихотворными сборниками на русском языке, волею судеб оказалась в 1925 г. в Палестине и в последующие годы (она умерла в 1949 г.) писала на иврите, внося какую-то особую окраску в обновлявшуюся древнюю поэзию.

Первые писатели на языке иврит принесли с собой в палестинскую литературу тематику тех стран, откуда они эмигрировали. В этой литературе, особенно в ее прозаическом жанре, складывалось на первых порах весьма деликатное положение. В стране, где действовал английский мандат и где самобытные национальные атрибуты пока еще переживали стадию становления, не оказалось достаточно твердой бытовой и фольклорной почвы для возникновения оригинальной прозы. С другой стороны, многим казалось возможным придавать национальное своеобразие вновь появившейся на древнем языке литературе путем экзальтированного, воспаленного воспевания той древности, которая когда-то служила для этой литературы живой почвой. Крупнейшие израильские прозаики старшего поколения изображали жизнь местечек в Галиции (Агнон) и на Украине (Хазаз), а также быт евреев из восточных стран (Бурла). И это понятно: жители еврейских поселений Палестины были тогда в основном вчерашними обитателями местечек. Вместе с тем нарочитая архаичность стиля и сознательное имитирование хасидистского колорита в произведениях Агнона, мистические сюжеты у Хазаса, взятые у йеменских евреев, а также всякого рода палестинские идиллии и библейские ретроспекции — все это должно было указать на то, что ничего нового не появилось, что в литературе просто-напросто удалось восстановить и продолжить старый, вернее древний, ход вещей.

Палестинская проза 20—30-х годов была, таким образом, не в ладу со своим временем, и этим можно объяснить ее слабость.

Иначе шло развитие поэзии. Авраам Шлёнский, Александр Пэн, Натан Альтерман вступили в литературу после великих реформаторов древнееврейского стиха Бялика, Черниховского, Шнеура, Фихмана и других, в то время как прозаики, имея своими прямыми предшественниками деятелей «гаскалы» (просветительства) Л. Мапу, П. Смоленскина, Р. О. Браудеса, М. Д. Брандштетера (в XIX в.), И. Бершадского, И. Бреннера и др. (в XX в.), — все же не опирались на такое же мощное литературное наследие, на какое опиралась проза на идиш. Классики еврейской прозы нового времени Менделе Мойхер-Сфорим, Шолом-

Алейхем, Перец, начавшие, как известно, свой путь в литературе с произведений на древнееврейском языке, перешли на живой разговорный язык — идиш.

В древнееврейской поэзии давно уже шел процессстройки на современность. Хаим Нахман Бялик, чье творчество никогда не было выражением фанатической верности канонам, а по самой своей сути возникло как продукт черты оседлости, освободил древнееврейскую поэзию от библейской декларативности, от ее канонической метафоры, ставшей в XX в. всего лишь эмоциональным средством воздействия у ортодоксов от литературы. Саул Черниковский вывел эту поэзию из тесных стен синагоги на лоно природы, придал ей общечеловеческие черты.

В 20-х годах в Палестине возникает молодая прогрессивная поэзия на языке иврит, которая хотя и начала с полемики против старых классических форм в творчестве своих учителей, тем не менее с верностью переняла и использовала те их достижения, которые ввели древнееврейскую литературу в ряд живых. Поэзия эта с самого начала своего существования и по сей день сохраняет прогрессивный характер, ее лучшие представители остаются верными идеалам борьбы за мир и социальную справедливость. Это касается не только коммунистов Александра Пэна, покойной Хаи Кадмон и других, но и таких, как «непослушный мапаевец» Натан Альтерман, и некоторых поэтов либерального толка, не отдавших свое перо реакции.

Общеизвестно влияние на израильскую литературу Блока, Маяковского, Шолохова. Но это только одна из сторон огромного влияния, которое оказали на нее Октябрьская революция и советская действительность.

Советский Союз, Москва стали исключительно популярной темой в израильской литературе. Называя в своем военном произведении великий город на Волге Сталинград «символом побед», Авраам Шлэнский восклицает: «Твою судьбу благословляет земля, спасенная тобой!» Хая Кадмон, поэтесса большого гражданского звучания, посвятила свое стихотворение «По московскому времени» подвигу советских космонавтов, забросивших на луну вымпел СССР. В маленькой поэме Натана Пошута «Горький» создан интересный образ писателя-борца. «Я тебе поверил, Горький», — эта строка обращена к стране социализма.

Лучшие писатели Израиля являются выдающимися борцами за мир. Это, конечно, далеко не случайное совпа-



дение. Авраам Шлёнский, Александр Пэн, Мордехай Ави-Шаул активно сотрудничают в Комитете израильского движения за мир и известны как авторы произведений, призывающих к дружбе и согласию между народами. Израильская литература, безусловно, занесет в свой актив страстное обращение к женщинам Израиля писательницы Мириам Бернштейн-Кохен:

Руками, что качают колыбель,  
Всем телом, знающим любовь и материнство,  
Дорогу паровозам прегради,  
Вцепись ногтями в страшные колеса,  
Везущие в кровавый ад сынов твоих...

Поэт А. Гиллел — представитель молодого поколения — нашел для призыва к борьбе за мир убедительные национальные интонации:

...Сверши хотя бы это, только это —  
Переколдуй весь порох на муку,  
И пушки перелей в бубенчики овцам и козам,  
Чудовища стальные преврати в коляски детские,  
в игрушки,  
Войска сцепившиеся разними, отправь их по домам,  
Их ждут все родины.

В противоположность мнению официальных кругов сионизма поэт И. Сасон заявляет в своем стихотворении «Другой парад», что его страна связана «с арабскими просторами, с крошкой Ганой, с рабочими Европы, Африки, Китая».

Провозглашая свою неразрывную связь и братство с другими народами, израильская прогрессивная литература выражает чаяния трудящихся масс. Антиколониализм, пролетарская солидарность, дружба между народами — этим темам посвящены произведения А. Пэна («Испания в огне»), М. Ави-Шаула («Стихи о нетерпении»), Н. Альтермана («Солдат-сенегалец») и другие. Вот как Александр

Пэн по свежим следам событий говорил о своей причастности к исторической борьбе в Испании:

Сегодня язык мой, библейский иврит,  
Взбегая по лестнице нот и созвучий,  
Рифмуется только со словом «Мадрид»,  
Как с избранным самым и самым певучим.

Пусть бесится свастик паучьих орда,  
Пусть ревом исходят фашистские дебри —  
Сегодня мой древний, как мир, Иордан  
Приветствует воды геройского Эбро!

Другая тема — тема взаимоотношений между евреями и арабами — проходит красной нитью через творчество почти всех израильских писателей. Блестяще обобщил отношение к этой проблеме Мордехай Ави-Шаул: «Если ссора замутил ясность вод Иордана, вы, труженики, не поддавшись этой злобе, перекиньте меня, как мост, и шагайте друг другу навстречу!»

Прогрессивная литература Израиля по-новому решает и национальную тему. Взять, например, традиционный мотив о Сионе. В старые времена у евреев написано об этой символической горе огромное множество ущербных и националистических произведений. А вот еще одно — я имею в виду стихотворение Авигодора Гамеири «Сион». Современный поэт обращается к «Сиону, мечтающему об озаренных горизонтах»: «Придет ли день, когда трудовой люд, пашущий землю, станет и твоим полновластным хозяином... или же плоды его труда будут пожирать заморские чужаки?..» И Гамеири восклицает: «Ежели будешь таким построен, то пусть меня постигнет горе, и я крикну: да будут прокляты твои строители!»

В 1943 г. в Палестине появился коллективный сборник рассказов на иврите, авторами которых были молодые люди, родившиеся на берегах Мертвого моря и Иордана. Это был первый случай, когда авторами выступили не натурализованные, а коренные жители страны (сабре), — первый случай после того, как две тысячи лет назад древ-

нееврейская литература покинула пределы Палестины. В разгар антигитлеровской войны родилась молодая проза на языке иврит.

Пять лет спустя, когда отгремела война, ликвидировавшая английский мандат на Палестину, литература столкнулась с первыми проблемами, вызванными возникновением нового государства. Война 1947—1948 гг. породила мучительную проблему арабских беженцев. Израиль только что отпраздновал свое рождение, а для народа уже наступили будни капиталистического «рая»: безработица, дороговизна, засилье иностранного (американского) капитала, а также трудности, связанные с массовой иммиграцией.

В противовес палестинской прозе 20—30-х годов молодая израильская проза последующих двух десятилетий не стремилась избегать соприкосновения с реальной действительностью своей страны. Она не стала перепевать мотивы из жизни евреев в восточноевропейской черте оседлости — ей просто было не до этого, она еле-еле справлялась с собственными проблемами.

Типичным представителем этого периода является Моше Шамир. Он — певец реальной жизни, а не библейских идиллий. Первый роман Шамира «Он шел по полям» посвящен сельскохозяйственной коммуне («кибуцу»), тяжелому труду крестьян. Вместе с тем в нем обсуждается этическая проблема: молодой сабре, возвращающийся в деревню после окончания сельскохозяйственной школы, становится свидетелем бытового разложения в его собственной семье.

Пафос Шамира в том, чтобы утвердить и укрепить порядок, сложившийся в Израиле. Эта идея руководила им, когда он сделал неудавшуюся попытку создать на израильской почве первый социальный роман «Под солнцем» и когда он в повести «Собственными руками» противопоставил ранее популярным филиппикам реалистическое изображение израильской действительности.

Когда Шамир создает свой сильный исторический роман «Царь из плоти и крови», он также имеет в виду конкретную современность. Гневно критикуя иудейского царя Александра Янная (I в. до н. э.) за жестокость в отношении собственного народа, автор вместе с тем лишь робко осуждает агрессивные войны, которые царь вел против своих соседей. Здесь сказывается влияние национали-

стического угара, охватившего с особой силой израильскую литературу во второй половине 50-х годов.

В этот период, как известно, литература в Израиле переживала глубокий кризис. Под влиянием пагубных последствий политики правительства Бен-Гуриона (суэцкая авантюра, позорный сговор с аденауэровской Германией, изоляция от социалистических стран) многие писатели погрузились в пессимизм и нигилизм, отказались от передовых идей. Даже такой мастер, как Шлёнский, пришел в замешательство, воспевая скептицизм и неверие в прогрессивные идеалы. Известны и милитаристские заблуждения Альтермана. Упадок духовных сил характеризуют отдельные стихи тех лет Вениамина Галая. «Хватит с меня символов, облаченных в прекрасное...», «Не хочу слышать слов, более высокомерных, чем слово «ужин»...», «О боже, надели нас сотней тел на одну-единственную душу...» — таковы откровенные признания Галая в стихотворении с многозначным названием «Моему поколению».

Следует отметить, что в это трудное для израильской литературы время, когда она была обессилена апатией и скептицизмом, революционное ее крыло нашло поддержку в жизни и борьбе простого народа. Когда в середине 50-х годов вышел сборник избранных стихов и поэм Александра Пэна, читатель словно проснулся от тяжелого кошмара. Пэн и его последователи среди молодых поэтов, а также такие вылающиеся представители прогрессивной поэзии, как Хая Кадмон и Мордехай Ави-Шаул, много сделали, чтобы шовинистическому угару противопоставить высокие идеалы: воспевание труда и мира, братства и дружбы.

Свежий ветер ворвался и в прозу, несмотря на то что в ней прогрессивное влияние было слабее, чем в поэзии. На виду у читателя шла (и продолжается по сей день) борьба двух начал. Так, с одной стороны, мы видим роман «Дни недели», в котором С. Изхар, выступавший в своих превосходных повестях 1949 г. за уважение интересов арабского народа, изображает в 1957 г. войну за создание государства Израиль с точки зрения растерявшегося и опустившегося человека; с другой стороны — роман И. Хендель «Ступенчатая улица», вскрывающий, правда еще весьма робко, расовую проблему в среде самих евреев в Израиле.



Спор между сторонниками реализма и реакционными апологетами шовинизма и национальной обособленности принимает острые формы и в израильской литературе на идиш. Немногочисленная, но сильная в творческом отношении группа революционных прозаиков и поэтов — П. Бинецкий, Ш. Таль, Х. Слущка-Кестин, — а также такие стоящие на позициях реализма художники слова, как К. Цетник, И. Паперников, Р. Басман и другие, отвоевывают позицию за позицией у псевдонациональных писателей.

Можно задать вопрос: куда идет израильская литература, в силах ли она преодолеть болезни роста и стать подлинно национальной литературой?

Думаю, правильно будет сказать, что израильская литература идет туда, куда идет, борясь с реакцией и обскурантизмом, трудовой народ Израиля — к демократии и прогрессу.

*АРОН ВЕРГЕЛИС*



## Одиночество

Восемь лет я знаком с одним стариком, который живет вместе с другим старцем в одной комнате, поделенной пополам занавеской.

Прежде они жили в доме иммигрантов. То было строение амбарного типа, мрачно-серого цвета, с жестяной крышей — наследие оставленного англичанами военного лагеря. Внутреннее помещение было разделено перегородками на так называемые «квартиры». Материалом для перегородок служили в лучшем случае деревянные доски, в худшем — мешковина или одеяла; качество перегородок зависело от возможностей того или иного жильца.

Затем оба старика переехали на южную окраину города и поселились в небольшом бараке в маабара<sup>1</sup>.

Как они были непохожи! Один — низкого роста, с живыми наблюдательными глазами, смотрящими на вас сквозь круглую железную оправу очков. Его натруженные руки всегда заняты каким-нибудь делом. Он удивительно походил на светливую и шумливую старуху.

Другой — высокого роста, медлительный и молчаливый. В своем упорном молчании он был подобен человеку, накрепко замкнувшемуся в какой-то непроницаемой оболочке.

<sup>1</sup> *Маабара* — временные лагеря барачного типа. В первые годы после образования государства Израиль в них размещалась значительная часть эмигрантов. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Между собой они не разговаривают. Как зидно, они все сказали друг другу еще раньше — восемь лет назад. С того времени беседа между ними ведется обычно в одностороннем порядке. Первый спрашивает и сам себе отвечает, но когда второму уже нельзя уклоняться от ответа, тогда он что-нибудь пробормочет и снова надолго замолчит. Это бормотание обычно доносится из-за занавески, которая служит также дверью, соединяющей две части помещения.

Каждый сам несет свой груз забот и затруднений. У первого жизнь заполнена заботой о самосохранении, поисками мало-мальских заработков на сезонных работах. Другой же по слабости здоровья вынужден находиться на иждивении многосемейной дочери.

Они вынуждены жить вместе, так как каждый имеет право только на половину крова. Один общий замок с двумя ключами — у каждого свой. А что делать, когда иного выбора нет? Приходится терпеть. Да и разве мало обвенчанных пар живут подобным образом?

Моим другом был первый старик, и свой рассказ я пове-ду о нем.

Этот старик питал большую любовь к чтению. Благодаря этой его любви и моему знанию французского языка я приобрел право войти в мир, в котором он жил.

— В моем возрасте, — говорит он, подмигивая мне, — плохо спят по ночам. Вот я и читаю каждую ночь при лампе.

Действительно, по количеству газет, брошюр и журналов, наваленных грудами на столе и сложенных в углу, можно было совершенно точно судить о его бессоннице.

— О, это не всегда удобно. Например, зимою, когда из-за холода трудно вытянуть руки из-под одеяла, чтобы держать книгу. Однако приспособляюсь — ставлю раскрытую книгу поверх одеяла, а когда надо перелистывать страницу, осторожно вынимаю руку. При этой операции нельзя делать резких движений.

Фразу он заканчивает троекратным вздохом. Лукаво посмеиваясь, он делает шуточный, полный скептицизма жест и тут же спрашивает, что принес я ему для чтения.

Я даже получаю удовольствие от этой сделки — ведь он в свою очередь снабжает меня иллюстрированными газетами и журналами по вопросам науки и культуры. К тому же мне интересно расшифровывать загадочные

карандашные пометки: вопросительные и восклицательные знаки, разные подчеркивания и замечания, разбросанные по полям страниц и между строками.

Вот примеры некоторых замечаний: «А как это согласовать с теорией Дарвина?!» и далее: «Чепуха!», или еще: «Почтеннейший автор заблуждается. Луна образовалась не от Земли, а от Солнца. Непростительное невежество!», или «Над этим стоит подумать!» А вот подчеркнуто красным карандашом: «Учение Конфуция придаст особое значение обычаям, существующим испокон веков».

Милый мой старец, я не удивлюсь, если когда-нибудь станет известно, что ты втайне, при свете закоптелой лампы, во время своих длинных бессонных ночей с большой любовью писал каллиграфическими буквами роман на возвышенную тему.

Деревянный серый домик, где живет старик, расположен у дороги, по которой я хожу лишь раз в неделю. Иногда я встречаю его во дворе, занятого кормлением кроликов.

Он растит кроликов в решетчатых ящиках из-под овощей, которые стоят на столбиках над землей.

— Здравствуйте,— обращаюсь я к нему,— когда же пригласите меня отведать вашу зайчатину?

С нескрываемой досадой он пронизывает меня взглядом, вытягивает шею, напоминая петуха, который собирается склевать пшеничное зерно. В роли зерна в этот момент выступаю я. Но он сердится недолго. Выражение его лица скоро меняется. Рот растягивается в улыбке, обнаруживая несколько сохранившихся зубов, среди которых торчит один совсем почерневший.

Мягким голосом он приглашает меня подойти.

— Эта затея вовсе не ради мяса,— говорит он,— а из-за любви к красоте животного мира. Подойдите поближе и полюбуйтесь!

Мы оба наблюдаем за прыжками маленьких меховых клубочков. Тем временем старик вынимает из лохани отборную траву и по листочку просовывает в ящик. Он все время говорит кроликам ласковые слова, а те даже во время кормления не перестают к чему-то прищохиваться.

Кролики подошли от эпидемии. С горя старик чуть сам не заболел.



После этого он занялся выращиванием цыплят. И снова я встречал его стоящим во дворе около старой ржавой решетки загона, внимательно наблюдающим за крошечными созданиями. Заметив меня, он повелительным жестом приглашает меня подойти поближе.

Цыплята старательно клевали зерно. Время от времени какой-нибудь цыпленок прекращал свое занятие. Подняв одну лапку со сжатыми пальцами, он вытягивал шею и поворачивал ее то вправо, то влево, как бы желая удостовериться, все ли кругом благополучно. Убедившись в наших мирных целях, он снова выпрямлял лапку, растягивал пальцы, а затем очень осторожно опускал лапку на землю.

— Ваши птицы,— говорю я ему,— ступают как по яйцам.

Но настоящих яиц от своих цыплят он так и не дождался. Непутевые соседские мальчишки в отсутствие старика разломали загон. Он пришел с работы, с продовольственной сумкой на боку и в мятой шапке, и не нашел даже следов от своих цыплят.

Ах, эти мальчишки из маабара! Это про вас сказано: «Красота местности зависит от ее обитателей». Какой вы безжалостный народ! Зачем вы обидели этого одинокого старика, так тосковавшего по человеческому участию? Зачем вы превратили его в объект своих шалостей? Разве вам нужна была та библия на французском языке, которая таинственным образом исчезла с полки у окна?

После этих происшествий я неожиданно обнаружил, что старик мой сильно одряхлел.

Прежде, бывало, мы громко беседовали о высоких материях. Он горячо спорил, жестикулировал, однако речь его всегда оставалась корректной.

И только иной раз с выражением человека, вызывающего другого на дуэль, он вставлял такие фразы: — Почтеннейший! Прошу меня извинить, но вы говорите нелепые вещи...

Я, разумеется, молчал, подавляя в себе желание улыбнуться, не мешая вырываться наружу его священному гневу. И незаметно вытирал с лица брызги, вылетающие из его рта.

Сейчас он почти не выходит во двор. Он встречает меня при входе без улыбки, берет табурет серого цвета, сделанный им самим, тащит его по комнате и молча, глазами предлагает мне садиться.

Сам он продолжает бродить по комнате, занимается различными мелочами: ополаскивает жестяную тарелку водой из рукомойника, стоящего в углу, вешает на гвоздь полотенце рядом со связкой чесночных головок, расставляет по местам разные баночки и кувшинчики.

Мое присутствие в комнате он даже как-то не воспринимает. В конце концов он медленно и тяжело садится около меня и тихим голосом заводит беседу. Однажды он мне сказал:

— Прошу вас, не приносите мне больше книг.

Я удивился и шепотом спросил:

— Почему?

Он покачал головой и грустно сказал: «А разве вы не знаете?» Затем он встал, открыл дверь, желая убедиться в том, что никто не подслушивает за стеной, и, возвратившись, добавил: «Я прошу не приносить мне больше книг. Я от них устал... Голова моя переполнена думами, как гранатовый плод семечками. Мои мысли кружатся у меня в голове, как танцующие чертики, и не находят выхода».

С пронизывающим печальным взглядом, с трясущимися от сильного возбуждения двумя глубокими морщинистыми складками на шее, он почти выкрикивал: «Не с кем мне здесь разговаривать!» При этом он растягивал каждое слово, как бы подчеркивая тем самым суть трагедии.

Потом он сказал: «Теперь вы понимаете, любезнейший, что мне не с кем обмениваться мыслями? Здесь — как в тюрьме, как на кладбище!.. Иногда я кулаками бью себя по голове и спрашиваю: зачем я оставил Францию, зачем? Там я был, как и здесь, одинок, но там по крайней мере все говорили со мной по-французски!»

И добавил: «Вы, конечно, понимаете, что дело не только в людях, но даже в предметах, в самой природе. Есть у меня единственный брат, он один остался от всей нашей семьи. Он живет в Аргентине, но он не пишет, как видно из опасения, что я захочу залезть к нему в карман».

Тут на него напал продолжительный кашель, перешедший затем в горестный смех, искрививший его лицо. Указав глазами на занавес, он вдруг заговорил тихим голосом.

— Этот сумасшедший — не человек. Он молчит и следит за мной. Я хорошо знаю, что говорю. Как только я выхожу во двор по надобностям, он немедленно появляется в окне и следит за мной.

Что мог я на это ответить?

Имея достаточный опыт, как вести себя со стариком, когда он бывал в таком настроении, я ограничился тем, что сказал:

— Вам, конечно, лучше знать.

Обещав зайти к нему снова на будущей неделе, я попросил дать мне почитать что-либо новое.

— Ничего нет,— сказал он, и при этом сделал величественный жест, чем окончательно рассеял мои иллюзии.

Это была правда. Кипы газет лежали, как всегда, на трех чемоданах, а журналы были сложены на буфете, похожем на один из ящиков, в которых раньше содержались кролики, только больше размером.

Для меня стало ясно, что ничего нового в его библиотеке не прибавилось.

— На нет и суда нет! — Поднявшись с места, я направился к выходу.

В тот момент, когда я взялся за ручку двери, старик потянул меня за рукав и прошептал на ухо:

— Я экономлю.— Он посмотрел на меня торжествующим взглядом.

— Экономите? — переспросил я, выразив при этом удивление.

Мой вопрос немедленно вызвал реакцию. Глаза старика забегали быстро-быстро, отражая внутренний испуг и тревогу.

Вытолкнув меня на улицу, он захлопнул дверь.

Там, на улице, он исподтишка бросал вокруг недоверчивые взгляды и, убедившись, что поблизости никого нет, заговорил:

— Я экономлю, чтобы приобрести квартиру. Здесь уже невозможно жить.

Жестом он обратил мое внимание на окрестность маабара. Местность действительно имела жалкий вид. Бывшие садовые участки заросли колючками и чертополохом, а сорная трава поднялась настолько, что почти скрыла все дорожки. Соседние бараки были уже разобраны, от них остались лишь бетонированные фундаменты, напоминающие большие могильные плиты на громадном кладбище.

— Только мы здесь остались забытыми,— сказал он с большой горечью.

— Почему же только сейчас вы начали хлопотать об этом? — спросил я его.

В глазах старика загорелся юношеский задор. Начав с шепота, он заговорил потом громче и в конце перешел почти на крик:

— Что? Заплатить столько денег, чтобы до самой смерти жить вот с этим? Такого не может быть!

И он резко качнул головой в сторону своего компаньона, очевидно, намекая на его никчемное существование.

Я перестал его понимать — хочет ли он в самом деле приобрести новое жилье или нет?

— Там я найду себе земляков, с которыми можно будет вести культурные беседы.

— Простите меня, — ответил я. — Объясните, пожалуйста, где это — «там»?

Старик, как будто вырванный из волшебного мира грез, бросил на меня осуждающий взгляд и ответил:

— Уважаемый, ведь я уже вам говорил: в Хайфе!

Месяц спустя я снова проходил мимо хижины старика.

Увидев мерцающий слабый огонек, который просвечивал сквозь дверное стекло, я окликнул его. Дверь открылась, и на пороге показался старик. Жидкие волосы на его голове просвечивали при тусклом свете керосиновой лампы, стоявшей в комнате позади него, образуя вокруг головы как бы светящийся нимб.

— Ах, это вы? — Он успокоился и пробормотал что-то, поворачиваясь ко мне спиной: — Входите!

Я не располагал свободным временем, но, чтобы не обидеть старика, вошел за ним следом.

Передо мной была та же хорошо знакомая мне обстановка.

Я сел против висевшей на стене географической карты страны. Один из ее уголков был утыкан иглками с болтающимися хвостиками ниток. Я закурил папиросу.

Старик, стоя около керосинки, продолжал стряпать ужин.

Мне невольно пришло на ум сравнение со сгорбленным силуэтом волшебника, приносящим ночную жертву своим богам... Но нет, предо мной стоял одинокий человек, который варил для себя макароны в большой железной кастрюле.

— Три минуты, — прошептал он озабоченно, а затем положил вилку поверх кастрюли, чтобы макароны не вывалились через край.

Огонь в керосинке полыхал, как маленький флажок, обдуваемый ветром.

Старик посмотрел на висевший на стене будильник, который своим тиканием неторопливо отбивал время, а затем взял керосиновую лампу и поставил ее на стол.

Огонь лампы отражался в стеклах его очков маленькими бликами, которые исчезали и снова появлялись при поворотах головы.

— У меня случилось несчастье,— произнес он печальным голосом и как бы застыл на время, погруженный в свои мысли.

Потом он печально поведал мне:

— Поверьте, от такого удара трудно оправиться! Там, в сумке, у меня были все мои вещи: совсем новая, теплая рубашка, которую я купил к зиме, свитер, брюки, новый жилет, берет и даже ассигнация в десять лир, которую я не мог разменять. На обратном пути с работы я хотел зайти в магазин, чтобы купить продукты. Да, я знал, что иногда воруют по мелочам. Недавно у кого-то пропал новый консервный нож. Поэтому я спрятал деньги за подкладку берета, для сохранности... Но кто мог подумать, что украдут сумку со всеми вещами, всю сумку?! Возвращаюсь после работы, а сумки нет. Возможно, кто-нибудь по ошибке взял. Тем временем автобус с рабочими уже отъезжал, и мне кричали: «Эй, дедушка! Залезай! Пора ехать!» Я и поехал. Было холодно, а я без свитера. По дороге вспомнил, что и ключ от комнаты тоже был в сумке...

Он замолчал и костлявой рукой провел по щетинистым волосам.

Из-за другой стороны занавеса раздалось медленное шлепанье домашних туфель.

Старик приблизился ко мне вплотную и заговорил шепотом:

— Этого осла дома не было, продрог я на улице без свитера. Так и не дождался, пошел разыскивать его у дочери.

Он тихо вздохнул. Кожа на скулах натянулась, и на лице застыло выражение глубокой грусти.

— Вот так, мой друг! Всего украли лир на семьдесят! Что я буду теперь делать? Поверите, я совсем заболел. Сегодня не мог встать на работу, будто паралич меня хватил.

— Почему же вы не обратились за помощью в полицию? — спросил я его.

Он поднял глаза и посмотрел на меня ясным печальным взглядом.

— А вы серьезно думаете, что это принесло бы пользу?

До моего ухода он молча стоял, не проронив больше ни слова.

Спустя неделю, проходя мимо барака, я не заметил света в его окне и поэтому не зашел, как обычно.

Прошла еще неделя, и я снова, идя мимо, не увидел света.

Я спросил соседей и узнал, что старика отправили в больницу.

В третий раз, проходя мимо, я обрадовался: окошко светилось.

— Здравствуйте, мой друг! — крикнул я, вызывая старика.

Дверь открылась, и на пороге появилась высокая фигура старика-молчальника.

— Его нет, — сказал он.

— Неужели он уже переехал в Хайфу? — спросил я, хотя в это не верил.

— Его вчера похоронили, — сказал молчальник и тихо закрыл дверь.

Я пришел на кладбище, чтобы нанести прощальный визит моему умершему знакомому. С трудом я нашел могилу старика.

На верхнем конце косо воткнутой железной дощечки карандашом была написана фамилия покойного.

Я закрыл глаза. Мне вдруг захотелось крикнуть: «Здравствуйте, мой друг!» — но тут же я услышал голос старика-молчальника: «Его нет».

Открыв глаза, я увидел лишь маленький холмик взрыленной земли в длинном ряду ему подобных.

Вечное жилье.



## Странная собака

При выходе из автобуса, когда нам пришлось в невероятной давке пробивать себе дорогу к двери, мы походили на людей, связанных по рукам и ногам, которым дозволено бороться только плечами, локтями и бедрами... К тому же мы буквально купались в собственном поту.

— Минуточку,— сказала тетя Мириам, когда мы уже стояли на обочине шоссе.— Дайте отдышаться...

Но и на шоссе мы не почувствовали особого облегчения. Хотя солнце уже клонилось к закату, жара стояла нестерпимая. Рубашка прилипала к телу, как чья-то противная мятая кожа.

Почти все, кто сошел с автобуса, повернули от шоссе направо, к пустырю, за которым виднелась маабара́. Это был трудовой люд, возвращавшийся домой после работы в городе или в ближайших селениях. В толпе было много женщин, усталых, изможденных, с тяжелыми кошелками в руках. Это были няни, уборщицы из различных учреждений, домашние работницы.

Аарон, высокий парень лет двадцати восьми, был одет в хаки. На гимнастерке виднелись жирные пятна и следы известки. У него были синие, всегда смеющиеся глаза ребенка. Вместе с ним мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как он устроился на новом месте. Аарон шагал широко, размашисто. Мы с трудом поспевали за ним.

— Взгляните, дядя, вон туда. Видите зелень? Так вот, оттуда до нашего дома всего метров двести,—

сказал Аарон.— Это там цитрусовая плантация. Красиво!

— Чья плантация-то?

— Бесхозная. Нам повезло. Когда мы освободили Бир-Шариф и арабы удрали...

— Что освободили?

— Ну, деревню.

— Ты хочешь сказать, захватили...

Аарон промолчал. Тогда я спросил:

— Сейчас у вас спокойно?

— Абсолютно.

— Они вас не навещают?

— Кто «они»?

— Нарушители границы.

— «Не дремлет и не спит страж израилев», — процитировал он в ответ стих из псалма. — А что им здесь делать? — Он показал на развалины, видневшиеся юго-восточнее барakov.

Там будто сквозь пепельно-красную вуаль высились груды кирпичей, полуобвалившиеся стены. Некоторые руины напоминали гигантские статуи, поваленные на землю. Лучи заходящего солнца рисовали на развалинах мягкими пастельными красками причудливые миниатюры: крепости, башенки и шпили из старинных легенд и сказаний.

— Там была деревня, — сказал Аарон.

На заброшенном поле не осталось никакой зелени. Только сухие, уродливые корневища торчали из плотного краснозема, свидетельствуя о том, что эту землю топчут ежедневно сотни пар ног.

Мы подошли к баракам. Два длинных, деревянных, кое-как сколоченных строения стояли напротив выстроившихся в ряд одинаковых барakov из рифленого железа, блестящих на солнце. Этот жилой уголок, залитый солнечными лучами (к вечеру жара усилилась), гудел от множества копошившихся в нем людей. Только небольшая часть их шла в одном направлении — пестрый поток женщин, сошедших с автобуса, двигался сквозь шумный людской муравейник. Большинство же бесцельно слонялось взад и вперед, разомлев от жары и обмахиваясь носовыми платками. Люди покинули свои накаленные солнцем жилища и ждали освежающей вечерней прохлады. Но прохлада не приходила. Стайки детей носились по улице вдоль деревянных барakov.



— По вечерам здесь всегда так,— сказал Аарон.— Как на ярмарке...

Мелкие торговцы стояли у своего товара, разложенного на лотках, а то и прямо на земле. Одни торговали конфетами и семечками, другие предлагали остатки домашнего скарба: кресло, люстру. И все «очень дешево, почти что даром». А вон там предлагают плащи, глиняную посуду... Красивая смуглая женщина лет сорока, рослая, черноволосая, продавала нарядное платье. На нем сверкали стеклянные жемчужины. «Четыре лиры, четыре лиры!» — выкрикивала она монотонно и немного грустно.

— У нас и собака есть,— говорит Аарон таким тоном, будто продолжает начатый разговор.

— Хорошая?

— Странная какая-то. За одно это стоит ее кормить. Я еще таких не встречал.

— А что в ней странного? — спросил я просто из вежливости. Но Аарон с жаром ухватился за новую тему и отвечал весьма обстоятельно:

— Что странного? Да всё! По всей вероятности, это арабская собака. Мы ее здесь нашли, она не хотела уходить. Рабочие, которые строили лагерь, не раз ее прогоняли, а она все возвращалась. Если бы я знал собачий язык, я бы обязательно спросил: что тебе тут надо? Зачем ты осталась? Следить за нами? Или, может, опекать брошенное имущество?.. Нет, другие собаки так себя не ведут. Они бродят по деревням, ничейные, бесхозные... Эта же, право, единственная в своем роде. И мы ее прогоняли, а она все равно возвращалась. Я хотел ее пристрелить. Но когда я подошел к ней с ошейником, она сама протянула мне шею, будто только этого и ждала. Хитрая bestия!

— А что в ней хитрого?

— Лиса. Сушья лиса,— продолжал горячо Аарон.— Стоит молча и смотрит на тебя с любопытством, таким долгим, пронизывающим взглядом. И ты на нее смотришь, но к ней не подходишь. И вдруг она как взъеритса, как начнет рваться с цепи, словно бешеная.

Тетя Мириам смеется:

— Так ведут себя все сторожевые собаки. Они сначала молчаливо смотрят, а потом бросаются на тебя.

— Нет, нет,— говорит Аарон.— Другие собаки ведут себя совсем не так. Сторожевые псы еще издали начинают лаять, почуяв чужого. А тут совсем другое дело.

— Ну тогда считай, что у тебя есть отличная сторожевая собака,— заметил я.

— Не торопитесь. Это вовсе не так. На нее нельзя полагаться. Взять, к примеру, ее лай. Очень он у нее странный. Иногда лает, будто гром гремит. И звучит в лае какая-то обида в басовом регистре. Но вдруг гром обрывается и переходит во всхлипывания. Собака плачет прямо-таки человеческим голосом... А бывает и так: глядит на тебя воспаленными глазами с любопытством, как бы изучает. И вдруг — шмыг в кусты, будто кого-то испугалась. А кого — непонятно. Ты ведь ничего ей не сделал, пальцем не тронул. Значит, ее напугала какая-то мысль. Потом отводит глаза в сторону и погружается в размышления...

— Охота тебе думать об этом,— сказал я нетерпеливо.

— Напрасно вы так...— ответил Аарон обиженно.— Если не знаете, зачем же так говорить.

За песчаным холмом показался дом, здесь жил Аарон.

— Похож на простую арабскую хижину,— сказал я.— Ты его внутри перестроил?

— Да. И теперь он подобен ребенку от смешанного брака. Ни то ни се... Изнутри еще кое-как, а снаружи... Строительные материалы растаскали соседи, уж постарались. Поставил ограду — не помогло, и ограду свалили. Тогда я махнул на все рукой и пошел работать в город. Жить-то надо.

Действительно, проволочная ограда была растерзана, несколько кольев, вырванных из ямок, валялись на земле. Во дворе лежали сложенные штабелями блоки, доски, кирпичи. В небольшом огороженном загоне лениво бродили утки, шмыгали кролики, ковырялись в земле не то три, не то четыре курицы. С другого конца двора нас приветствовал диким ревом осел.

А вот и загадочная собака. Не медля ни минуты, она принялась бешено лаять, так натянув при этом цепь, что еще немного — и собака бы задохнулась. Конец цепи был прикреплен к кольцу, надетому на толстую железную проволоку, которая была протянута по диагонали через весь двор, так что собака могла бегать вдоль проволоки

по всему двору. Хриплым лаем она изливала свою ярость на пришедших.

Собака была рыжей, как здешний краснозем. Ее шершавая ржавая шкура, кажется, отроду не видела щетки хозяина.

— Пэре!<sup>1</sup> Пэре! Перестань! — пытался успокоить ее Аарон. Но ничего не помогало. Собака будто взбесилась. Она металась во все стороны, делала стремительные прыжки, рыла землю, одним словом, вела себя так, будто и Аарон был ей совершенно незнаком.

В дверях показалась Дебора — жена Аарона, невысокая смуглая женщина. Навстречу нам бросилась крохотная девочка. Ей было года два, может быть, два с половиной, не больше. И вот перед девочкой собака отступила. Она не стала ласковой, не стала лизаться, как это делают в избытке чувств все собаки, а повернулась, опустила голову и уступила девочке дорогу. И сразу воцарилась тишина. Собака обогнула угол дома и легла, повернув голову к стене.

— Видел? — спросил Аарон. — А был еще такой случай. Однажды она схватила за шиворот зазевавшегося кролика. И помчалась вдоль проволоки к Тырце. Держала она его зубами бережно, словно драгоценный подарок. И выпустила только тогда, когда девочка потянулась за кроликом.

Я взглянул на Аарона с удивлением. Тетя же Мириам сказала:

— Послушай, Аарон, а задач по алгебре эта собака у тебя не решает?

— Нет, не решает, — в тон ей ответил Аарон. — Она ведь деревенская собака и школу не посещала.

Когда мы стояли у порога дома, Аарон вдруг воскликнул:

— Смотрите! Смотрите! Доченька, что делает Пэре?

— Смеется! — сказала девочка, размахивая ручками. И в самом деле, собака беззвучно скалила зубы. Можно было подумать, что она улыбается.

— А как она смеется, доченька? — спросил счастливый отец. Он был очень доволен, что мог подтвердить правильность своих слов о странностях собаки.

---

<sup>1</sup> Пэре — дикий осел; в переносном смысле — дикарь, грубиян.

— Вот так! — и малышка послушно скорчила гримасу, показав свои белоснежные зубки.

Не знаю почему, но это послушание вызвало во мне грусть. Девочка чем-то напомнила в этот момент маленькое дрессированное животное, жалкую забитую обезьянку.

— Аарон, прошу тебя, перестань,— сказала Дебора, и в ее голосе прозвучала не то тоска, не то досада.

— Что случилось? Ведь у нас гости. Нельзя ли без сцен?

— Не надо смеяться над собакой...— Дебора обернулась ко мне: — Он думает, что собака ничего не понимает.

— Напротив! Ты, Дебора, меня не поняла. Я как раз хотел показать, что наша собака отлично все понимает, что это особенная собака!

В комнате было сумрачно. Дебора зажгла керосиновую лампу, стоявшую на столе, и стала готовить ужин. Аарон поужинал раньше, но он тоже вымыл руки. А пока жена накрывала на стол, он снова вернулся к излюбленной теме. Видно, она его занимала все время.

— Сейчас я вам объясню, почему Дебора рассердилась. Если хотите знать, она влюблена в эту собаку. Вы нас, дядя, должны рассудить.

Мне стало ясно, что Дебора в дурном настроении. Она сердилась на мужа, но показывать этого не хотела.

— Нет, судьей между мужем и женой быть не берусь! — ответил я.

— Не между мужем и женой, дядя! Между мной и собакой.

Все рассмеялись. Не смеялась только Дебора. Лоб ее покрылся морщинами, на какое-то мгновение она застыла посреди комнаты с тарелкой в руке и потупила глаза.

Мы расселись вокруг стола. В конце стола против открытой двери на стул с подушкой посадили Тырцу. Девочка без умолку болтала. В ней было что-то отцовское, беспечно шаловливое, хотя внешне она походила на мать.

— У Пэре никогда не будет детей, потому что он пес,— неожиданно сказала девочка.

— Надо сказать «щенят»,— поправил ее отец.

— Нет, щенки бывают у собак. Правда, мама?

Снаружи послышалось глухое рычанье, но какое-то то скливое, заунывное.

— Пэре скучает, потому что у него нет дедушки,— сказала девочка.— Правда, мама?

Я попытался перевести разговор на другую тему.

— Расскажи, Аарон, как ты получил этот дом. И чем тебе он приглянулся? Разве маабара подходящее место для коренного жителя страны?

— Я работал здесь на строительстве. Мы ставили и эти железные коробки и деревянные бараки. Тут-то я и увидел этот скромный домик, стоящий на отшибе. Он мне очень понравился. Я даже не могу сказать почему. Ни один из наших не хотел его брать. А грязища какая была здесь... Непролазная. Но меня это не остановило. Я взял дом. Решил: буду сам себе хозяином и немного земли будет. А почему бы и нет? Тот феллах, вероятно, был издольщиком у эффенди, так как от деревни его домик расположен далеко. И я поселился. Только много позднее вспомнило обо мне опекуновское управление, которое ведает всем бесхозным имуществом. Они еще будут брать с меня квартплату, и немалую. А это значит...

— Но у тебя здесь все в таком запустении...

— Ты даже не представляешь, сколько я сюда уже ухлопал и денег и сил. Все, что я получил за свою квартиру в поселке, я вложил в этот дом. А ты как думал? Штукатурка, побелка... Кухня, ванная... Я уже и участок под огород вспахал. Вот тогда-то соседи и растащили мою ограду... Хотя у них у самих тоже есть огороды и даже клумбы с цветами, но это там, в маабаре. А все, что здесь, они до сих пор считают бесхозным, ничейным. Так я и забросил свой огород. Разве мне под силу бороться с целым лагерем? Бесхозное, так бесхозное... А Дебора? И она примирилась... Вначале по ночам моя жена очень боялась. Ей все мерещились злые духи, мертвецы, привидения. Что вы на это скажете, дядя, а? Она запирала все на семь запоров. Даже собаку хотела брать в дом. И что же? Как видите, ничего с нами не случилось.

— А как теперь?

— И теперь мы запираемся, но только на ночь, когда идем спать. Все запираются по ночам. А собака, понятно, остается во дворе.

Лицо Аарона вдруг помрачнело, глаза затуманились.

— Знаете что, дядя, романтика, конечно, дело не плохое. Но плохо, когда любимая жена начинает верить в привидения.

От лампы несло керосином. Свет был таким тусклым, что с трудом можно было разглядеть предметы, находившиеся в противоположном углу комнаты.

— Ты говоришь глупости! — вспыхнула Дебора. В ее голосе мне почудились нотки раздражения. Я видел, что Аарон нарочно ее подзадоривает, тем самым ставя нас, гостей, в неловкое положение.

— Вы слышали, дядя, как она рассердилась из-за собаки? Постороннему может показаться, что Дебора ее очень боится. Дебора думает, что собака следит за нами и вынюхивает наши домашние секреты. А на самом деле Дебора собаку и любит и в то же время побаивается ее.

— Ты же сам как-то назвал ее вражеским лазутчиком...

— Верно. Но не привидением и не призраком.

— При таком тусклом свете нет ничего удивительного, что вам мерещатся призраки,— сказал я.

— Да, не мешало бы и сюда провести электричество,— вздохнул Аарон.— По вечерам, когда меня не бывает дома или когда я прихожу очень поздно, я советую Деборе приглашать соседку. Но жена у меня упрямая, не хочет...

Дебора подала кофе. Над чашками поднимался парок, наполняя комнату приятным ароматом. Но гнетущее настроение не исчезло. Меж бровями Деборы пролегла глубокая морщинка.

— И призраков понимать надо,— весело сказал я, чтобы прервать неловкое молчание и разрядить обстановку.— Сейчас я вспомнил одну старинную легенду, вот послушайте.

Жил-был царь. Он захватил большой город — столицу своего врага, и поселился в его дворце. И стал к нему по ночам приходить джин. Приходил и плакался, рыдал, морщил царю голову, лишал его сна. Испугался царь, даже в лице изменился, похудел, осунулся. И приказал он тогда позвать волхвов и кудесников, чтобы сказали они, как помочь делу. Те пришли и говорят: «Когда явится к тебе джин, ты крикни ему: «Стрела тебе в глаз! Стрела Лилит<sup>1</sup> тебе в глаз!»

На следующую ночь джин снова явился царю во сне. Царь хотел произнести заклинание, но язык его не послу-

---

<sup>1</sup> Лилит —ночной дух, нападающий на спящих.

шался, и он сказал: «Стрела мне в глаз! Стрела Лилит мне в глаз!»... Джин уселся рядом с царем на кровати и заплакал. Плачет, заливается слезами, а уходить не хочет...

Царь испугался еще хуже и даже, когда совсем рассвело, не мог прийти в себя. Целый день у него дрожали колени. Следующей ночью произошло то же самое, а утром царь ни дать ни взять походил уже на мертвеца. И сказал он тогда своим волхвам и волшебникам: «Цена вам всем ломаный грош! Сошлю я вас всех в пустыню!»

И была там одна старушка, она была не волшебница, а простая нянька. И сказала она царю: «Послушай меня, великий государь, да будут дни твоей жизни бесконечны! Когда придет к тебе ночью джин, встань с постели, сними светильник, что стоит за занавескою, поставь его на стол и скажи джину: «Друг любезный! Ты мой гость! Друг любезный! Ты мой гость!»

Придворные эту ночь не спали, все думали о царе и его снах. А когда настало утро, волхвы и волшебники ждали царя в великом страхе. Царь вошел в приемный зал, сел на свой трон, и все увидели, что лицо его радостно светится, будто солнечные лучи заиграли на нем.

Я кончил. Стало тихо, все задумались. Слышалось только звяканье ложечек и стрекотание сверчка, пиликавшего на своей скрипке в темном углу. Мой рассказ не развеселил слушателей, мне показалось, что они еще больше помрачнели.

— Нашел, дядя, время рассказывать всякие небылицы...— пробормотал Аарон.

— Кто-то, кажется, ходит по двору,— сказал я негромко. Мне послышалось шлепанье босых ног во дворе. Все сидевшие за столом стали напряженно прислушиваться. Но тут я вспомнил про собаку. Ведь если кто-либо войдет во двор, она же залает. Я подошел к двери и стал смотреть во двор. В глаза мне бросилось одинокое голое дерево, отчетливо видимое на фоне неба. Его торчавшие кверху ветви казались на этом фоне черными и безжизненными. Я взглянул на Дебору. Она сидела опечаленная, крепко сжав губы. В это время собака тихо, почти беззвучно завывала.

— Томится она,— сказала тетя Мириам.— Ты как думаешь, Аарон?

В эту минуту маленькая Тырца закричала:

— Деда! Деда!

Все повернулись к девочке, потом к двери. Восклицание Тырцы удивительно подкрепляло мое прежнее ощущение, будто чьи-то босые ноги шлепают по двору. Лицо Деборы было по-прежнему печальным и замкнутым. Только она одна из всех присутствующих не обратила внимания на восклицание дочери.

— Деда! Деда! — снова радостно воскликнула девочка и протянула ручки по направлению к двери.

У входа промелькнула чья-то тень, это было похоже на привидение, выступившее на сером ночном фоне. Но вот где-то вверху вспыхнуло белое пятно. Это, должно быть, луна проплыла в просвете меж облаками. А может, это сверкнули чьи-то глаза?..

— Что с тобой, Тырца? Перестань! — прикрикнул на девочку отец. Однако он в ту же минуту потянулся к кобуре и вынул револьвер.

— Ты что, рехнулся? — сердито сказала Дебора. — Что ты смотришь на меня разбойничьими глазами? Вот так он меня «успокаивает». Только каждый раз пугает!.. — Лицо ее при свете лампы казалось желтым, а губы дрожали.

Прохладный воздух проник в открытую дверь, расколов на части устывшийся дневной зной в комнате. Дебора взяла дочку на колени. Девочка заплакала и продолжала сквозь слезы тянуть:

— Де-да-а! Де-да-а!

Аарон вдруг резко привстал, его побледневшее лицо выражало смятение, глаза расширились, и казалось, выскочат из орбит. Он произнес дрожащим голосом, как заклинание:

— Друг любезный! Ты мой гость! Друг любезный! Ты мой гость!

Мы посмотрели на него с удивлением и страхом. Неожиданно, без всякого перехода, он вдруг разразился громким, истерическим смехом. Его смех звучал нескончаемо долго, это был смех безумца, потерявшего над собою власть. Я отпрянул от Аарона и придвинулся поближе к лампе. Смех оборвался так же внезапно, как начался, будто его отрезали ножом. Лицо Аарона стало серьезным. Он сел, обхватил голову руками и прошептал:

— Простите меня, пожалуйста!

Удрученные, напуганные, мы распрощались.



На дворе было тихо. Лишь издали, со стороны маабары, слышались возгласы увлеченных игрой детей.

— Я провожу вас до автобуса,— сказал Аарон. Немного помолчав, он добавил: — Я знаю, что нам придется покинуть это место. Дебора не может здесь больше жить. Вы заметили, как она нервничает? Ночью во сне плачет и будит своим плачем дочурку. Просто с ума можно от них сойти!.. «Деда! Деда! У собаки нет дедушки, поэтому она и скучает». Вы слышали? И Дебора все время фантазирует. Ей чудятся кошмары. «Этот араб время от времени навещает нас»,— твердит она. Как тот джин из твоей сказки... «По ночам он пересекает границу и приходит сюда»... Глупая фантазия! Знаете, я решил переехать в Беэр-Шеву<sup>1</sup>. Пэре! Пэре! — стал он звать собаку.— Пэре!

Мы немного постояли возле дверей. Пэре не шевельнулся, даже цепь не звякнула. Аарон посветил карманным фонариком.

— Собаки нет,— прошептал он испуганно.

— Действительно, странная собака,— сказал я.— Ведь она была на цепи.

— Да, она была на цепи,— ответил Аарон.

---

<sup>1</sup> *Беэр-Шева* — крупнейший город Негева — южной, пустынной части Израиля.



## Проза

Писатель открыл глаза. Рядом с ним на широкой кровати нежился его старший, шестилетний сын.

— Папочка,— сказал он,— пора вставать.

Было уже утро, но в комнате с закрытыми ставнями царил полумрак.

— Да, сынок,— откликнулся писатель сонным голосом и сбросил легкое одеяло, которое натянул на себя под утро. «Не надо было возвращаться так поздно,— подумал он,— никак не могу раскрыть глаз. С удовольствием поспал бы еще часок...»

Повернувшись к круглой головенке, лежащей рядом на подушке, он спросил:

— Ты уже завтракал, сынок?

Ресницы миндалевидных глаз утвердительно взмахнули.

«Надо вставать,— подумал писатель.— Пока побреюсь, пока дойду до бюро... А может, не бриться? Успею и после обеда...»

— Что ты ел, яичницу?

Ответ ребенка с трудом пробился сквозь плотную перегородку сна: писатель уже сладко посапывал...

Когда он проснулся снова, в комнате стояли жена и оба сына.

— Мы уходим,— сказала жена.

— Да, да,— невнятно пробормотал писатель и торопливо вытащил из-под подушки ручные часы. Было два-

дцать минут девятого. — Ого! — растерянно воскликнул он. — Н-да-а?!

— Мы едем кататься на велосипеде, — радостно объявил младший сын.

— Да, мы идем гулять! — подтвердил старший.

— Но нам, папа, нужно несколько лир, — добавила жена, — я хочу кое-что купить.

Босой, в пижамных брюках, писатель слез с кровати, сходил в кабинет, раскрыл шкаф, вынул из бумажника несколько банкнотов и, вернувшись, отдал жене.

Спустя несколько минут он был уже один и сразу же задал себе вопрос, окончательно ли он проснулся? Да, он чувствовал, что вполне уже бодр, работоспособен и готов встретить новый день. Он раскрыл ставни и сладко потянулся при свете прозрачного, свежего дня, наполнившего комнату. На мгновение он задержался у окна и поглядел на шоссе, по которому мчались машины меж двух рядов светлых, высоких зданий.

Тут он вспомнил, что необходимо позвонить в бюро, предупредить, что он немного задерживается, и дать срочные поручения мальчишке-курьеру.

Теперь он, пожалуй, не станет бриться и завтракать не будет дома. Право же, жалко терять время... В бюро он выпьет чашку кофе и закажет булочку...

Внезапно он вспомнил про рассказ, который обещал написать...

— Напишу сегодня! — Это был вызов самому себе.

Сборник в память любимого учителя был уже передан в типографию (с опозданием на один год). С той минуты, когда зашел разговор о сборнике, писатель твердо обещал свое участие. Но так как он был человеком очень занятым, да и увлекался всем на свете (кроме работы над собственными произведениями), он попросил разрешения представить рукопись своего рассказа, когда сборник уже будет сдан в типографию. Этот срок уже прошел, и он ежедневно обещал себе, что завтра, именно завтра, заколдованный круг разомкнется и он наконец напишет рассказ.

Может быть, даже лучше, что сегодня утром он встал поздно и этот день проведет вопреки обычному, за последние годы сложившемуся распорядку. Он напишет рассказ именно сегодня — и начнет и кончит.

— Да, я напишу рассказ сегодня.

Пока он брлся, хорошее расположение духа не поки-

дало его. Взглянув в зеркало на гладкие щеки и тщательно причесанные волосы, он показался себе моложе, бодрее. Он сам сервировал себе завтрак. Съел большой сочный персик, с удовольствием выпил кофе, а закусил холодным, кисловатым яблоком.

Вызов, который он сам себе бросил, возбуждал его все сильнее и сильнее. Сам факт, что он готов написать рассказ, подтверждал его веру в самого себя, в свой созидательный талант.

Написанные им до сих пор произведения прошли незаметно. Так случилось со сборником его юношеских рассказов, который не произвел на читателей никакого впечатления. Так незаметно прошел за ним и его единственный роман, который он сам не прочел ни разу со дня его опубликования. С тех пор писатель занимался больше сочинениями других писателей. Он сознавал, что чем больше читает произведения других писателей, тем больше теряет право считать писателем себя. А прозвище «писатель» прибавляют ему только потому, что нет более подходящего определения для его особы. Тем не менее он хранил твердую уверенность, которая частично опиралась на прежний опыт: стоит ему только решить, что он свободен, просто решить писать, и он откроет в себе какой-то кран, все без задержки начнет сыпаться, как из рога изобилия. То, что он написал так мало, а также незначительный интерес, который вызывали его произведения у читателей, не смогли лишить его уверенности в своем даровании.

«Сегодня не пойду в учреждение, позвоню и скажу, что хочу написать рассказ». На кончике его языка болталась первая строка стихотворения Саула Черниховского<sup>1</sup>, которое он когда-то так любил: «В этот день родится стих!» Правда, в данном случае должен родиться рассказ, но какая разница, главное, что родится!

Было уже половина десятого, но ему казалось, что только сейчас восходит заря на девственно-бледном восточном небе. Он вынул из шкафа выглаженную рубашку, надел новые носки и тщательно почистил ботинки.

---

<sup>1</sup> Саул Черниховский (1873—1943) — крупный еврейский поэт, писавший на иврите.

Итак, он готов идти, ибо, по совести говоря, он должен идти. С того дня как он стал самостоятельным, у него было заведено — вначале из-за обстоятельств, а затем в силу привычки — писать вне дома. И вообще вся его литературная деятельность, которой он когда-либо занимался, за исключением той, которая казалась ему слишком механической, проходила в общественных местах, в основном в кафе. Около полутора дюжин кафе в четырех-пяти городах родины и за границей он мог связать в памяти с определенными стихотворениями, рассказами или статьями. Поэтому ему не надо было принимать особое решение, чтобы направиться в кафе и там писать то, что он решил написать.

Он подошел к письменному столу — хотел достать несколько листов бумаги, — но бумаги не оказалось. Это не слишком ослабило его рвение, он только проверил, хватит ли заряда в его шариковой ручке. Убедившись, что ручка работает как следует, он уверенными шагами спустился по лестнице на улицу и повернул к ближайшей автобусной остановке. Ему-то, конечно, было ясно, что прежде всего он поедет к себе на работу. Забежит на одну или две минутки, ради нескольких мелочей, о которых все-таки необходимо позаботиться, и, конечно, воспользовавшись случаем, захватит бумагу. Немного. Для этого он сунул под мышку пустой портфель.

Автобус не заставил себя долго ждать. Другим пассажирам, видимо, нужен был не этот номер, они остались. Он один вошел в полупустой автобус. На следующей остановке даже освободилось место справа, где солнце не припекает в утренние часы. Он уселся и, наслаждаясь красотой улиц, решил, что жара в последние дни спала, что люди одеваются более тщательно и что дети, идущие на берег моря, шумят меньше обычного.

«Может быть, они стали более сдержанными потому, что послезавтра начинается учебный год?» — мысленно пошутил он.

Он вспомнил, что послезавтра его старший сын впервые пойдет в школу и что он обещал купить ему ранец и до сих пор не купил. «Завтра вместе с ним отправимся и купим», — поспешил он успокоить угрызения совести. Он надеялся увидеть эвкалиптовую аллею, ему хотелось вдохнуть тяжелый, густой запах набухших и переполненных соком, искусанных пчелами плодов сикоморы.

Он вспомнил начало учебного года в пятом классе гимназии несколько лет... о, это было уже двадцать пять лет тому назад, когда в класс впервые вошел покойный учитель, памяти которого посвящался предстоящий сборник. Учитель был низкорослый, в очках и уса́тый. Он вкатился как мяч, полный огня и скептицизма, простоты и лукавства, с сияющим лицом и мягким сердцем и с какой-то угрюмой жизнерадостностью. Это было, конечно, более позднее заключение, к которому писатель пришел не скоро, но он считал, что эта характеристика самая удачная.

«Двадцать пять лет!» — подумал писатель, выходя из автобуса и направляясь к первому же попавшемуся ему на пути продавцу газет. Ему все-таки хотелось знать, что делается на свете. Но газеты, которую он обычно читал, у продавца уже не было, сегодня он запоздал. Тогда он перешел на теневую сторону и подошел к киоску. Здесь он получил нужную газету и, замедлив шаги, стал просматривать все заголовки.

С центральной улицы он повернул налево, в свое учреждение. Он обратил внимание, что жалюзи наполовину спущены, это из-за солнца. Он поздоровался с товарищами, поручил машинистке что-то перепечатать, дал мальчишке-посыльному какое-то поручение — на самом деле его следовало дать еще вчера — и попросил побольше бумаги в одну четверть листа. Он взял бумагу, положил ее в портфель вместе с газетой и сказал, что уходит. Сегодня он, видимо, не вернется.

Когда он уже собирался уйти, зазвонил телсфон. Его попросили взять трубку. Он хотел сказать, что его уже нет, но не успел. Выбора не оставалось. Он взял трубку и услышал, как на другом конце провода с ним говорят на хорошем английском языке. По совести говоря, писателю следовало бы помнить, что он условился сегодня встретиться с литературным агентом, который завтра улетает в Лондон. Не подлежит сомнению, что до отъезда им надо увидеться.

— Может быть, встретимся вечером?

— Можно, конечно, и вечером.

— Превосходно! Жена будет рада вас видеть.

— Ну, скажем, часиков в восемь.

— Прекрасно!

— Если так, до свидания, в восемь часов у нас дома. Вы ведь помните адрес? Итак, всего хорошего!

Промежуток свободного времени, который рисовался в его воображении с утра до полуночи, а если бы он захотел, и до утренней зари, теперь все уменьшался. Первое предчувствие заставило его вздрогнуть: по-видимому, задуманную сегодня работу сделать не придется... Но он не сдался: «Нет, сделаю, наперекор всему...»

Он застегнул портфель. На ходу бросил «до свидания» своим товарищам по работе и направился к табачному ларьку на центральной улице. Ясно, что он не должен забывать о таких мелочах. В его кисете остались лишь сухие крошки, их недостаточно, чтобы набить даже одну трубку.

«Действительно, зачем ему создавать лишнюю помеху, которая может стать причиной перерыва в плавном течении его мыслей? Времени и так в обрез. Необходимо его использовать как можно лучше.»

— С добрым утром, господин Биншток... Мне один пакетик моей любимой смеси. Да, да, того табака, который я обычно беру, и коробку спичек... Что? Хорошо, дайте мне, пожалуйста, еще почищалок для трубки... Что, господин Биншток? А, цензовый налог? О, да, я не стану удивляться, если после выборов снова повысят налог на табак. Большое спасибо. До свидания, господин Биншток, до свидания...

«Вот оно... Начинает припекать, правда, не так, как вчера или позавчера. Но теперь — к делу. В кафе. Конечно, «Фаянс» в этот час не подходит. Надо что-то более близкое к морю и менее шумливое. В «Монике» теперь, наверно, бабский балаган, а в «Щегленке» слишком много унылых деловых людей... Но перестань ты, наконец, рассуждать здесь, посреди улицы. У тебя было много времени на раздумье. Может быть, лучше всего прыгнуть в автобус и проехать три-четыре остановки в сторону моря? И в автобусе принять решение. Ну, конечно. Подыми немного ногу, прыгни и не зевай. Великолепно! Каждая сэкономленная минута — это одна написанная строка. Спокойно! На удар, который ты получил по лодыжке, не реагируй. В спор не ввязывайся. Поблагодари за вежливость этого змееныша, который просит у тебя прощенья... Клянись жизнью, быть джентльменом нет времени... Пот экономит кровь, вежливость — время... О, какой он несчаст-

ный, этот пассажир, даже не знает иврит... Улыбнись турнсту. Но довольно. Ты с успехом уже можешь выйти. Нажми звонок. Не надейся, что другие сделают это для тебя. А теперь налево. Направление: море. Ось движения: с востока на запад. Какой прохладный ветер!»

А вот «Тырца». Этот ресторан переполнен, как в старые времена, в предобеденное время. Так или иначе, столики здесь маленькие. Вообще что-то ужасное творится во всех кафе за последние годы, столики стали величиной с булавочную головку, чувствуется настойчивое стремление лишить тебя ощущения комфорта и приятности, погасить всякое желание сидеть здесь долго... Ладно, не важно. Сюда мы не зайдем...

Гостиница «Балдахин» — маленькая, похожая на семейный пансионат. Может быть, стоило бы попросту снять здесь комнату на день? Что за странная идея?!.. А почему бы нет? Закрыться на весь день и на всю ночь, побыть совсем одному, без соседей и без телефона, а утром выйти, расплатиться и знать, что все в порядке: рассказ написан. Осталось только пробежаться по рукописи, кое-что подправить, кое-что переставить и послезавтра отдать рукопись в типографию. Ну как?

А не зайти ли вот сюда, где когда-то, когда еще в стране не было порядка, находилось кафе «Штраус»? Здесь музыка была и во время чаепития, вечером же играл целый оркестр, а по субботам устраивались концерты. Теперь, говорят, здесь организовано что-то более целесообразное, более положительное, даже более культурное — клуб для интеллигентов, которые нуждаются в попечении, клуб, который предоставляет товарищеские услуги без всякой дискриминации и по общедоступным ценам. Пожалуй, это подходящая идея. Может быть, этот клуб — действительно самое подходящее место. Ведь в конце концов все шары попадают в лузы.

Когда писатель вошел в клуб «Все и вся», он уже предвкушал облегчение от кондиционированного воздуха. Ему почему-то казалось, что в клубе воздух должен быть обязательно кондиционированным. Но его ожидало разочарование. Правда, здесь были какие-то вентиляционные приспособления, но они были выключены, по-видимому, электроэнергию экономили, да и посетителей было немного. На окнах жалюзи были спущены. В углу маленькой сцены стоял громадный рояль, на стенах висели акварели в



рамках. пять-шесть посетителей сидели за хрустальными столешками, перелистывая газеты. Но, несмотря на все это, пустота громадной залы отдавала основательной, пастеризованной скукой. Писатель пал духом, но все же не захотел сдаться сразу. Он направился к окну и поднял жалюзи, словно находился у себя дома. На мгновение его обдало ветерком с моря, близость к которому вдруг показалась ему необычной. Затем он уселся в плетеное кресло у столика, почти у самого окна. Напротив него сидел старик, который, казалось, состоял из одних протезов; опираясь на спинку кресла, он читал книгу. Старик снял пенсне и на мгновение вперил удивленный и пытливый взгляд в нашего писателя. И, судя по тому, как он приподнял брови, можно было заключить, что эта птица ему не известна. Писатель достал газету и начал неспеша читать. Надо же ведь полностью удовлетворить все те желания, которые могут возникнуть и отвлечь его перо, когда оно наберет скорость и будет скользить по листам бумаги. Поэтому лучше ознакомиться с последними известиями до того, как он начнет писать. Странно только то, что никто не подходит к его столику, никто не принимает заказа. Кстати, из кухни доносится знакомый запах готовой пищи.

Морской ветер приятен, но запах пищи доставляет еще большее удовольствие. Над всем же царит скука!

Берлин! Что наконец станет с Берлином, черт возьми! На одно мгновение он дал волю своей богатой фантазии и прикинул в уме, что, может быть, это, в конце концов, последнее лето не только в его жизни, но и в жизни всех людей. А если так, то его дорогой и добрый учитель (мир его праху!) потерял не больше двух лет жизни, и в некотором отношении его смерть, можно сказать, в несколько раз лучше той, которая уготована в ближайшие месяцы всем живущим на земле.

«Но, кажется, на одном столике я вижу рюмку с недопитым вином. Значит, здесь все-таки подают. Конечно, официанты себя не хотят затруднять и в эти часы выглядывают в зал раз в полчаса. Но, если мне повезет, эти полчаса уже скоро пройдут. Правда, я не очень-то хочу пить, тем более что меня здесь не ждет какой-то особый напиток. И есть еще не хочется, и еда пока не готова... А как все-таки результаты подсчета голосов среди солдат могут повлиять на окончательные итоги? Нет, тут никакого сюрприза не будет, но вопрос с Берлином...»

Черт знает что, в затылок дует ветер, а лоб покрыт испариной... А официанта пока не видно... Удивительно, как физиономия мальчугана, изображенного на объявлении о пожаре, похожа на моего малыша... Если мне еще несколько минут ничего не подадут, я уйду восвоюси. Что они думают, черт возьми! Я уже и пить захотел! Как тут жарко!.. Нет, тут, конечно, я ничего не успею сделать. Правда, оркестр для вдохновения мне не нужен, но, с другой стороны, здесь и в самом деле неблагоприятная атмосфера...»

«Щекотливый это вопрос — об атмосфере», — подумал писатель, после того как уже ушел из кафе. Особенно если у тебя нет привычки писать, а ты испытываешь в этом необходимость... И как ее определишь? Потребность в кондиционированном воздухе? Это все равно что после продолжительной болезни человек наконец выздоровел и захотел принять ванну. Он, вероятно, особенно тщательно регулирует температуру воды: то немного завинтит кран с горячей водой, то чуть-чуть больше приоткроет холодную... «Ах, как прекрасно море! Лето снова прошло, а я даже еще ни разу не купался. Почему?.. Почему, почему!.. Тротуар — место для прогулки, но сколько лет прошло с тех пор, как я прохаживался по нему просто так, невзначай, в какое-нибудь обыкновенное утро... Вскоре все начнется сначала, с детьми. Дети — это наше второе детство... Да, мы уже это слышали. Ты так говорил два, три, четыре года тому назад, с момента рождения детей».

«Где же все-таки устроиться? У Штиглица? К черту! Это уж пахнет ностальгией. Зайду в любое, какое попадется по пути. Как, например, называется это? «Рококо»? В вечерние часы, по-видимому, чей-то клуб, но днем место довольно подозрительное. Но, позволь, тебе-то не все равно? Изволь же садиться и писать! Если сию минуту ты не начнешь писать, можешь проститься с заданием, и тогда...»

— Для меня? Что для меня? Сок грейпфрута, пожалуйста.

«Да, так что «и тогда»?..»

«Первым делом, ты нарушаешь свое обещание, чуть ли не обет».

«Но это уже слишком сильно!..»

«Может быть, но бьет в цель... Этот сборник выйдет в честь того, кто, в конце концов, был для тебя всего-на-

всего учителем и воспитателем в течение двух-трех лет, но если ты, именно ты, будешь в нем отсутствовать, в этом найдут что-то... Более того, если вдуматься, то этим самым покойный как бы принесет определенную жертву тебе, так сказать, посмертно...»

«Ладно. Минуту спокойствия. Дайте, пожалуйста, мне допить этот раствор, который мне здесь преподнесли, и набить трубку... новым табаком... И немного насладиться морем и жгучим солнцем, которое вскоре доберется и сюда...»

«Мне бы хотелось увидеть, как ты хотя бы раскладываешь бумагу на столе!»

«Все по порядку, по порядку! Не надо нервничать. Хотя... А сколько сейчас времени? Сорок минут первого? Ого! Если я действительно теперь не *начну*, тогда уж никакой надежды не будет. Собственно, один день, конечно, для рассказа вообще маловато... Ведь надо начать и кончить».

«Друг мой, я хочу видеть все же, когда ты начнешь! Оставь ты пока конец. Конец позаботится о себе сам».

«Хорошо. Но зачем волноваться?! Вот, видишь, начинаю... Но, позволь, ведь у меня до сих пор нет заглавия! У тебя ведь тоже нет? Да, да, простого заглавия. Над каждым рассказом, над любым стихотворением есть сверху, как правило, заглавие! Не правда ли? Итак, надо начать с того, чтобы поставить заглавие. Итак, решено! Первое, что я напишу на этом белом листе, будет заглавие! Но, может быть, у тебя есть заглавие?»

Пламя зажигалки уверенно охватило в трубке медовые и смуглые табачные локоны. Писатель вдохнул дым грудью и невзначай потянул в себя больше, чем обычно. Цепь кашля заставила задрожать его туловище, глаза писателя увлажнились. Он вынул из кармана платок и провел им по лицу. Затем нажал на свою шариковую ручку и положил ее на лист бумаги, который лежал на выцветшей, ошипанной скатерти, покрывающей маленький хилый столик. Ручка лежала удобно, он был готов в любую минуту взять ее и вывести на бумаге заглавие рассказа, как только оно придет ему в голову. Он смотрел прямо перед собой на перила, отгораживающие место для гуляния, и на небольшую крышу спасательной будки, которая стояла на песке по ту сторону перил, и на пенный гребень морской волны, постепенно выползающей и разбивающейся о берег. Он

смотрел на тех, кто уже выкупался и выходил из воды, и на оборванцев, которые прогуливались здесь точно так же, как гуляли они в эти часы двадцать, двадцать пять и тридцать лет назад.

На мгновение ему показалось, что это очень утешительная мысль о непрерывности явлений, но вскоре он испугался, что его память способна настолько пятиться назад. Ведь это уже такой отрезок времени, который превышает тот, что остался ему еще провести под этим небом, даже если не учитывать возможности радикальных происшествий типа «Берлин», и если он пройдет столь же быстро, как и тот, что уже прошел, ради чего же тогда...

Тут его взор привлекла красивая молодая девушка. Она вела породистого, мускулистого, высоконогого добермана, который тянул ее за собой вниз к ступеням, спускающимся к берегу. Девушка была одета в легкую матросскую рубашу, короткие красные штаны, на шее у нее было полотенце. Ее каштановые тонкие волосы спускались до плеч. Ей можно было дать лет шестнадцать — она была еще худощава и невысока. Шла она уверенной пружинистой походкой. Кожа у нее была смуглая, с ровным загаром. Писатель смотрел на девушку сквозь темные очки, пока она не спустилась со своей собакой к самому морю. Почему-то в него вошло ощущение, будто его рука срывает цветок. Ему вспомнилась одна шестнадцатилетняя девушка, с которой он встретился много лет назад. Но она ничем не походила на эту, что только что здесь прошла и чье лицо уже виднелось смутно. Неожиданно на память стали приходить разные вещи. Вспомнился барак к северу от «Красного дома», в котором жили юноши из «Зевулун»<sup>1</sup>, и тир с высоким полом из дранки, где царила солоноватая тишина, продавцов кукурузы и мороженого, мусульманское кладбище на склоне холма, белые памятники и благоухание той девушки в ту ночь под высоким, очень высоким небом, усыпанным звездами, и глухой рокот моря.

Он не мог объяснить, почему он вспомнил все эти видения, и не знал, как это все продвинет вперед его рассказ или поможет найти для него название. Но он уже твердо знал, что сегодня не напишет ничего, и дело со сборником, если говорить об его участии, надо считать

---

<sup>1</sup> Зевулун — мореходное училище для юношей.

законченным. Он продолжал смотреть прямо перед собой и покорно ждал приближения солнца, которое беззвучным кошачьим шагом подкрадывалось к затененному месту, где он сидел. И он заведомо уже отдавался его знойной силе, впитывал в себя солнечную эллинскую музыку, которая весело пробивалась из громкоговорителя (пела прекрасная Малина Маркури), неумолчный шум моря, его голубые и зеленые волны, дымок, вьющийся из корабельной трубы там, вдали, на горизонте, с интересом наблюдал за усталыми скучающими проститутками, заносчивыми стройными молодчиками, гуляющими у берега и уже изнывающими от разгоревшейся страсти. Он знал, что сейчас все его чувства заострены и восприимчивы до предела, и спасительная бодрящая уверенность пронизывала его с головы до пят. Именно сейчас, в эти минуты, он вдруг почувствовал себя настоящим писателем, более достойным того, кем он был даже в те непродолжительные периоды своей жизни, когда он был еще занят «серьезным» писанием. Он уже покорился мысли, что сегодня ничего здесь не напишет и почти готов был признаться, что вообще уже больше ничего не напишет. Пусть, лишь бы он смог еще вот так смотреть прямо в лицо сильной природе, всему могущественному миру, меняющейся жизни. Он чувствовал, как все это клокочет в нем, как стремится вырваться из него наружу и как он сам, будто уже не он, а частица того, что рвет и мечет, что измельчается в пылинки и ежеминутно изменяется...

Когда он уверенной рукой написал на листе бумаги одно слово «Проза», он уже был целиком облит солнцем.



## В подвале

Вопреки ожиданиям зима затянулась. Облака висели низко, едва не касаясь крыш. Жители предместья, как только начинало темнеть, забирались в свои дома.

Здесь, в подвале, особенно чувствовалась промозглая сырость. Люди, жившие наверху, давно покинули свои жилища, так как от ветхости дом мог в любую минуту рухнуть. Но трое из подвала до сих пор не вняли предупреждениям городских властей. «Ничего, не рассыплется», — решительно сказал старик, давая понять, что он не намерен трогаться с места, пока ему не предоставят поблизости другой квартиры.

Два его племянника не вмешивались в разговор. Они привыкли молчать, когда переговоры вел дядя. Но их вид не оставлял сомнения в решимости до конца бороться за право жить здесь, если того потребует старик.

Со стороны муниципалитета делались кое-какие попытки убедить упрямцев, но старик стоял на своем и твердил, что бояться нечего. Он-то, во всяком случае, не боится обвала. «Но если наше пребывание здесь нежелательно, — добавлял он, — все зависит от вас. Дайте нам другую квартиру, и здесь же, в предместье. В другой район мы не поедем». Эти слова молчаливо подтверждали два его племянника, стоявшие у кровати старика и готовые действовать, как скажет им дядя. Они являли собой живое воплощение дисциплины и послушания.

Тогда снова исследовали все нижние части строения и установили, что они еще прочные и дом не рухнет, если снести верхний этаж, который давил своей тяжестью на подвал.

«Чего вы там копошитесь? — спросил старик, высовываясь из окна. — Зайдите в комнату. Тут еще крепкие подпорки».

Когда пошли дожди, начали ломать верхний этаж. Пришли рабочие с пневматическими молотками, и стены арабской постройки, представлявшие собой смесь песка и камня, начали оползать и сыпаться вниз. К вечеру подвал напоминал пещеру, скрытую от нескромных взоров. Два окошка покрылись толстым слоем пыли, и бледный свет керосиновой лампы почти не пробивался наружу. «Теперь-то нам уж наверняка дадут квартиру. Им ничего другого не останется», — сказал старик, и в глазах его зажегся хитрый огонек.

Уже три года старик не покидает своей берлоги, но шум жизни, текущей за ее стенами, доходит к нему вполне отчетливо. Находясь в одиночестве, он может за всем наблюдать, а также руководить деятельностью своих крепких ребят, когда они находятся даже за пределами предместья. Занятая им позиция в подвале очень удобна для переправки беспошлинных товаров, она служит как бы естественным мостом между портом и потребителями. Поэтому-то с такой настойчивостью старик требует квартиру только в этом районе и отказывается переезжать куда-либо дальше.

С того дня, как снесли верхний этаж, в подвале особенно стали ощущаться всякого рода неудобства. В помещение легко проникает странная смесь зноя и стужи. А то через окошко врывается солнечный свет и начинает бесцеремонно шнырять по кровати старика, стоящей у самого окна.

И снова началась, как это случалось каждой зимой, скрытая, но ожесточенная война между стариком и парнями. Часто она выражалась в длительном, настороженном молчании. «Только тронь, мы ответим открытым ударом», — таков был смысл этого молчания. И в то же время, казалось, не было такой силы, которая могла бы разрушить узы дружбы, связавшие всех троих. Эта связь могла быть иногда очень крепкой, иногда более слабой,

но всегда нерасторжимой. То были узы сообщничества. И никакие перемены не могли их разорвать.

Все свои расчеты старик вел без бухгалтерских книг. «Счетоводство только портит зрение и все путает»,— говаривал он. Старик обладал феноменальной памятью и незаурядной способностью считать все в уме. С годами эти качества в нем только обострились и достигли совершенства. Это и было, пожалуй, той силой, которая помогла ему властвовать над своими двумя великовозрастными племянниками.

Время от времени парни делали попытки утаить кое-что из выручки или улизнуть от выполнения какого-либо поручения. Но им и в голову не приходило, что можно сойти с раз и навсегда определившейся жизненной орбиты, начавшейся в местечке Кемниц и уходящей далее по длинной путаной траектории до этого подвала, который так удивительно отвечал их нынешним нуждам. Отсюда, из этого изолированного убежища, они вели свои тайные дела с ближайшим поселком.

Начали они работать еще тогда, когда все в стране строго нормировалось и распределялось по карточкам. Но лишь впоследствии, когда их связи расширились, дело достигло подлинного расцвета.

Товары приходили хорошо запакованными, в картонных коробках, удобных для транспортировки. Их легко было припрятать и замаскировать, все эти электробритвы, портативные радиоприемники, драгоценности, консервы, а также кое-какие медикаменты и лечебные препараты, которые неведомо какими путями доставлялись сюда из далеких стран и хранились в качестве драгоценной добычи у кровати старика.

Да, и в этой дыре чувствовался пульс жизни. И он не вызывал никаких подозрений снаружи, хотя хорошо прощупывался изнутри. Биение пульса усиливалось к вечеру; в это время у кровати старика собирались игроки в покер.

Приятели старика приходили обычно на всю ночь, когда парни были заняты своим делом. Тогда квартира наполнялась табачным дымом, в котором тонули даже столбы, подпиравшие потолок.

Старик умел играть так, что никогда не оставался в накладе. Но и сама по себе игра нравилась ему. Иногда, особенно когда он был в ударе, он готов был даже риск-



нуть, пойти ва-банк ради красоты партии и остроты ощущений. И тогда в его глазах и изношенном теле, пропитанном табачным дымом и алкоголем, чувствовалось огромное напряжение. Его движения становились упругими, в них ощущалось желание и воля проникнуть в тайные мысли противников. С особой легкостью он раздавал карты, и все-таки во всем этом чувствовалась скорее какая-то бравада, чем подлинная решимость действовать смело.

Приходили сюда и земляки, которые знали его еще по имени, до того, как за ним утвердилась кличка «старик». Как только появлялись друзья, все погружалось в атмосферу азартного возбуждения и колких намеков. Комната наполнялась невнятным горячечным бормотанием. Только старик был способен сохранять спокойствие и трезвость мысли в атмосфере азарта, который владел этими людьми, окружившими небольшой старый стул, на котором лежали карты. В поздние часы, когда накал игры был особенно силен, наступало молчание. И только воспаленно блестели у всех глаза. Иногда, как это случается во время игры, большой проигрыш приводил к сильному взрыву чувств, подчас даже, как это ни странно, к истерическим крикам. Ведь деньги, что стояли на кону, были немалыми, и проигрыш мог начисто разорить человека. Но истины ради следует сказать, что проигрыши, даже очень большие, не приводили к распаду компании, собиравшейся почти каждый вечер и расхившейся незадолго до возвращения парней.

А возвращались они с промысла обычно глубокой ночью, нагруженные сумками и рюкзаками. На их лицах лежали ночные тени, но в глазах светилась решимость и сила. И прямо сходу они начинали неторопливо разгружаться и ощупывать каждую вещь. Точная оценка давалась тут же, у кровати старика, причем он редко прикасался к вещам, ему достаточно было лишь взглянуть на них. И нельзя было не подивиться его осведомленности во всех портативных электроприборах и других заморских товарах, его умению точно определить особенность каждого образца и каждой марки. «И что бы вы, простофили, делали без меня, старого дурня?» — говаривал он, когда бывал в добром расположении духа.

Иногда он подзывал к себе младшего, которого любил, несмотря на строптивость нрава, больше, чем его покорного старшего брата. «Ты, Янкель, пооботрешься, нако-

пишь опыт и станешь моим наследником. Нехорошо покидать этот мир без наследника. Запомни основное правило: если к тебе пришли и предлагают товар — не торопись. Дай человеку выговориться, потом, будь спокоен, он сам за тобой побежит. Главное — хладнокровие. Опытные купцы знают, что выгодное дело требует терпения. И они тянут... А зачем, в самом деле, спешить? Радиоприемник никуда не убежит! Это только бабы торопятся, а настоящие купцы умеют в нужную минуту сказать «нет». В этом весь секрет. Ты меня понял? В этом весь секрет.

Месяцы пролетали быстро, ход времени здесь почти не ощущался, что следовало отнести за счет практичности старика, который умел направлять всю энергию парней навстречу опасностям. С промысла они возвращались обычно разбитые и обессиленные. И только одного старика время щадило. Правда, его нельзя было назвать здоровым человеком, но он всегда был собран, подтянут и, как говорят, в хорошей форме.

Иногда он предавался воспоминаниям. «А что у нас в местечке делали обычно в это время?.. Ага, вспомнил! В это время заготавливали в лесу дрова. Вы не помните, совсем ребятишками были, а я все хорошо помню».

В этих словах, сказанных как бы между прочим, был своего рода намек, что перед ним открыта книга времени. Он любил повторять: «вы забыли, вы были тогда детьми, а я помню». Эта фраза произносилась в разных вариантах, с разными оттенками и ударениями, но она неизменно подкрепляла мысль, что они, молодые, знают еще далеко не все. Однако иногда в эти слова вкладывался совсем иной смысл: ведется, мол, давний и длинный счет, в котором ничто не забыто и не упущено. Он, старик, умеет соединять разрозненные факты в одно целое...

Иногда в жилах у парней начинала бунтовать кровь. Их обуревало желание освободиться от власти старика, бросить его и удрать куда глаза глядят. Но с годами это становилось сделать все труднее, а сейчас, как ни странно, было почти невыполнимо. Если бы они ушли, им казалось, что они затеряются в хаосе жизни. Да и все деньги, даже те, что понадобились бы на дорожные расходы, находились у старика.

Изредка, в минуты особых удач, здесь, в подвале, оживали добрые человеческие чувства. С лица старика сходило выражение сухости, он начинал острить, а его отличная

память воскрешала еще более счастливые вечера. «Помните, в ту ночь, какое мы обтяпали дельце?..— говорил он и тут же добавлял: — Моим ребятам, кажется, нужны новые костюмы. Ведь зима на носу...»

Он вынимал из-под матраца кошелек, отсчитывал несколько бумажек и говорил: «Возьмите и действуйте... Завтра же чтобы были новые костюмы».

В такие вечера эти трое казались небольшой дружной семьей, на которую судьба взвалила общую ответственность и которой посчастливилось хитростью и силой вырваться из рук смерти и заявиться в эту страну.

Только здесь, в подвале старик пристрастился к спиртному, своим же парням не разрешал даже притрагиваться к бутылке. «Когда я пью, дети мои, вы можете быть совершенно спокойны: немного хмельного обостряет мое зрение, я могу вами руководить без колебаний. Если вы будете меня слушаться, вас никогда не поймают. Никогда! Вас же бутылочка только погубит».

Но редки были у них счастливые минуты душевной близости. Правда, эти минуты всегда приносили волнующее чувство солидарности и дружбы, которое питало следующие унылые, серые дни и служило противовесом неделям и месяцам внутренней вражды. И все же постепенно, капля за каплей, ненависть накапливалась, и никто не пытался ее умерить или ослабить.

Днем парни обычно спали, а ночью уходили. Все свои силы они копили для этих опасных ночных вылазок. Попадись они хоть раз, полиция наверняка раскопала бы все до конца. И виновными оказались бы только они, старик ушел бы чистый как стеклышко. Ведь даже венской полиции не удалось его поймать с поличным.

Праздники здесь были излишними. Особенно такие, которым предшествовала суббота, тем самым удлиняя их еще на один день. «Товар надо обязательно сбыть до праздника...» — говаривал старик. Ведь он уже отпраздновал все свои праздники на старой родине. Здесь же они приобрели для него совсем другое значение. Когда приближалась пора праздников (особенно осенних), темп жизни здесь ускорялся, спрос на мясные консервы, например, резко возрастал, а это требовало более интенсивной связи с портом.

В дни напряженной работы и больших барышей старик разрешал своим парням открыть несколько консервных

банок, говоря при этом: «Кушайте, дети мои, кушайте». Но в тайниках сердца он младшего все равно побаивался. Старшего, этого толстяка, легко было ублажить, сунув ему в руки электрическую бритву или несколько банок консервов. С младшим было сложнее. Этот не довольствовался подачками.

Зимние ночи тянулись бесконечно. Лежа на тощей постели, Янкель чувствовал порывы ветра. Правда, можно было укрыться с головой, согреться и предаться размышлениям...

А старик все стоял на своем: «Эта развалина нам вполне подходит...» И трудно было понять, издевается он или говорит серьезно. Во всяком случае, он давал ясно понять, что его это не трогало. Твердый, временами насмешливый, он стоял как бы выше всех обыденных забот, волнующих простых людей. Он умел вселять уверенность и хладнокровие, уподобляясь стороннему наблюдателю, который сам не принимает участия в игре.

И вот наступили дни, обострившие чувства до крайности. Пришла неизбежная развязка.

Дело было так. Парни ушли на ночной промысел. В пути их застиг дождь. Те, кто должен был доставить товар, где-то задержались. Младший предложил зайти в кафе, чтобы переждать дождь, ливший как из ведра. Старший намекнул, что это явно противоречит указаниям старика, который велел терпеливо ждать, даже в непогоду. Младший возразил, что он не намерен мокнуть, как бездомный пес. И они вошли в кафе.

Это был первый шаг, который повлек за собой целую цепь непоправимых нарушений и промахов.

В кафе они встретили БERTУ, с которой познакомились в том транспорте беженцев, что направлялся сразу после освобождения в Вену. Она работала официанткой. Начались воспоминания и с ними полное забвение своих обязанностей. Кафе было пусто, будто специально в честь этой встречи. Задушевная беседа шла за маленькими чашками ароматного кофе. «Вы должны оставить старика»,— говорила БЕРТА, и голос ее звучал дружески и обошительнее. Густой румянец на щеках ей очень шел. Она излучала радость. «Скоро мы его оставим»,— сказал младший и на-

мекнул, что они уже сейчас немного раскрепостились от его власти.

Поздно вечером, пьяные от неожиданной встречи, они вышли на улицу. Дождя не было. Багровый ночной мрак простирался вокруг. Человек, доставивший товар, был взбешен и встретил их градом проклятий. Младший не остался в долгу и ответил тем же. Во время перепалки два рюкзака с товаром стояли на земле, разделяя спорщиков, готовых вступить в драку. В спор вмешался старший, он сказал, что здесь нельзя поднимать шума. Эти слова, произнесенные для примирения, только подлили масла в огонь.

Ночная перепалка привлекла внимание. Не зря старик предупреждал, что и у стен есть уши. Послышался шум приближающейся полицейской машины. Началось стремительное бегство в сторону предместья.

Парни были ловки и быстры, хотя и бежали с большими рюкзаками, и даже старший не отставал, несмотря на то, что прихрамывал. Но и преследователи знали свое дело, они гнали их в глухие тупики, в мышеловки, откуда нет выхода. И ничего не оставалось, как бросить драгоценный товар и улизнуть сквозь щели. Первым сделал это младший, и лишь затем, в узком проходе, где и рюкзака нельзя было проташить, его примеру последовал старший. Теперь они были вне опасности.

«Что сказать старику?» — мелькнула мысль, как только они перевели дыхание. Появиться без рюкзаков — значило оказаться снова в полной власти старика.

Так стала созревать мысль, о которой ничего не было сказано вслух, но которая постепенно превращалась в твердое решение. Если старик подымет шум, то они будут вести себя должным образом. «Должным образом», — сказал старший, будучи уверен, что в этих словах есть лишь один смысл. Он больше ничего не добавил. В нем сильнее обычного пульсировала кровь. Может быть, это объяснялось переполохом, погоней и утомительным бегом.

Они вошли в подвал, и на их лицах было написано молча принятое страшное решение.

— Добро пожаловать, — начал старик. — А где товар?

— Не доставили. Мы ждали и не дождались, — отвечал младший.

— Ничего, еще доставят,— отвечал старик. Он произнес эти слова мягко и дружелюбно. Чувствовалось, что он не хочет обострять отношения.

— Не было никакого смысла ждать,— сказал младший, и в его словах прозвучал вызов.

— Ничего, доставят,— повторил старик. Лицо его оживилось, и он даже рассказал, слегка покашливая, как обставил сегодня всю свою компанию. И добавил, что скоро, когда наступит лето, он еще всем покажет, на что он способен.

Парни улеглись. Все говорило о том, что и на этот раз дело кончится примирением. Ведь им как-то уже пришлось раз бросить рюкзаки и вернуться с пустыми руками. Но тогда обстоятельства были совсем другие.

Всю ночь напролет шел проливной дождь. В подвале особенно чувствовалась густая, едкая сырость. Старик, как обычно, сидел, опираясь на подушки. Слышно было, как поверху гуляет ветер, порой казалось, что он вот-вот ворвется в комнату.

Далеко за полночь все переполошились из-за подозрительного шума на улице. Парни поднялись.

— Обойдется,— сказал старик.

— Нет, не обойдется,— ответил младший.

— Обойдется,— повторил старик и пододвинул к себе лампу.

— Нет, не обойдется,— упрямо твердил младший.

— Это что за новости? — Старик счел нужным поставить его на место.

— Не обойдется...

— Вы не хотите жить со мной? Пожалуйста, ищите себе другое место. Я вас не насилую. Я вас никогда не заставлял. Если бы вы не были сыновьями моей сестры Зельды, я бы давно от вас освободился.

— Это за то, что мы поддерживали тебя всю дорогу от Кемница сюда? — вмешался старший.

— Во-первых, не от Кемница,— уточнил старик.— В Кемнице я мог еще сам передвигаться. Это случилось со мной позже, когда мы уже были на свободе... Но вы забыли, что было во время войны. Кто приносил вам картошку? А теперь вы совсем обнаглели.

Старик замолчал, почуяв, что хватил через край и что в его голосе звучит угроза.

Он слез с кровати. Черты его лица обострились. Если бы не заплетающиеся ноги, он выглядел бы моложе своих лет. Он начал шагать из угла в угол, и шаг его становился все шире, будто он собирался с силами, готовясь отразить нападение. «Вы все забываете, вы все хотите забыть, а я не забываю. Вам, понятно, удобнее забыть,— отрывисто прошептал он,— но у меня все как на ладони. Неужели вы думаете, я забыл, что вы хотели бросить меня посреди дороги из-за какой-то паршивой девки? Я этого не забыл. Я открою все карты. Пусть все видят и знают».

— И все-таки не обойдется,— снова повторил младший.

— Мое тело уже не тело. Так, одно название. Проткнешь, и кровь, может, не потечет... Однако я не из трусливого десятка.

Наружный шум утих. В наступившей тишине было слышно учащенное дыхание старика. Парни задремали. Их свалил сон. Но утром их лица снова выражали решимость, хотя они были спокойны и, лежа в постелях, безучастно смотрели на потолок.

А старик явно бодрился. Он начал шагать возле своей кровати. Она была хорошо освещена. Собственно, его кровать была единственным светлым местом в комнате.

Днем выглянуло солнце. Парни сбросили одеяла и, когда поднялись, показались очень высокими, выше, чем обычно. Лучи солнца, вспоров окно, зажгли кровать старика. Чудилось, что от нее вздымается пар.

Старик шагал по диагонали, как бы желая подтвердить свою власть над парнями, которые, замкнувшись в скорлупу молчания, уходили из его подчинения. На чашу весов легли годы дружбы и ненависти. О, если бы в эту минуту было сказано слово, способное сломать взаимную неприязнь!

Ночные переживания еще не сгладились. Печать усталости лежала на лицах у парней, особенно возле глаз. Не говоря ни слова, они вышли на улицу, дав тем самым старику возможность для отступления, для бегства или для проявления великодушия.

Если бы старик мог выйти, он непременно бы вышел вслед за ними. Но ноги уже плохо его слушались. Власть его была здесь, возле кровати. Здесь он был силен. А на улице его сразу свалил бы зимний ветер. Он это знал, но парни этого не знали. Если бы ноги его слушались, он

давно ушел бы в город и поднял бы там целую бурю на черном рынке, на бирже, вокруг строительных участков. Но этого он уже сделать не мог. Потому-то и сидел он в подвале, возбуждая себя крепкими сигарами, которые доставляли ему парни, и маленькими бутылочками спиртного. Никогда бы он не стал пить, если бы его тело не нуждалось в горячительном напитке.

Парни вышли на берег реки, что текла позади их дома, как бы желая осмотреть со всех сторон свои развалины и накопить силы для решительных действий. Они кружили по предместью, то уходя далеко от подвала, то снова к нему возвращаясь. Старший уже начинал раскаиваться и твердил, что, если бы не старик, они бы погибли. Солнце медленно спускалось, скатываясь с верхних горных дорог к морю и подымая вдоль всего горизонта нагретые его лучами пары. Даже здесь, внизу, чувствовался их холодный пожар.

Странное сочетание жары и холода побудило парней ускорить шаг. У старшего ноги уже заплетались, но он все шел, и, по мере того как приближался к подвалу, в его сознании образ старика расплывался все больше, сливаясь с подвалом. Сверху убогое жилище было видно как на ладони. А ночь, как назло, не торопилась с приходом.

— Скоро стемнеет,— сказал старший.— И ночью будет дождь.

— Ну и пусть,— ответил младший.

— Может, все же зайдем? — нерешительно проговорил старший.— Ведь, как никак, он наш дядя. Он поймет, что мы не могли мокнуть всю ночь и должны были бросить рюкзаки.

— Нет и нет,— почти беззвучно сказал младший.

— А все-таки... Ведь благодаря ему мы спаслись. А теперь оставлять его на произвол судьбы...

— Не на произвол судьбы, а раз и навсегда с ним покончить. И тогда мы будем свободны. И сразу пойдём работать в порт.

— Меня не возьмут,— сказал старший.— Увидят, что хромаю, и не примут.

— Раз и навсегда. Пойти и прикончить! Мы его не прикончим — он нас прикончит.

Если бы произошло чудо, оно было бы сейчас вполне уместным. Но чуда не произошло. Чудес, как известно, не бывает...



Все же ночь пришла. Все слилось в одну сплошную тьму, не знающую компромиссов. Но вот в окнах зажглись огни. Для братьев то был знак, призывающий к повиновению. Походка старшего стала нерешительной, отяжелевшей. Из подвала тоже светился огонек.

— Ты останься здесь,— сказал младший, разрушив последнюю преграду. Теперь надо было только действовать.

— Ты оставляешь меня здесь? — воскликнул старший, но его вопрос остался без ответа.

Старик лежал в постели. Казалось, он считал деньги. На его худом лице было выражение суровости. Если бы Янкель вошел сейчас в комнату с железным ломиком, что сказал бы старик? Но младший не хотел подвергать себя такому испытанию. Возможно, он бы его не выдержал. Ведь в такие минуты приходит и внезапное раскаяние, и неожиданное благородство, а всего этого он желал избежать. Младший понимал, несмотря на всю путаницу в мыслях, что этого следует избегать. Теперь не оставалось ничего другого, как одним махом со всем покончить. В эти мгновения он был лишь исполнителем владевшего им неистовства, неотвратимого, как пуля, выпущенная из пистолета.

Обойдя развалины и погрузившись в их тень, он поднял ломик и с силой воткнул в стену. Все строение как бы встрепенулось. Какое-то мгновение оно еще находилось в равновесии, но потом уже не могло устоять перед градом ударов, сильных и точных, направленных в сторону самой слабой части потолка.

— Янкель, Янкель! — послышался голос старика, сверкнувший как искра в ночи. Через вскрытый потолок их взгляды встретились. Старик и племянник оказались лицом к лицу.



## Мечь носильщика

Большинство еврейского населения Цфата<sup>1</sup> жило в «старое доброе время», то есть до первой мировой войны, скромной и замкнутой жизнью своих общин, существовавших за счет «халуки»<sup>2</sup>. Но было немало и таких людей, которые добывали средства к жизни торговлей, ремеслами и тяжелым физическим трудом. Они вербовались главным образом из самых бедных слоев этих общин: жалкой подачки, которую они получали, им не хватало даже на уплату за квартиру.

Безвыходное положение побуждало этих людей браться за любое дело. Те, кому везло, воздавали хвалу богу за то, что им удавалось переложить тяжесть малоприятных будничных занятий на плечи своих жен<sup>3</sup>. Менее удачливые с ненавистью взирали на каждого новорожденного, ибо каждый новый рот сокращал и без того нищенское подаяние. Внешне все выглядело благопристойно, но внутри общин и тогда уже шла тайная, но ожесточенная классовая борьба.

<sup>1</sup> Цфат, или Сафед, — один из древнейших городов Палестины.

<sup>2</sup> «Халука» — в буквальном смысле «дслеж». Речь идет о деньгах, регулярно собираемых евреями «стран рассеяния» для содержания небольших общин, живших в конце XIX и начале XX вв. в Палестине. Этих денег, пожертвованных с благотворительной целью, едва хватало на нищенское существование.

<sup>3</sup> Во многих старых еврейских семьях было заведено, что муж всецело отдавался изучению талмудистской литературы, отстранившись от всяких «мирских» дел, а средства к жизни должна была добывать жена.

Исраэль Турок принадлежал к числу самых зажиточных людей Цфата. Уж такая вредная привычка была у местных жителей — прибавлять к каждому имени кличку, соответствующую характеру человека. Что с того, что Исраэль сроду не видел Турции, а его родители и подавно никогда там не были? К нему крепко-накрепко пристало прозвище Турок. То ли потому, что ему везло, как турку, то ли потому, что в тех местах была в ходу поговорка «вороват, как турок»...

Исраэль был уроженцем Цфата. Его мать содержала когда-то крохотную бакалейную лавчонку. Но так как она была женщиной болезненной и больше лежала в кровати, чем стояла за прилавком, волею судеб пришлось Исраэлю в молодые годы не столько заниматься священным писанием, сколько торговать. Понятно, что, повзрослев, он уже не мог себя причислить к знатокам талмуда, но зато до тонкости разбирался в коммерческих делах всей округи. В его блестящих с хитрецей глазами светилось характерное выражение человека, знающего цену деньгам и умеющего их добывать.

Прошло немного времени, а Исраэль успел уже раскинуть свою торговую сеть далеко за пределами Цфата. Караваны верблюдов еженедельно привозили для него товары из Бейрута и Дамаска. Его агенты сновали и в ближних и в дальних деревнях, скупая у крестьян продукты их полей, садов или виноградников — все зависело от сезона. Круглые сутки шумела принадлежавшая ему большая мельница. С полной нагрузкой работал в деревне Эйн-Зейтим завод оливкового масла, а в его большом магазине в центре Цфата можно было достать все, что душе угодно.

Короче говоря, ему во всем очень везло. Но, охотно продавая Исраэлю за внушительный куш почетное «восхождение к торе»<sup>1</sup>, любезно уступая ему верхнюю полку в парилке и с готовностью принимая от него пожертвования на благотворительные цели, жители Цфата не могли простить новоявленному богачу его низкого происхождения. Злые языки не упускали случая за глаза поизмываться над его невежеством и малой ученостью. Все это, понятно,

---

<sup>1</sup> В праздничные и субботние дни в синагогах читают нараспев отдельные главы из Библии. Вызывая к чтению прихожан, произносят громко вслух ту сумму, которую молящийся жертвует за «восхождение к торе».

в некоторой степени омрачало безоблачное счастье молодого удачливого дельца. .

Иерахмиэль Чурбан по своему происхождению очень немногим отличался от Исаэля Турка, но, видно уж, на роду ему было написано всю жизнь мыкаться простым носильщиком. Он был крепок и силен. Могучее его тело венчала небольшая голова, густо обросшая черными волосами. Кажется, из всех пор его кожи буйно выпирала пышная растительность. Иерахмиэль носил, как положено правоверному еврею, длинную окладистую бороду, начинавшуюся с висков. Так как и голову его покрывала густая шевелюра, то лба почти не было видно, виднелась лишь небольшая смуглая полоска над кустистыми бровями. Изредка в его небольших глазах, окруженных чашей волос, загорались яркие огоньки, и тогда казалось, что это вспыхивали два уголька. Но они быстро гасли.

Дабы приобрести кличку Чурбана, Иерахмиэлю не пришлось особенно много стараться, и для этого ему не надо было рождаться в Цфате. Даже менее сведущие физиономисты и пересмешники, чем цфатские, вряд ли выбрали бы для него более подходящее прозвище. Во всем его облике было что-то от неодушевленного предмета, такая упрямая инертность, свойственная материи, не облеченной в четкие формы. На его слегка согнутой спине, казалось, всегда лежала какая-то невидимая людям ноша. Полузакрытые глаза большею частью смотрели вниз, под ноги. Обросший волосами рот открывался редко, издавая при этом какие-то нечленораздельные звуки, понятные немногим. А об удивительном упрямстве Иерахмиэля было известно даже грудным младенцам. Одним словом, чурбан да и только!..

Иерахмиэль так свыкся со своим прозвищем, что ему и в голову не приходило на кого-то обижаться. А по правде говоря, ему было не до того. С раннего утра до поздней ночи его можно было видеть неторопливо шагающим по гористым улочкам Цфата с неизменным грузом на спине. Он разгружал тюки, которые привозились сюда на мулах и верблюдах из Хайфы и Тивериады, а затем доставлял их куда приказывали. Работал он ловко, споро, сосредоточенно, особенно заботясь о том, чтобы, упаси боже, не повредить доверенных ему ценностей.

Никто никогда не видел Иерахмиэля куда-либо спешившим или, напротив, медленно прогуливающимся. Он всегда двигался в одном и том же мерном ритме, как хорошо отрегулированный механизм. И если бы не крупные капли пота, стекавшие ручейками и обильно смачивавшие его волосатое лицо, никто бы, пожалуй, и не догадался, что под ящиком или тюком склонился живой человек, а не бездушный робот.

Вся его жизнь была такой же неприметной и тихой, как и его работа. Он ютился на окраине города в сефардитском<sup>1</sup> квартале. Его хибарка находилась далеко от городской суеты, бабьих сплетен и пересудов. Жена его, очень худая, неразговорчивая и замкнутая, была круглой сиротой, когда судьба ее забросила в Цфат. Здесь у нее не было ни родных, ни знакомых.

Отправляясь на базар за покупками, она закутывалась в серый шерстяной платок, делавший ее настолько неприметной, что редко кто из женщин здоровался с нею. И если бы не укоренившаяся у нее привычка ежегодно рожать ребенка и необходимость в связи с этим обращаться к акушерке и совершать обряд обрезания, вероятно, ни одна живая душа никогда не переступила бы порог ее дома.

Только по пятницам, в послеобеденный час, Иерахмиэль приобщался к жизни своих домочадцев. Он уходил в сопровождении целого выводка в баню — излюбленное место жителей Цфата, где они изошрялись в злословии и нежили себя приятными похлопываниями веника. Но и здесь уста Иерахмиэля не издавали никаких иных звуков, кроме посапывания и редких вздохов, выражавших искреннее удовольствие. Своих детишек он мылил, парил, тер им спины по особой, им изобретенной системе и со свойственным ему упорством, не говоря при этом ни слова. Да и дети в присутствии отца боялись шуметь и баловаться. Под сенью могучего, обросшего волосами тела Иерахмиэля они казались беспомощными птенцами.

Остряки Цфата, которые не оставляли в покое даже грудных младенцев, не могли, разумеется, обойтись без того, чтобы не осыпать Иерахмиэля градом насмешек.

— Эй, Чурбан! Ты бы сказал нам по секрету, в какой части тела ты прячешь свой изворотливый ум?

---

<sup>1</sup> Сефардиты — выходцы из Испании, некоторых западноевропейских стран и Северной Африки.

— Эй, Чурбан! Когда снова пригласишь нас на праздник обрезания? По нашим расчетам, это должно быть через две недели...

Временами он, казалось, прислушивался к этим насмешкам. Застывал на месте, издавая глухое ворчание, или широко открывал глаза, и тогда в них вспыхивали гневные искорки, но сразу же гасли. Чаще же всего он продолжал невозмутимо делать свое дело, будто и не его вовсе имеют в виду все эти острословы. А те, видя, что его ничем не пронять, в конце концов оставляли его в покое, махнув рукой.

— Что с него взять — чурбан!

Большую часть года Иерахмиэль был занят разгрузкой и доставкой товаров Исаэля Турка. Оплата за переноску всех видов груза была строго определенной, установившейся с незапамятных времен. И грузчик, и хозяин были так хорошо осведомлены о всех тонкостях этих расчетов, что говорить им друг с другом не было никакой надобности. Но Исаэль Турок всегда искал повод, чтобы втянуть в беседу своего молчаливого работника. Он обращался к нему с несуразными вопросами, морочил голову какими-то нарочито запутанными расчетами, давал смехотворные указания. И все для того, чтобы вывести из себя и заставить говорить этого упрямого. Но ничего не помогало — Иерахмиэль лишь шире раскрывал глаза, в которых вспыхивали и тотчас гасли огоньки, а потом невозмутимо бормотал несколько слов о причитающейся ему оплате.

Надо сказать, что в ту пору богачи Цфата имели не так уж много развлечений и удовольствий, а недавно разбогатевший Исаэль и того меньше. На что он, в конце концов, мог употребить свои деньги? Завести полный дом лакеев и горничных? Но ведь его жена была неплохой хозяйкой и сама отлично со всем справлялась. Да и не водились тогда в захолустном Цфате люди этих профессий. Развлекаться по театрам, ресторанам, кафе и ночным кабаре? Во-первых, этих увеселительных заведений в Цфате в ту пору еще не было. А во-вторых, богобоязненный Исаэль Турок никогда бы не согласился променять царство небесное и райские кущи на переходящие и скоротечные удовольствия мира сего. Нет, немно-

гое мог позволить себе новоявленный богач святого града Цфата...

Ему хотелось прежде всего, чтобы к нему относились с должным уважением, чтобы считали его щедрым благотворителем. Ну, еще можно было, конечно, позволить себе такой небольшой грешок, как помыкание ближним своим, посмеяться над теми, кто от тебя зависит. В этом отношении Израэль Турок мог дать сто очков вперед любому цфатскому остряку. Тем более что перед ним заискивали, ему угоднически кланялись и, не моргнув глазом, молча выслушивали все его злые шутки, которые мог себе позволить лишь очень богатый человек.

Но вот упрямец Иерахмиэль не хотел доставить своему хозяину даже такого скромного удовольствия. Он не только не заискивал и не пресмыкался, но даже, как казалось некоторым, проявлял откровенную неприязнь к своему кормильцу и работодателю. Случалось, Иерахмиэль очень странно смотрел на хозяина: в этом взгляде были и молчаливый укор, и какая-то непонятная требовательность, и даже явное осуждение — «зачем, мол, тебе так много денег?»...

Израэль боялся этого взгляда. Временами он испытывал непонятный страх перед глазами носильщика, иногда даже видел во сне их упрямый, неумолимый взгляд — и просыпался со странным сердцебиением. Сам того не сознавая, он чувствовал в Иерахмиэле Чурбане непримиримого врага. И в душе его росло страстное желание уязвить Иерахмиэля злой насмешкой, унижить его такими словами, которые причинят острую боль и как червь будут грызть сердце. Но носильщик был всегда молчалив и невозмутим, ни единым звуком не отвечая своему хозяину...

Немая вражда между этими людьми тянулась годами, но жители Цфата о ней даже не подозревали.

Как-то раз, когда Израэль был в Эйн-Зейтим на своем заводе оливкового масла, там обнаружилась нехватка бочек, а мулов для их доставки в тот момент поблизости не было. Но сметливый Израэль тут же нашел выход из положения. Так как завод стоял у подножия горы, то три бочки со склада, находящегося наверху, в самом Цфате, нетрудно было скатить вниз вручную. А на следующий

день, когда бочки будут наполнены маслом, их доставят в Цфат на мулах.

Израэль распорядился вызвать Иерахмиэля и поручил ему эту работу.

Иерахмиэль, по своему обыкновению, молча принялся за дело. С большой осторожностью скатывал он огромные бочки по извилистой горной дороге, усеянной камнями. Любой другой на его месте быстро потерял бы власть над тяжелыми железными бочками, влекомыми вниз силой собственной тяжести, и они превратились бы в груды искореженного металла,— любой другой, но не Иерахмиэль. С ним не было еще случая, чтобы, взявшись за работу, он причинил бы какой-нибудь ущерб хозяину, допустил бы повреждение груза. Силой своих мускулов и сметкой, что дается годами тяжкого труда, он умело укрощал эти ежесекундно бунтовавшие бочки. Вскоре его волосатое лицо стало похоже на мокрую черную тряпку, которую сунули в ил, а затем опустили в воду. Одежда прилипла к телу, дыхание стало громким, прерывистым, как у обезумевшего вола. Все в нем напряглось до предела. Но бочки, послушные его воле, были доставлены по назначению целыми и невредимыми.

Израэль стоял в развевающемся кафтане под сенью дерева, держа в руках дымящуюся сигару, и на его устах блуждала довольная ухмылка. Когда он увидел Иерахмиэля с бочками, медленно спускавшимися с горы (издали казалось, что человек повторяет все движения бочек), его стал душить смех. Тотчас же подобострастно загоготали все, кто находился рядом с хозяином.

Иерахмиэль был уже недалеко и, услышав громкий смех, на мгновение поднял потную голову и бросил беглый взгляд на развеселившуюся компанию. Но он тут же опустил глаза, продолжая свое дело, требовавшее большой сосредоточенности, как будто ничего не видел и не слышал. У самого завода он остановился, тяжело дыша, и стал вытирать грязным рукавом влажное лицо.

Израэль еще трясся от смеха, а в его голове — человека делового и практичного — уже слагались цифры: он прикидывал, сколько же уплатить носильщику за эту необычную услугу? «Дам ему не больше двух меджидие<sup>1</sup>,—

---

<sup>1</sup> Меджидие — турецкая серебряная монета.



подумал он с удовольствием,— а если заупрямится, накину еще монетку...»

Он знал, что, если бы бочки доставили на мулах, это обошлось бы вдвое дороже.

— Ну, Чурбан, сколько тебе дать за такую детскую забаву? — обратился он к носильщику, заранее предвкушая удовольствие от предстоящего разговора.

— Половину меджидие,— пробурчал тот, но слова его звучали вполне внятно.

— Ха-ха-ха! — захохотал Израэль громче прежнего.— Половину меджидие? Половину? Ха-ха-ха!

— Половину! — повторил Иерахмиэль, не шевельнув и бровью.

— Ты что, рехнулся? Ха-ха-ха! Вы слышали? Половину меджидие! А четверти тебе мало? А?

Смех так душил Израэля, что на его глазах выступили слезы.

— Не хотите платишь? — угрожающе спросил Иерахмиэль.

— А что, если не хочу? — с любопытством и нескрываемым удовольствием спросил Израэль.

— Тогда я их отнесу на склад.

— Что-о? Отнесешь на склад? Покатишь вверх по горе? Сделаешь двойную работу, и к тому же бесплатно?

Он так и захлебнулся в смехе. Нелепое упрямство носильщика казалось ему и забавным и глупым. Даже сил смеяться больше не было.

А Иерахмиэль тем временем не мешкал. Не теряя ни минуты, он снова занялся злосчастными бочками. Неуклюже, по-медвежьи шагая, он преспокойно выкатил их со двора и действовал так невозмутимо, будто не было никакой связи между его работой и безудержно смеющимися людьми, стоявшими возле Израэля.

Ему предстояла нелегкая задача, казалось, превышавшая человеческие силы. Но Иерахмиэля это не смутило. Перекатив бочку на несколько шагов вверх по склону, он подкладывал под нее камни, чтобы она не скатывалась вниз, а затем брался за вторую, потом за третью... К вечеру все бочки были благополучно доставлены обратно на склад.

Израэль, в этот день задержавшийся на заводе, находился до упаду. Он в полную меру наслаждался невиданным зрелищем. Такого развлечения у него давно не было.

Завтра весь Цфат будет покатываться со смеху! Все будут только об этом и говорить, и его слава шутника и забавника снова поднимется, снова посыплются со всех сторон знаки уважения. Люди будут восхищаться его находчивостью. Право, этот Чурбан заслужил премию в десять меджидие. Надо же такое придумать!

Но Цфат почему-то не смеялся. Люди не могли поверить, что за такую трудную работу Израэль Турок намеревался уплатить всего три монетки. Вся эта история была воспринята совсем по-другому: богатый купец, издавна известный своей скаредностью, решил выжать все что можно из бедного, обиженного судьбой носильщика. Он, Израэль, начисто потерял совесть, позволив прикатить эти бочки снова на склад, только бы не уплатить безответному Иерахмиэлю лишнего гроша.

Никакие доводы и объяснения не помогали. Общественное мнение было против него. Даже местные остряки встали на сторону Иерахмиэля. Вместо того чтобы изощряться в насмешках по адресу глупого грузчика, они взяли под прицел скупость и ничтожество Израэля Турка. По этому поводу народная молва быстро сложила целую серию анекдотов и занятных историй. Репутация Израэля была окончательно испорчена.

Израэль не верил своим глазам, не понимал, что же происходит. Вначале он еще пытался оправдываться перед людьми. Он даже вступил в переговоры с Иерахмиэлем и предлагал ему двойную и тройную плату, но тот пожимал плечами и говорил вполне внятно:

— Я ведь ничего для вас не сделал... Взял бочки да откатил их обратно... А в подаянии Иерахмиэль не нуждается...

Тогда Израэль Турок стал останавливать на улицах прохожих и объяснять им, как было дело. Его собеседники из вежливости слушали, кивали, но не верили ни единому слову. И чем больше ему не верили, тем настойчивее пытался он объяснить всем и каждому свою правоту. Он уже ни о чем другом не мог думать.

Жители Цфата в сутолоке дел начали постепенно забывать эту историю. Но Израэль Турок уже не мог успокоиться. Казалось, на карту были поставлены вся его жизнь, честь, богатство...

За какой-нибудь месяц он изменился до неузнаваемости. Куда девалось присущее ему ранее выражение уве-

ренности и самодовольства? От них не осталось и следа. Он чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Исчезла всепожирающая жадность, страстное желание проглотить весь мир, опутать всех и каждого. Снова давала себя знать застарелая болезнь сердца. По ночам он ворочался в постели без сна, а засыпая, видел страшное зрелище: волосатый Иерахмиэль, обливаясь потом, тащит вверх по склону огромные железные бочки... Это видение наполняло его ужасом. Он всегда чувствовал на себе тяжелый взгляд носильщика, устремленный из-под нависших бровей.

Однажды, когда он сидел в конторке своего магазина и проверял счета, по телу его прошла странная дрожь. Спустя минуту его голова бессильно опустилась на стол. Люди, вошедшие в конторку, подняли шум и побежали за доктором.

Израэль Турок скончался от разрыва сердца. Так установил врач, и эта весть передавалась из уст в уста. Цфат в этот день шумел, как улей, все были очень взволнованы. Похороны Израэлю Турку устроили грандиозные.

И лишь один Иерахмиэль спокойно принял весть о внезапной смерти богача. Когда Израэль Турок сидел в конторке и проверял счета, Иерахмиэль проходил мимо. Задержавшись на минутку около открытой двери, он молча взглянул на богача, и глаза их встретились...

Это была их последняя встреча.



## Чужой

Когда я впервые увидел этого человека, он вызвал у меня какое-то странное ощущение, но отнюдь не вины, ибо перед ним я не чувствовал себя в чем-либо виноватым. Однако, как бы это выразиться поточнее... это было скорее ощущение неловкости и непонятного беспокойства. После этого я о нем больше не думал, видимо, просто-напросто забыл. Но вот, увидев его вторично у своего дома, я тотчас же вспомнил его, узнал и... испугался.

Первый раз я увидел его утром. Внезапно на весь дом лихорадочно задребезжал будильник. Дребезжание вторглось в мои сновидения и подняло с постели. Я встал, и, не разомкнув глаз, протянул руку к будильнику, чтобы нажать кнопку. Звон прекратился. С минуту, как обычно, я постоял в тишине. Мне очень хотелось опять забраться в постель, но было уже семь часов, и я понял, что снова уйти в мир сладких грез не удастся. Я подошел к окну и слегка раздвинул занавеску, чтобы впустить в комнату утренний свет. И тут я увидел этого человека.

Прямо напротив меня, прижавшись к каменной, изрядно обветшалой ограде, стоял худощавый парень, вперив глаза в мой дом. У него были очень большие глаза, но, может быть, мне это только показалось, ибо щеки у него были впалые и темные.

Некоторое время мы так и стояли — друг против друга. Он, видно, сразу не сообразил, что занавеска отдернута и я стою у окна.

Внезапно он меня увидел и, вздрогнув, поспешно зашагал прочь.

Мне особенно запомнилась эта его поспешность, похожая на бегство. Ведь, в конце концов, каждый имеет право стоять возле ограды и рассматривать на улице дома. И все же... Дело в том, что наш поселок пограничный. Более того, граница рассекла его на две части. Половина осталась у нас, другая половина — у арабов. Это был заброшенный, покинутый жителями поселок. И хотя до сих пор, говоря по совести, у нас не замечалось ничего подозрительного, мы не могли считать себя в безопасности, особенно первый год.

Не скрою — будь у меня другое предложение, я охотно уехал бы отсюда. Но такого предложения не было, а тут мне предоставили хороший дом, да еще без въездных<sup>1</sup>. И всего за шесть лир в месяц, которые я должен был вносить в Опекунское управление бесхозным имуществом.

Таким домом, в котором до войны, видно, жили богатые люди, не пренебрегают из-за того, что тебе здесь не все нравится.

Во всяком случае, легко понять, какие мысли пронеслись у меня в голове, когда я увидел этого худощавого молодого человека с темным цветом кожи и гладкими на маслянистыми волосами. Когда он удалился, я еще некоторое время постоял у окна, а потом занялся своими делами. Ведь в восемь я уже должен был быть на службе.

Это была первая наша встреча.

Вторая встреча оставила после себя нечто большее, чем неприятный осадок. Можно сказать, весь день я ощущал какое-то смутное, гложущее беспокойство.

Однажды в полдень я стоял на крыше своего дома и обмазывал ее смолой. Дело было осенью, в воздухе уже пахло дождями. Когда мы въехали в этот дом, на потолке и в углах комнаты виднелись следы плесени, и я решил просмолить крышу. Вообще, с тех пор как дом был предоставлен мне, я с увлечением отдался его благоустройству.

Возвращаясь с работы, я наскоро обедал, надевал спецовку и начинал возиться либо в самом доме, либо во дворе. Работы было по горло. Более года поселок был необитаем. За это время многое разрушилось, пришло в упа-

---

<sup>1</sup> Въездные (буквально «деньги за ключ») взимаются при въезде в квартиру в пользу ее прежнего владельца.

док. От военных действий поселок почти не пострадал, зато уж мародеры постарались. Я говорю не о мебели, она вся была расхищена. Почти во всех домах были сорваны с петель двери, вырваны оконные рамы, содрана электропроводка, вывинчены водопроводные краны на кухнях. Даже стены и те местами были повреждены: там, где имелись кафельные плитки, их выломали.

Когда мы впервые вошли в наше новое жилье, оно представляло печальное зрелище. Только начав чистить, мыть и убирать квартиру, мы поняли, что раньше она принадлежала богатым людям, хотя из всего прежнего достоинства здесь осталась лишь груда старых газет да маленький медный кувшинчик, весь позеленевший от сырости.

Жена моя была немного опечалена: «Ну и развалину ты раздобыл». Но я утешил ее, сказав, что не пройдет и года, как я превращу этот дом в бонбоньерку, в барские хоромы, на которые будут заглядываться. Так оно и вышло. Те, кто видел, что представлял собой дом в тот момент, когда я в него вселился, не верили своим глазам.

Итак, в тот день я стоял, согнувшись, на крыше и щеткой из жесткой щетины наносил на бетон жидкую смолу. И вот, выпрямившись, чтобы размяться и дать отдых пояснице, я увидел того же молодого смуглолицего человека. На сей раз он был не один. Рядом с ним стоял пожилой мужчина, такой же смуглый, как и он, но полный, в коричневом костюме в красную полоску, какие охотно носили в ту пору городские арабы.

Недолго думая, почти бессознательно, я бросил щетку и по водосточной трубе спустился с крыши, чтобы задержать их и спросить, что они делают возле моего дома. И вообще, кто они такие? Но пока я спускался с крыши и дошел до ворот, их и след простыл.

Никто не считает меня трусом, но этой ночью я вставал и проверял все запоры. Я пожалел, что в нашем доме нет ставен — вместо них окна у нас обнесены металлической решеткой. В эту ночь я твердо решил, что обязательно задержу этого странного молодого человека и дознаюсь, кто он такой и что ему здесь надо. Я даже составил план, как его выследить. Но шли дни, а парень не появлялся. Тем временем я закончил все ремонтные работы к предстоящей зиме, оштукатурил все, что нуждалось в штукатурке, покрасил все, что нуждалось в окраске, и даже заделал проломы в каменной ограде. Я подружился с со-

седом, поселившимся напротив нас, и, когда наступила зима, чувствовал себя уже старожилом этого поселка.

Однажды скучным дождливым днем я снова стоял у окна и смотрел на улицу. И хотя молодой человек был в низко нахлобученной шляпе и в широком длинном пальто, делавшем его фигуру бесформенной, я его тотчас узнал. Не скрою, я страшно обрадовался, что наконец-то освобожусь от гнетущего чувства тревоги, ибо был уверен, что ему уже не удастся улизнуть от меня. Накинув плащ, я вышел во двор.

— Эй,— крикнул я,— как вас там... Подойдите, пожалуйста, ко мне!

Незнакомец и на этот раз попытался ускользнуть.

— Подойди сюда! — крикнул я властно.— Теперь от меня не скроешься!

Он остановился. Под мокрой шляпой лицо его казалось совсем черным. Я подошел к нему вплотную.

— Что вам здесь надо? — спросил я.

— Не понимаю,— ответил он по-французски.

Этого я не ожидал. Мои познания во французском языке более чем скромны, они ограничиваются несколькими выражениями типа «бонжур, мосье», «мерси, мадам» и т. п.

— Иврит,— сказал я ему.— На иврите разговариваете?

Он с огорчением развел руками. Лицо его свидетельствовало, что он меня не понял.

— А по-английски?

— Немножко.— Он улыбнулся.

Наконец-то мы сможем столкнуться. Правда, это тоже будет нелегко, ибо мой английский весьма примитивен. Он состоит всего из нескольких коротких, рубленых фраз. Но, чтобы узнать, что это за человек, мне казалось, моих знаний будет достаточно.

— Что вы здесь делаете? — спросил я по-английски.

— Я проходил тут мимо и посмотрел.

— Но это же не в первый раз!.. Почему вы каждый раз останавливаетесь именно здесь?

— Просто так. Как прохожий.

Тут я рассердился. Мне было ясно, что этот парень решил поводить меня за нос. Дождь крепчал, вода проникала мне за воротник. Нет, на этот раз ему все равно не удастся отвертеться!

— Зайдем в дом. Мне надо кое-что выяснить.

Он не противился. И даже не сказал, что я не имею права его задерживать. Более того, мне показалось, что в его огромных глазах сверкнула искорка радости.

Я уже раскаивался, что затеял все это дело, но не в моем характере отказываться от собственных слов, и я решил узнать все до конца.

Мы вошли в комнату.

Я не предложил ему сесть, напротив, как только мы перешагнули порог дома, я резко обернулся и спросил в упор:

— Кто вы такой?

— Армянин,— ответил он.— Я армянин.

Такой ответ прозвучал для меня совершенно неожиданно. Я был уверен, что он араб.

Говоря откровенно, я всегда с большой симпатией относился к армянам, мне они нравились. Но, пожалуй, это скорее всего было какое-то особое сочувствие к ним, даже жалость... Я люблю армянские анекдоты, армянские загадки, вроде «зеленый, висит на дереве и пищит...» Они, право, единственные в своем роде.

Теперь, когда я узнал, кто мой таинственный незнакомец, я обратил внимание, что он какой-то растерянный и ходит ссутулясь, с опущенной головой. А вот глаза его и в самом деле были очень большие и выразительные. По глазам он мог сойти и за еврея, и за ассирийца.

По правде говоря, мне давно хотелось познакомиться и поговорить с каким-нибудь армянином, но, разумеется, при других обстоятельствах. «Надо, во всяком случае, предложить ему стул»,— подумал я. Но в этот момент другая мысль отогнала прочь чувство жалости: армянин он или не армянин, но что ему здесь все-таки надо?

— Меня не интересует ваша национальность,— сказал я.— Я хочу знать, кто вы такой? И что вам нужно возле моего дома?

— Я хотел только посмотреть,— ответил он.

«Упрямый мул»,— в сердцах подумал я.

— А чего здесь смотреть? И почему вас заинтересовал именно мой дом?

Я говорил нарочито грубо. Внезапно мне пришли на память рассказы Сарояна, и я невольно улыбнулся.

— Я изредка хожу здесь. Кроме того, я скоро уезжаю в Америку. У меня там дядя.



Своим ответом он вывел меня из терпения. Я его задержал, а он и в ус не дует... Он, видите ли, едет в Америку.

— При чем тут Америка? — я повысил голос. Он не на шутку рассердил меня. А тут еще стоит и все время глазами шарит по комнате. Он оглядывал комнату так, будто хотел использовать неожиданно представившуюся ему возможность рассмотреть мой дом изнутри.

— В последний раз я вас спрашиваю: что вам здесь нужно? В моем доме!

— Не сердитесь, пожалуйста, — ответил он на английском, но очень мягко, с восточным акцентом, по-особому произнося букву «р». — Я ведь армянин.

Внезапно до меня дошло, почему он так напирал на свою национальность. Он как бы хотел этим сказать: я не причастен к вашим внутренним распрям. В разгар стычки он как бы обращался к враждующим сторонам: господа хорошие, обождите минутку, дайте пройти, будьте любезны, прошу вас! Я же посторонний. Дайте пройти...

— Где вы живете? — голос мой невольно смягчился.

— Сейчас у сестры деда. Она тоже армянка.

— Что значит сейчас?

— Ну, с того дня, когда вернулся сюда.

— Откуда вернулись?

— Из Бейрута. Я учился там. Когда она была здесь... В общем, когда здесь была война...

— Зачем вы вернулись?

— Повидаться с сестрой моего деда.

В душе я знал, какой вопрос мне хотелось бы ему задать. Я хотел спросить, где он жил до войны, но не спросил. Вместо этого я задал другой вопрос:

— Вы местный?

— Я здесь родился.

— А семья?

— Семья? — он улыбнулся. Это была слабая, но удивительно мудрая улыбка. «Армянская улыбка», — подумал я. — С семьей обстоит так. Отец моего деда жил в Армении. Затем с женой и сыновьями уехал в Сирию. Там он и умер. Дети его перебрались в Египет. После большой войны мой дед поселился здесь вместе со своей младшей сестрой. А его брат уехал в Америку. Теперь я еду к нему.

— А-а-а...— ограничился я междометием. Я уже сердился на себя за нелепые подозрения, побудившие меня задержать этого человека, да еще затащить к себе домой. На дворе дождь лил как из ведра. Моя жена возилась на кухне, спешила приготовить завтрак. И мне надо было торопиться, чтобы не опоздать на службу.

— Так вот, у нас, у армян,— улыбнулся молодой человек и вздохнул. Тут я сообразил, что и мое «А-а-а...» тоже завершилось вздохом. Я почувствовал, что он собирается рассказать мне еще кое-что о себе и своей семье. И знал, что это будет невеселый рассказ.

— Послушайте, друг мой,— обратился я к нему.— Мне не нравится, что вы вертитесь под моими окнами. К тому же я вас совершенно не знаю. Ваше счастье, что я люблю армян.

— Армяне — это о'кей,— сказал он.

— Только не стойте, пожалуйста, у моего окна.

— Нет, больше не буду. Я ведь скоро уезжаю. Простите, что я причинил вам столько хлопот.

Он повернулся и направился к двери. Сделав два шага, он остановился возле буфета. Он стоял ко мне спиной, лица его я не видел. Протянув руку, он погладил небольшой медный кувшинчик, стоявший на буфете. Моя жена его надраила до блеска, вернув ему его натуральный темно-красный цвет. На кувшине сейчас отчетливо проступали чудесные арабески.

— Красивый сосуд, не правда ли? — спросил я и почему-то добавил: — Моя жена очень любит такие безделушки.

— Да, очень красивый. Его привезли из Афганистана.— С большой осторожностью поставив кувшин на место, он повернулся ко мне лицом, на котором застыла улыбка.— Извините, пожалуйста, за беспокойство, которое я вам причинил.

И он ушел. С тех пор я его больше не видел. Думаю, что он уехал к дяде в Америку. По правде говоря, я уже забыл обо всей этой истории. Но сейчас, когда я увидел, как ты стоишь возле буфета и забавляешься какой-то коралловой безделушкой, я вспомнил молодого армянина. Что же касается того игрушечного медного кувшинчика, то, как только армянин вышел из комнаты, я взял его и положил в карман. По дороге я выбросил его на пустыре в траву.



## Первая премия

Все произошло в один миг, да и не могло произойти иначе. Маска перешла из одной школьной сумки в другую. Это была великолепная маска с большой бородой. Кто бы ее ни примерил, даже если бы это был исхудавший от недоедания актер-неудачник, он стал бы величественным, как король Лир или по крайней мере как пират, привлекая к себе внимание и вызывая восторг окружающих. Но в душе ученика второго класса народной школы возникло более скромное желание: эта маска пригодится ему к празднику пурим. Раскрывая сумку своего однокашника Йигала, он изрядно трусил, но от задуманного не отступил. «Носится с бородой, как дурень с писаной торбой... Подумаешь, воображала, хочет переодеться Мордехаем<sup>1</sup>. Вот заберу бороду, пусть взбесится! Раз-два — и бороды уже нет!» На последней перемене он стащил маску так ловко, что никто этого не заметил, а жгучее счастье, смешанное с боязнью, попеременно то сжимало, то отпускало сердечко маленького вора.

Когда старший государственный инспектор Йехезкель Гольдштейн вернулся с работы, его шумно встретил младший сын, который торжественно размахивал бородой, выставляя ее на всеобщее обозрение.

— Откуда у тебя эта борода? — удивленно спросил Йехезкель.

<sup>1</sup> Мордехай — библейский персонаж.

— Я нашел ее, папа... нашел... на улице Маппу... возле киоска... она лежала возле киоска! — говорил Йоси не переводя дыхания и вдобавок к этой выдумке наплел еще несколько историй.

Вечерняя дискуссия, какую маску следует надеть Йоси на празднике пурим, прошла бурно. С первой минуты совершенно четко наметились два лагеря. Каждый с жаром отстаивал свою правоту. Лагерь Йоси, к которому примыкали мама и бабушка, был за переодевание Йоси в пирата. Например, в такого, какого недавно видели в фильме «Пират», — одноглазого, безногого, с отсеченной наполовину рукой. Противоположный лагерь состоял из одного человека — отца. Старший государственный инспектор хотел увидеть своего сына в облике «учителя нашего Моше»<sup>1</sup>, со скрижалями, где начертаны десять заповедей. Борода прекрасно подходит для этой роли! Отец оказался в меньшинстве, но в силу веских моральных и идейных доводов вышел в споре победителем. И семейный совет решил Йоси переоденется Моисеем и будет держать в руках скрижали с десятью заповедями.

Не все в мире решается в один миг. Бывает так, что всякая новая минута порождает противоположные мысли и чувства, но бывает, что порождает она и одинаковые. Эти чувства и мысли идут проложенным путем, с большой силой сталкиваются друг с другом — и тогда только возникает окончательное решение.

Так случилось и с Йоси. Страх проник в его сердце. Борода неотступно преследовала его. Борода появилась даже во сне, и это было самым страшным. Борода начала разговаривать и даже подражала голосу Йигала: «Верни меня в сумку, пожалуйста. Что я буду делать в пурим, если не буду Мордехаем?.. Безбородым?»

Йоси возненавидел бороду. Когда утром в день праздника бабушка начала приклеивать бороду к остроконечному и гладкому подбородку Йоси, он не выдержал и расплакался.

А плакать в самый веселый праздник просто нельзя! Все начали спрашивать о причине слез и утешать его. Мальчик вначале не унимался и отказывался раскрыть свою тайну. Но спустя пять минут он признался.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Моисей, который, согласно библейским преданиям, является основателем иудейской веры.

— Я стащил эту бороду у Йигала,— сказал Йоси, рыдая.

Вся семья была ошеломлена этим признанием. Первым очнулся от замешательства Йехезкель. Ему хотелось залепить сыну пощечину, но что-то удержало его. А Йоси не переставал плакать.

— Ладно, вернешь ему бороду! — сказала бабушка, пытаясь его успокоить.

— Чепуха! — тут же возразила госпожа Гольдштейн. — Потом вся школа станет злословить: «Йоси Гольдштейн — вор... Сын Йехезкеля Гольдштейна — вор!»

— Не суетитесь вы обе! — решительно и злобно заявил Йехезкель, усевшись на стул. Следует заметить, что государственный инспектор обладал особым качеством: он лучше всего думал сидя. Ведь стул как бы придает сидящему особую уверенность, которая проникает в самые сокровенные тайники сердца и формулирует каждое умозаключение.

Но тот факт, что Йехезкель сидел на стуле, — вовсе не отражался на его лице, оно было словно закрыто простыней. И это тоже было особенностью старшего государственного чиновника. Зачем широкой публике знать, что у него на душе? Разве мало людей, которые читают его отчеты, отчеты государственного инспектора? Высшие государственные чиновники тоже волнуются, но вида они не подают! На самом деле, представьте себе на одну минуту, что станет с государством, если из-за всякого проступка или небольшой провинности человек, облеченный саном государственного инспектора, станет лезть из кожи вон? Спокойствие — черта, неизменно сопровождающая душевное равновесие. И в данную минуту драгоценные преимущества этого качества не замедлили сказаться.

Йехезкель встал с места и изрек:

— Йоси! Перестань реветь!.. Мы с тобой пойдем в ВИЦО.<sup>1</sup> Там будет и «атомный капитан».

Уж кто-кто, а папа знает, что говорит. «Капитан атомного корабля» — мечта его сына. «Человек с атомным ружьем спустится с Марса и явится на маскарад, устроенный ВИЦО», — так писалось в газетах, сообщалось на многих афишах, развешанных на улицах города. И вообще, где только этого сообщения не было!

---

<sup>1</sup> ВИЦО — Международная женская сионистская организация.

«В самом деле, зачем портить праздник мальчику? Ну взял бороду, так что же? Потом разберемся! Сегодня праздник!»

Слова Йехезкеля подействовали как бальзам. Йоси сразу пришел в себя. Он тут же прекратил рев, и на его лице проглянула улыбка. Борода снова стала его, и «Моисей» смотрел уже серьезно, словно брал на себя муки за весь этот преисполненный лжи и воровства мир.

Увидеть «атомного капитана» — счастье, доступное не всякому! А самое главное — он не встретится с Йигалом на школьном торжестве!

В зале ВИЦО было очень весело. Йехезкель остался доволен тем, что не испортил сыну праздник. «Учитель Моше», неся перед собой десять заповедей, шагал важно и все время глазами искал «атомного капитана». А «атомный капитан» под пристальными взглядами десятков детей, касавшихся его серебристого щита и испуганно глазевших на его желто-зеленую маску и на широкий ствол «атомного ружья», прыгал из угла в угол по всему большому залу. Он танцевал и попеременно ловил какого-нибудь мальчика. Пойманный тут же начинал плакать под смех остальных, которые были очень довольны, что не они попали ему в руки. А когда «капитан» поднялся на сцену, все дети замолкли, в зале воцарилась тишина. Наступила торжественная минута бала: объявление решения жюри и распределение премий. «Капитан» сперва попрыгал на сцене, а потом вместе с несколькими женщинами начал кружить по залу. Прошло минут десять. Напряжение в зале росло. Жюри молча и пристально глядело на маски, окидывая взором каждого ребенка. И вдруг заиграл оркестр, потом жюри, посоветовавшись, вынесло решение. И снова грянула музыка. «Капитан» явился с решением! Его большие и тяжелые сапоги направились в сторону Йоси.

— О, боже, боже мой, выбор пал на Йоси... На нашего Йоси! — тихо прошептала бабушка.

Действительно, выбор пал на Йоси.

«Учитель Моше» вначале растерялся, но затем все же овладел собой. Учтывая торжественность обстановки, он принял важный вид. Он высоко поднял священные скрижали, первые строки которых ученики первого и второго классов знали наизусть: «Не убий!.. Не укради!»

— Первую премию получает «Учитель наш Моше»! — торжественно, на весь зал возвестил «атомный капитан». Загремел гул аплодисментов. Дети хором одобрительно зашумели. Оркестр заиграл марш. Йехезкель искал стул, чтобы сесть. Но где же в этой суматохе найдешь стул? И он остался стоять. Он стоял до конца бала. Улыбка застыла на его лице. Он не переставал смотреть на бороду, не мог оторвать от нее глаз.



## Поединок

Они были соседями. Окна их домов блестели друг против друга. Сквозь окна одного дома можно было видеть до мельчайших подробностей все, что происходит внутри другого, и даже все, что там варится. И не только видеть, а нюхом чувствовать запахи готовящихся блюд и приправ, от запаха сбежавшего молока и до костей, варившихся в супе.

Проклятие! В последнее время у него в супе почти совсем пропало мясо, да и костей с каждым днем становилось все меньше.

Он сидел на подоконнике, углубившись в размышления и глядя на окна противоположного дома. Всякий раз, когда его взгляд падал на определенное окно, он отворачивал голову. Золотистые глаза Амалека выражали печаль и обиду, нижняя губа образовывала горестную складку, правое ухо перегибалось, как сломанное, а хвост уподоблялся извивающейся петле.

Он видел госпожу, сидящую напротив за обычным занятием — бесконечным прихорашиванием. В сущности, как хорошо, что такие занятия для собаки совершенно излишни! Часами могла сидеть эта госпожа, хозяйка Томми, против зеркала, сама себе улыбаясь и напевая с закрытым ртом мелодии фокстрота. Затем она брала Томми на руки, ласкала его и пускалась с ним танцевать. Какой уважающий себя пес, скажите на милость, разрешит, чтобы с ним так нежничали?



Внизу расположен небольшой квадратный садик, в нем кое-где зеленеет трава. Если муниципальный инспектор ленился делать обход, здесь можно было найти и хорошие кости.

Амалек не бывал голодным, нет. Только найденная бесхозная кость была ему в сто крат милее, чем та, которую ему давали на кухне. Прелесть найденной кости была не столько в ее мозговых качествах, как в улавливаемом обонянием запахе неизвестной собаки, которая еще до него, до Амалека, уже прикасалась и принюхивалась к ней. Иногда именно этот запах побуждал его к розыску той, другой собаки. Ведь это означало, что с такой костью связано приключение, а Амалек, по правде говоря, любил приключения...

В противоположном окне на подоконнике появился Томми. Амалек ненавидел в нем все — от волос на голове до когтей на лапах. Томми отвечал Амалеку тем же. Ежедневно они стояли друг против друга, как два недруга, собирающиеся с силами для решительной схватки, оценивая друг друга испытующими взглядами.

— Итак? — не раз вытягивал Томми голову в сторону и вверх с наглой дерзостью.

— Всею свое время, — отвечал глазами Амалек.

Почему его зовут Амалек?! Разве он враг израильтян? Ведь генеалогическая линия его безупречна. Рыжая кудрявая Зриза, его бабушка, получила известность как надежный сторож виноградников. Она умело отличала различные завывания шакалов. Эта Зриза, с резвыми ногами и гибким корпусом, периодически щенилась, принося детенышей разных мастей: коричневых, черных, пятнистых. Все они распространялись по всему селению. Зереш — мать Амалека, ходила с охранником Меиром, у которого на плече висело ружье, а ноги были обуты в сапоги. Нет такого места во всей Издрезельской долине, где не остались бы ее следы. А он, Амалек, — представитель третьего поколения, как бы аристократ. Его собачья судьба предоставила ему нюхать мостовые Тель-Авива. И зачем ему дано было имя Амалек? Где она, правда?

Со своими хозяевами у Амалека сложились дружеские отношения. Даже к дедушке и бабушке, недавно приехавшим сюда, он проявил исключительную вежливость, хотя от них отдает чуждым для Амалека запахом. После их приезда он обнюхал все привезенное ими имущество, все узлы

и даже обувь старика. Правда, дед на него прикрикнул: «Вон отсюда!» Он отступил в сторону с глухим ворчанием и, обнажив верхний ряд зубов, намеревался лаем выразить протест, чтобы отстоять свою собачью честь. Но, подняв голову и увидев длинную седую бороду и голубые глаза старика, полные печали. Амалек вернулся в свой угол. «Что поделаешь?! Пусть будет так! Ведь старик — все же дед Давида, а Давида сейчас нет...»

Правда, вместо Давида есть Авигдор, но это совсем не то. То, что знает Давид, пока неизвестно его сыну, у которого еще и зубов-то нет. У людей, оказывается, зубы тоже играют большую роль. У маленького Авигдора только сейчас начали резаться зубы. Он любит тянуть Амалека за хвост и даже кусаться как собака. Но лицо Авигдора еще запрещено лизать. Однако дружба — это большое дело. И дружба между фамилиями Амалека и Давида имеет глубокие корни.

Но давайте, пожалуйста, вернемся к Томми.

Когда Томми появился на подоконнике, можно было разглядеть, насколько он безобразен. Видели ли вы когда-нибудь в вашей жизни такую собаку? Не иначе как злой умысел, проникший в сердца его хозяев, заставил их растянуть на прокрустовом ложе его карликовый корпус. Он остался растянутым на всю жизнь, напоминая натянутую струну, которая, кажется, вот-вот сожмется, вернувшись к своему исходному положению. А масть? Разве это масть уважающей себя собаки? Мрачно-серая колючая шерсть торчит клочьями во все стороны. Авигдору часто поют колыбельную песню: «Есть у нас козлик, а у козлика есть борода!» Козлу действительно борода подходит, на то он и козел. Но какое отношение имеет к бороде собака, не достигшая даже пятилетнего возраста? А эта ироническая усмешка, обнажающая два ряда его острых зубов, когда он смотрит на Амалека?! Кичится своей бесподобной родovitостью! Он полагает, что если его кокетливая госпожа душит его ароматными настоями, откармливает шоколадом и украшает его шею розовой лентой, то это дает ему право гордиться и щеголять! Надутый франт! И откуда такая спесь? Допустим, что он прибыл сюда из Берлина, так что из этого? Предположим, что он действительно удостоился где-то награды на выставке собак. Но здесь-то что он сделал? Какие у него заслуги? Что дает ему право возвышаться над Амалеком?

Уши Амалека выпрямляются и наостряются, как перед дракой, стоит ему только услышать голос Томми. Томми всегда лает. Ему совершенно безразлично, на кого лаять, что на сапожника, что на разносчика товаров, что на молочника или домовладельца. Он даже на грудного ребенка лает. И лай-то у него необычный, он похож на вопль, резкий крик или протяжный рык хищника. Можно подумать, что кто-то покушается на его жизнь! Вначале все жильцы дома пугались этого лая, но с течением времени привыкли и перестали обращать внимание на взрывы чувств Томми. Только ухо Амалека продолжало оставаться бдительным и настороженным. Хрипло-кричащий голос Томми напоминал ему, Амалеку, голос невидимого человека, доносившийся из большого ящика, что стоит в столовой. Когда этот невидимка говорил, Амалек подкрадывался к ящику сзади, намереваясь подкараулить его. Однако ожидание было напрасным, и раздраженный Амалек сам начинал лаять на этот странный ящик. В такие моменты его лай был похож на лай Томми.

А еще такой случай с дедушкой. Ну скажите, пожалуйста, какое отношение имеет Томми к дедушке? Что он имеет против него и его молитвенного облачения? Как он осмелился в субботу утром ворваться с диким лаем и наброситься на молящегося старика? Он вцепился ему в одежду и, оторвав кусок материи, убежал с лоскутом в зубах. Вот уж чудо, что в этот момент Амалек сдержался и не вцепился в надушенную одеколоном шею Томми.

Но Амалек знал, что, победив в себе это желание сейчас, он готовит себя для будущей мести, час которой все равно наступит.

Амалек и Томми ежедневно измеряли друг друга взглядами. Но Амалек только ждал момента, чтобы вонзить в этого щеголя и гордеца свои зубы, потаскать его с места на место и пошвырять его, как мяч. И сделать это надо непременно до того, как Томми уедет отсюда.

Пес Куши, приходящий всегда под окно побалагурить, рассказал, что он сам слышал от домработницы хозяев Томми: они собираются возвратиться туда, откуда приехали. Вот что слово в слово сказала домработница: «Они сидят на чемоданах и ждут минуты, когда можно будет уехать отсюда обратно».

Амалек должен рассчитаться с Томми до его отъезда. Да, именно должен!

И этот день наступил.

День был серый, ненастный, моросил мелкий дождь. Садик превратился в сплошные лужи. Амалек опустил нос книзу. Он сидел на подоконнике и следил за струйками дождя, непрерывно стекавшими по оконным стеклам. Он тосковал. Тосковал по Давиду, своему хозяину, исчезнувшему вдруг вот в такой же ненастный день, как сегодняшний, и пока не появившемся. Давид больше здесь не живет, не выходит с ним на прогулки вдоль берега моря. Да, он оставил Амалека горевать одного. А кто был сильнее Давида? Кто знал лучше секрет игры, как не он? Его особенный свист мгновенно приковывал внимание Амалека и делал его уши похожими на победоносно поднятые знамена. Давид, бывало, бросит камень, и Амалек стрелой летит за ним. Да, да, стрелой. А когда он приносил камень хозяину, тот снова бросал его, далеко-далеко.

Стоило лишь Амалеку заметить в глазах Давида озорной огонек, как он уже суетился, прыгал, метался туда и сюда. Язык его свисал на сторону, а глаза радостно сверкали. Амалек знал, что он доставляет удовольствие Давиду, хотя последний был, по-видимому, уверен, что подобной игрой доставляет удовольствие ему, Амалеку.

Правда, иной раз Давид заходит домой. Он одет в костюм цвета хаки, от которого пахнет влажной шерстью. Он теперь настоящий солдат, как Яков из соседнего дома или как бывший молочник. Но сейчас, приходя домой, Давид ограничивается лишь тем, что легко и ласково гладит Амалека разок-другой, и все...

Лучи солнца лизали лужи. На ветках деревьев повисли дождевые капли, сверкающие, как жемчуг. На балкон вышли два мальчика: один из них Шимон, а другой — черноглазый, тощий, не умеющий даже произносить на иврите слово «собака». Этот мальчик был из тех, которые недавно прибыли, он еще новичок.

— Смотри, — сказал Шимон, — вот того, что на окне, зовут Амалеком, он — настоящая собака. Ты меня понял?

— Собака, — повторил черноглазый и улыбнулся.

В этот момент случилось что-то непонятное. Томми, не ограничившись своим обычным сумасшедшим лаем, вскочил на подоконник и начал подпрыгивать на месте. Каждый волос на его загривке и на всем теле встал дыбом. Вдруг он устремился вперед, к балкону, к мальчику. Он на-

чал кружить вокруг мальчика с диким лаем и уже готовился вонзить зубы в ногу малыша.

Амалек появился на поле битвы в ту самую минуту, когда зубы Томми уже коснулись ноги мальчика. Этого было достаточно. Томми остановился и, отпустив ногу жертвы, посмотрел на своего врага.

— Итак?

— Давай!

Они стояли друг против друга. Передние лапы упирались в пол. Затем противники резко рванулись вправо, влево и молниеносно скатились вниз, в садик.

Этот решительный бой начался в луже. Зубы Томми были остры, как лезвие ножа. Ноги Амалека начали дрожать от пронзительной боли. Из груди его вырвался глухой рев, и он ринулся к вражескому горлу. Только броня всклокоченных волос мешала... Что-то горячее и ослепляющее билось в висках Амалека, и страстно бурлящая кровь требовала насладиться мстостью.

Он напал на Томми, собрав все силы. Он рвал надушенные мрачно-серые волосы в клочья и тут же выплевывал их. Ухо Амалека было все в крови, но он не обращал внимания на боль.

На драку немедленно сбежались другие собаки квартала. У лужи, забрызганные грязной водой, брызжущей из-под ног дерущихся, уселись пес Куши, рыжая сука Фифи и еще две-три неизвестные собаки, которые в этот момент проходили по улице. Они с увлечением наблюдали за борьбой двух соперников, будто судьи на соревновании.

Силы борющихся с каждой минутой убывали. Амалек поскользнулся и упал в лужу. Томми воспользовался этим, он брал верх. С победоносным рычанием он схватил раненое ухо Амалека и укусил его изо всех сил. От сильной боли у Амалека вырвался протяжный вой. Ни одна из собак, наблюдавших за происходящим, не пришла ему на помощь.

С большим усилием Амалеку удалось вскочить. Он набросился на Томми и вонзил зубы в его надушенную шкуру. Его гибкое тело повисло на Томми. Наконец ему удалось то, к чему он все время стремился: наконец-то он вонзил зубы в ненавистное горло Томми. Страшный вопль разорвал воздух, и Томми покинул поле боя, зажав хвост между ногами.

Тут открылась дверь балкона и показалась его испуганная хозяйка. Раскрыв объятия, она приняла в них своего громко воющего пса.

— Du mein liebchen! Mein armes Kerlchen<sup>1</sup>.

Амалек победил.

Он стоял, дрожа всем телом от бушевавшей в нем крови и от сильной боли. Сейчас он мог себе позволить спрятаться около вещевого склада прачечной и зализывать там в одиночестве свои раны.

Присутствовавшие собаки глядели на него с большим уважением, а он, хромя, медленно и гордо удалялся с поля боя, не обращая на них никакого внимания, даже ни разу не посмотрев в их сторону.

---

<sup>1</sup> Ты любимый мой, бедняжка! (нем.)



## Лора

На лице Лоры Поляр видны еще следы былой красоты. Даже сорок восемь лет жизненного пути, извилистого, мучительно тяжкого, исполненного безмерных страданий, не могли их окончательно стереть. Наподобие древних дорожных знаков проглядывают то здесь, то там чудом уцелевшие приметы увядшего женского обаяния. Они и в тихой, скромной миловидности, и в мягкости движений, и во взгляде утомленных глаз, таких добрых и ласковых, что невольно думаешь, как же они чарующе сияли в дни молодости. Редкая, сдержанная улыбка на ее лице сейчас появляется скорее всего из вежливости, и есть в ней благодостный покой и затаенная боль... А ее слегка согбенный стан (и голова всегда чуть-чуть опущена) как бы подчеркивает тяжесть судьбы, пригибающей к земле.

Когда Лора была еще девочкой и выходила, бывало, с родителями на улицу, к ним не раз подходили арабы и арабки из почтенных семейств и дружески говорили:

— Да хранит ее Аллах... Разве можно такую красотку водить по улицам с непокрытым лицом?... У нас таким с семилетнего возраста закрывают лицо... Этак легко накликают и беду... Нехорошо... Да ослепнет глаз недоброжелателя и завистника и да хранит ее Аллах!

Но вот девочка превратилась в девушку и расцвела так, что невольно пленяла всех.

Когда Лоре минуло шестнадцать, отец выдал ее замуж за вполне добропорядочного, простого, но уж очень неда-

лекого человека. Это был сын его друга, персидского еврея, ювелира по профессии. Парень немного косил, был невзрачен на вид и не отличался быстротой ума. Владел он столярным ремеслом, но делал лишь самую простую работу.

И сразу после замужества началась у Лоры жизнь мучительная, горестная, и конца ее не было видно. Семь долгих лет длилась невидимая миру борьба с нелюбимым мужем. Вести ее приходилось так, чтобы, упаси боже, не ославить ни себя, ни семью и, главное, не согрешить, не попасться в тенета любви, которые расставляли у ног ее многие очень славные парни. Она была убеждена, что ее красота и все ее достоинства принадлежат не только ей, что они — собственность всей уважаемой в городе семьи Полар. Так преданный министр финансов оберегает вверенную ему казну, не разрешая себе даже самой малости, ибо превыше всего ставит свою честь и оказываемое ему доверие...

Шли годы. Короткие душевные порывы сменялись длительной растерянностью, немногие дни примирения — месяцами раздоров. Так повторялось неоднократно, пока Лора однажды не почувствовала, что страстно влюблена в молодого и обаятельного Рифула Хадара, тоже столяра, но первоклассного мастера. Он тоже был по воле родителей женат на нелюбимой и имел уже двух детей.

И когда стало известно об этой чистой и безнадежной любви, Лора узнала, как злы и завистливы люди. У нее было такое ощущение, что ее и любимого человека внезапно схватили чьи-то грязные руки и окунули в мутный и грязный поток. Поползли злобные, грязные слухи; распоясались лицемерные святоши и клеветники; дали волю своим языкам все шуты гороховые; в нее полетели комья грязи... И невольно вспомнились ей две старые поговорки: «лучше попасть в кипяток, чем в чужой роток», и «змею обойдешь, а от клеветы не уйдешь». На себе испытала Лора верность этих изречений.

Лора вернулась в отцовский дом. Не могла она больше жить с мужем под одной крышей, хотя поступок этот лег тяжким позором на репутацию всей семьи.

Любящее сердце Лоры не находило покоя. Не помогали настойчивые предостережения ее педантичного отца, которого все так уважали и к слову которого так прислушивались. Даже ему не удалось отвратить ее сердца от губительной страсти.



Временами Лоре казалось, будто она владеет волшебным талисманом, и перед ним вот-вот должны отступить все преграды. Исчезли из ее сердца страх и малодушие. Кромешная тьма расступилась, брезжил мягкий утренний свет. Все препятствия и препоны должны исчезнуть. Под яркими лучами солнца лед растает... То, что раньше страшило, оборачивалось ликованием борьбы и победы. Такова сила этого талисмана!

Несмотря на усиленную охрану, на непрерывные и бдительные наблюдения и даже засады со стороны ее родителей и родственников, влюбленным удавалось иногда встречаться на тихих далеких улицах, где было мало прохожих. Встречи эти были очень короткими, они длились считанные минуты. Иногда глубокой ночью им удавалось обменяться несколькими фразами через зарешеченное высокое окно ее комнаты, выходящее на улицу. В эти минуты влюбленные походили на ночных призраков. Так познавали они, трепещущие от страха изгой, какое это несчастье — любить...

По вечерам Лора обычно занималась шитьем и засиживалась за работой допоздна.

Дом постепенно погружается в тишину. Наступает полночь... Лора оставляет работу и подымается со стула, что стоит возле окна, выходящего на улицу. Она прикручивает лампу, чтобы лучше видеть в темноте, тихонько открывает окно, высовывает голову и начинает прислушиваться... И вот она слышит тихую песню, в которой звучит мольба. Мелодия плавно течет из глубины переулка, вздымается к окну и хватает за сердце, сжимает его тисками... Это он!..

На улице темно. Тихо. Свет тусклого уличного фонаря сюда не доходит. Листья не шелестят. Тишина и напряженное внимание. Это — разведка, и длится она недолго... Кажется, опасности нет. И вот слышится шепот:

— Доброй ночи, любимая.

— Доброй ночи, милый... Я ничего не вижу.

— Сделай поярче свет и присядь к окну — я погляжу на тебя, дорогая... Хоть немножко...

— Зажги раньше ты... Сейчас тихо... Зажги!

И он зажигает тонкую восковую свечу.

— Пусть яркий свет всегда освещает твой путь, любимый... Да хранит тебя бог... Послушай... Завтра не приходи. У нас допоздна будут гости... Я не смогу... Будет много народу... Умоляю тебя, будь осторожен!

— Хорошо, родная. Я гашу свечу. Сейчас посвети ты...

— Хорошо. Говори шепотом, милый, шепотом...

Лора берет в руки лампу, и яркий свет заливает окно.

И вдруг слышатся удары и приглушенный стон... Это несчастный влюбленный в бессильном отчаянии бьется головой о стенку...

— Боже мой... Перестань, Рифул!.. Ради меня...

Из его глаз неудержимым потоком текут слезы, и, как безумный, он прижимается лицом к каменной стене.

— Перестань сейчас же... Пусть лучше я погибну... Хватит! Если ты не перестанешь, я взойду на крышу и брошусь вниз, к твоим ногам... Клянусь! Перестань!

— Спусти, пожалуйста, нитку...

Она спускает по желобу, проходящему у окна, нитку, и он прикрепляет к ней письмо.

— Когда же мне можно снова прийти? И до каких пор?.. Боже милостивый!..

— На будущей неделе, любимый... Терпение... Только четыре ночи... Терпение и мужество!

— Ты ни на минуту не покидаешь моего сердца, ни на минуту!..

Он молчит, потом медленно прощается, напевая печальную арабскую народную песню:

Эта ночь, как беда, эта мгла, как расплата.

Где любовь? Я хочу у\*костра ее греться...

Затерялся мой след, нет ни друга, ни брата.

С кем мне плакать? На чье мне плечо опереться? <sup>1</sup>

Когда слабый голос растаял в ночной мгле, Лора отвернулась от окна. Глаза ее припухли от слез.

А по прошествии некоторого времени, когда злословие и клевета так разбушевались, что не было от них спасения, и когда назидательные речи раввинов стали уж очень грозными, случилось невероятное. В дом вошел растерянный и бледный, как воск, отец Лоры и упал на колени перед дочерью. Он пытался целовать ее ноги, он умолял ее сжалиться над его сединами, ради всевышнего и ради доброго имени всей семьи... Он уж и так разбит и раздавлен... Он не в силах больше переносить этот позор... Так почти бессвязно бормотал ее отец, всегда такой уверенный, такой гордый. Внушавший всем почтение и страх, он валялся в ногах собственной дочери, на глазах у всех домочадцев...

<sup>1</sup> Перевод Л. Друскина.

Лора дрожала всем телом, а присутствовавшие при этой сцене молча спрашивали: что еще случилось?

И он рассказал:

— Меня вызвали сегодня в суд<sup>1</sup>... Туда пришли какие-то люди и сказали, что ночью он приходит сюда на улицу... И зажигает свечку... А она наверху зажигает лампу... И они разговаривают... Он внизу, она наверху... И она спускает нитку, и он передает ей письма... Так рассказали люди... И суд постановил и обязал меня именем святого писания, чтобы Лора не сидела у окна... Ни днем, ни ночью... И вообще... Он, отец, понимает, что все это гнусная ложь... Лора не может пасть так низко... Но пребывание у окна дает пищу для таких слухов... Люди видят блоху, а говорят — верблюды. Как можно вынести такой позор и такие оскорбления! Хоть в петлю полезай...

Лора исходила слезами. У нее не было сил нести двойную ношу. Любить и ограждать свою любовь от отца и всех домашних нагромождениями лжи и обмана... Злые летучие мыши следили за каждым ее движением даже глубокой ночью. На что еще она могла надеяться?

Губы Лоры обещали отцу не сидеть больше возле окна, но сердце ее не могло устоять перед искушением, несмотря на то, что запрет опирался на святое писание. И в ночной тиши она часто прижималась к окну, пытаясь в густой тьме увидеть любимого. Так пловец ныряет в морскую пучину в поисках утерянных сокровищ...

...Когда по прошествии нескольких лет в городе участились болезни и начались другие «божьи наказания» — смерть грудных младенцев, засуха, — равнины были убеждены, что все это происходит «из-за тяжких грехов наших»: нарушения субботнего покоя (главным образом со стороны молодежи), противозаконного пользования бритвой<sup>2</sup> и прежде всего из-за дел супружеских — грехов самых тяжких. Сложные и путаные дела, связанные с распущенностью и падением нравов, нависли, как дамоклов меч. Подумать только: в городе целых три супружеских пары, между которыми шли непрерывные раздоры, вследствие чего мужья уже несколько лет жили без жен, а жены —

<sup>1</sup> Речь идет о духовном суде еврейской общины.

<sup>2</sup> Религия запрещает евреям брить бороду.

без мужей. Мужья, ослепленные ненавистью и местью, не давали развода супругам, а из-за этого страдала вся община. Вот почему участились болезни и столько напастей обрушилось на всех.

Одной из этих пар были Лора и ее муж.

И тогда раввины решили (по совету своего старейшины, председателя духовного суда, который был братом дедушки Лоры) раз и навсегда покончить с таким безобразием и вырвать зло с корнем. Раввины тщательно проверили все три случая и пришли к выводу: дальнейшее сожительство во всех трех случаях невозможно, необходим развод. Они долго и терпеливо объясняли это супругам. Двое в конце концов дали свое согласие.

Но муж Лоры упрямылся (по злым наветам преследователей Рифула и Лоры) и с негодованием кричал:

— Ни за что на свете! Ни в коем случае! Прогнать ее, чтобы она досталась смазливому ухажеру, своему возлюбленному? Не бывать этому! Пусть старится, пока не помрет, а ему она не достанется!

Разгневанному мужу долго и терпеливо объясняли, что причин для подобных опасений нет, ибо столь почтенная семья не уронит своей чести и не выдаст Лору за «такого человека». Никогда ее отец на это не согласится...

Но советники мужа и на это находили надлежащий ответ:

— Мир уж так устроен, что то, что считается невозможным сейчас, через год, через два или через три года, становится вполне возможным спустя пять-шесть лет... И разве согласуется со святым писанием такое поощрение нечестивцев и их мерзких страстишек? Это же будет ужасным попранием всех принципов благочестия!

Несговорчивому мужу угрожали, говорили, что и он будет «стариться, пока не помрет», и ему никто не разрешит жениться вторично при живой жене.

Но у его друзей и на это был приготовлен ответ:

— А в чем, собственно, виноват муж? Пусть она возвращается к нему и живет с ним... А если она пренебрегает законным супругом и своими обязанностями, значит, он вправе жениться вторично... Это бесспорно!

Тогда судьбы нашли один-единственный выход. В стандартный текст разводного письма была вставлена еще одна фраза: «Лора вправе выйти замуж за любого, кроме Рифула, сына Йехошун Хадара».

Лора шла за синагогальным служкой получать разводное письмо (отца при этом не было, он не мог перенести такого позора, хотя суд заседал, щадя честь семьи, в доме одного из судей; мать же ее была тяжело больна). Она шагала по переулкам со служкой, обессиленная, лишенная воли. Глаза ее ничего не видели. В полном душевном смятении она покорно брела за служкой, как идет побежденный правитель подписывать акт о капитуляции... Она самоотверженно боролась целых двенадцать лет, отдавала борьбе свои лучшие годы — и вот стоит теперь беспомощная перед мрачной каменной стеной. Падет ли когда-нибудь эта глухая стена? Наступит ли такой день? Как потускнела теперь ее надежда на счастье!..

Когда Лора получила это единственное в своем роде разводное письмо, глаза ее, полные слез, никого и ничего не замечали. Она как бы предчувствовала, что эта бумажка рвет не только узы ненавистного брака, но и обрывает ее жизнь. Птицу выпускали из клетки, обломав в то же время ей крылья...

Лора и Рифул еще долго металась в тенетах любви, все чего-то ждали. Они не изменили своего образа жизни, хотя знали, что надежды нет, что они подобны путникам, бредущим по раскаленной пустыне, давно сбившимся с пути, но упорно куда-то идущим, пока их еще слушаются ноги.

Друзья мужа Лоры продолжали бдительно следить и за ней и за Рифулом и не упускали случая поносить их. И для того чтобы еще сильнее раздражить «влюбленных, закованных в цепи» (так их все называли), они поспешили женить разведенного мужа на скромной, красивой, но бедной девушке.

У молодоженов родился сын, затем второй, третий... А «связанные влюбленные» (так их тоже называли) все чего-то ждали и ждали.

Из дней слагались месяцы, из месяцев — годы, а перемен в их жизни не было... Да и быть не могло...

Был, правда, один выход: уехать в Европу или Америку и там пожениться. Но Лора не могла опозорить семью и так тяжко согрешить перед богом — ведь на ее брак с Рифулом был наложен священный запрет...

И настали последние дни сражения, подобные последним дням защитников осажденной крепости, у которых кончились припасы и которые уже начинают познавать

муки голода... Осажденные еще стоят, не дрогнув перед врагом, но внутри крепости подозрение и слабость разъедают их ряды... С каждым днем тают надежды на спасение. Безысходность. Со страхом и болью они как в тумане, видят перед собой три пути, одинаково гибельных: смерть, плен или измену.

Рифул «изменил». У него не хватило терпения и выдержки... Да и был ли смысл в бесцельном героизме?.. Он покинул поле боя, женившись вторично на полюбившейся ему девушке.

Но Лора была не из тех, кто выбирает смерть. Как могла она, лишенная счастья на земле, лишиться его и в загробной жизни? Она сдалась в плен... В плен жизни. Той постылой жизни, что была ей так противна... Нет, она не склонила головы перед окружающими. Она их презирала... Но терпела.

Так она и жила, а точнее — существовала. И было ей в ту пору тридцать лет.

Жизнь ее была тяжелой. Она не могла показаться на улице — люди бросали на нее оскорбительные взгляды, их глаза выражали откровенную радость по поводу ее несчастья, и она возвращалась домой как оплеванная. Издевательские насмешки ее бывшего мужа (он-то сейчас вполне счастлив) и ядовитые шутки его дружков провожали ее до самого порога...

Насмешки преследовали Лору и днем и ночью. И днем и ночью болело ее сердце. А последний удар, нанесенный Рифулом, совсем пригнул ее к земле.

И в отцовский дом приходила одна беда за другой, жизнь становилась невыносимой. И теперь Лора особенно остро почувствовала, что она виновница всех несчастий, обрушившихся на семью. Мать, такая добрая и преданная, в результате всех испытаний, выпавших на ее долю, потеряла зрение. Бессонные ночи, оскорбления и слезы отчаяния надолго приковали ее к постели. Какой-то злой рок преследовал семью. Младшие сестры остались старыми девами, все сваты обходили стороной этот дом, ставший притчей во языцех... Дела отца резко ухудшились, и семья узнала, что такое нужда и нехватка самого необходимого.

Лора решила спастись бегством. Отец отлично понимал, как тяжела ее участь, и дал свое согласие на отъезд. «Перемена места — перемена судьбы»... И она уехала к дальним родственникам, за тридевять земель. Но и здесь не

оставил её злой рок. Тяжким трудом зарабатывала она на скудное пропитание, пока спустя два года не пришла к ней печальная весть о кончине матери...

Лора вернулась в родной город, который покинула в свое время, как покидают горящий дом... Если против тебя ополчились небеса — от своей судьбы никуда не уйдешь.

Душа ее находилась в каком-то странном оцепенении. Теперь она твердо знала: это бог ее наказывает. Конечно, все это не случайно. Она бездумно ухватилась за древо жизни и сейчас расплачивается за свое легкомыслие... Пожинает то, что сама посеяла... Она полюбила женатого, который не мог стать ее мужем... Опыянение молодости, радость жизни, жажда счастья... Все это от извращенности ее натуры, и она постарается обуздать себя. Непокорностью, высокомерием она испортила себе жизнь. Но можно еще поправить беду, и это зависит только от нее самой... Смирение и покорность — вот ее нынешний удел.

Когда она часами просиживала в сумрачном доме отца за швейной машиной, погруженная в свои невеселые мысли, в душе ее созревали важные решения. Ей казалось, что сейчас она лучше видит и прошлое и будущее. В однообразном и утомительном труде, когда ничто не отвлекает и не мешает думать, ей постепенно открывалась истина... И как это она дошла до такого богохульства, что дерзнула уйти от своего жребия, начертанного небесами? Почему она вовремя не почувствовала, что таково веление судьбы?

Да, но почему небесам угодно было лишить ее всех радостей жизни? Почему судьба уподобила ее засохшему дереву, безжизненной ветке, оторванной от ствола? Почему ей не суждено быть матерью, как всем другим женщинам на земле? Почему ей не суждено вскормить грудью своего ребенка? Ведь даже звери лесные не лишены этого счастья... Почему?

Но кто ты, человек, что осмеливаешься задавать вседержителю такие вопросы? Почему тебе хочется все знать? Ведь говорится же в народе — и мать ее это часто повторяла, — «кого бог любит, того и наказывает»...

А почему? В чем тут смысл? Как это объяснить?

Это великий секрет... Такова воля всевышнего, и простому смертному не дано этого знать. То тайна небес...

Скрыты пути господни от взоров людей... Ужели человек, вышедший из чрева женщины, дерзнет проникнуть в божий замысел! Жалок и ничтожен тот, кто помышляет об этом...

Теперь Лора твердо знала, что осуждена жить, не познав настоящей жизни. Таков ее жребий. Это сейчас очевидно, и как смешна была ее борьба, как тщетны были ее попытки уйти от судьбы! Она не поняла этого тогда, когда ей было вручено разводное письмо. Теперь-то она знает, как сильна и всемогуща рука, начертавшая ее судьбу, уготованную свыше...

И вот Лора решила всецело посвятить себя благу других, видя в этом единственный путь к искуплению своих грехов. Она всячески заботилась о сестрах, и благодаря ее стараниям удалось выдать одну из них за тихого, скромного человека. Она трогательно заботилась об овдовевшем отце, старалась скрасить его безрадостную старость. Покорно сносила она его мелочные придирки и стариновское брюзжание. Преданно обслуживая всех домочадцев, она старалась в меру сил облегчить их жизнь. Это ее участь, и с этого пути она не свернет.

Когда по прошествии нескольких лет заявили сваты, которые решили пристроить и ее (все сестры были уже замужем), и предложили выгодные партии, Лора наотрез всем отказала. Она была уже далека от суеты жизни, смех и веселье были для нее тягостны. Когда ее очень упрашивали, она присутствовала на семейных торжествах, чтобы никого не обидеть, но старалась поскорее уйти домой и с трудом сдерживала слезы. Беспечные голоса поющих, сладкозвучная флейта и веселый барабан только бередили старые раны, вызывая чувство стыда, заставляли болезненней биться ее бедное сердце. Так камень, брошенный в спокойную воду, вызывает волнение на ее поверхности.

А годы шли... Лора примирилась со своей участью. От раз и навсегда избранного пути она не отклонялась ни вправо, ни влево, хотя путь этот был извилист и труден. Болезни, страдания, жестокая нужда — все оставляло свои следы на ее лице. Вот и преждевременные морщины появились на нем, и уже ничем нельзя было остановить наступающее увядание.

Но и в облачный день чувствуешь солнце, скрытое за тучами. А для старческих глаз, много повидавших в своей



жизни, приглушенный свет солнца, пропущенный сквозь фильтр облаков, желаннее палящих, обжигающих лучей. Старость ведь больше всего ценит спокойные тона...

И когда уже померкло яркое сияние ее женской красоты, Лора обратила на себя благосклонное внимание «его святейшества» Якова Алуфа — главного раввина города, после того как на семьдесят пятом году жизни скончалась его супруга.

Алуф был богат и знатен. Все члены общины уважительно называли его «мудрым» и «просвещенным», ибо он владел европейскими языками (явление редкое среди раввинов столь почтенного возраста) и пользовался влиянием среди сильных мира сего. Вид у него был весьма внушительный. Седина только украшала старца, а тучность делала его осанистым и придавала особую значительность его персоне. Во всех его движениях чувствовалась уверенная властность. У него были умные, выразительные глаза человека, немало повидавшего на своем веку. Но тщетно было бы искать в них святость... А толстые чувственные губы свидетельствовали о неудовлетворенных и подавляемых желаниях.

Лора уже много лет была вхожа в дом досточтимого раввина (с тех пор, как Полары жили с ним в одном квартале), но общалась обычно с «сеньорой раввиншей»<sup>1</sup>, с ее единственной дочкой и с внучками. Искусная портниха, хорошая хозяйка и приятная собеседница, она была здесь желанной гостьей. Не раз по ее советам и в соответствии с ее вкусом решались дела, касающиеся туалета дам. Ее тихий нрав, скромность, готовность услужить снижали ей любовь и уважение. Нередко Лора слышала похвалы по своему адресу из уст самой раввинши, а представительницы младшего поколения иногда даже поверяли ей свои тайны, ибо очень уж она располагала к себе и умела без всяких усилий завоевывать любовь и доверие всех, кто ее знал. И когда с нею были так ласковы и откровенны, она в душе горячо благодарила всевышнего за то, что не окончательно еще пала в глазах людей и ей снова доверяют.

Еще не кончился тридцатидневный траур по раввинше,

---

<sup>1</sup> В некоторых восточных еврейских общинах сохранилось обращение «сеньор» и «сеньора», но только по отношению к высокопоставленным лицам.

а старый отец Лоры хахам<sup>1</sup> Шмуэль Полар уже был приглашен его святейшеством в один из отдаленных ешиботов, когда в нем не было других посетителей. Рядом с досточтимым раввином находился его ближайший помощник и советник хахам Тарфон Шокел.

Хахаму Шмуэлю была оказана высокая честь: ему предложили сесть рядом с раввином. И вот что сказал досточтимый Яков Алуф отцу Лоры:

— Мы пригласили вас, хахам Шмуэль, по важному делу. Нам хотелось бы узнать, как вы отнесетесь к тому, что мы возьмем у вас вашу Лору... Поразмыслив, мы пришли к выводу, что именно такая — ни девушка и ни старушка — подойдет нам. Но прежде мы хотели бы знать ваше мнение. Нам, разумеется, не хотелось бы причинять вам огорчений — ведь Лора опекает вас, заботится о вашей старости... Что вы нам скажете, хахам Шмуэль?

Прежде чем смущенный отец открыл рот, в разговор вступил хахам Тарфон:

— Я уже говорил сеньору раввину, что, по моему мнению, хахам Шмуэль не будет возражать... Но главное — это она. Вот об этом следует подумать... Насколько мне известно, ей не раз предлагали выгодные партии, а она отказывалась... Разумеется, в данном случае не может быть никакого сравнения. Но все же... как знать...

— Вот мы вас и пригласили, чтобы вы высказали ваше мнение, а затем поговорили с ней, — благосклонно добавил раввин.

— Я со своей стороны... — пробормотал вконец смущенный Полар, чувствуя, как у него заколотилось сердце... — Я, так сказать, сам по себе. Что я значу? В таком деле... Безусловно, я был бы счастлив... Какие могут быть сомнения? Обо мне и думать нечего. Но вот она... жизнь ее разбита, душа в печали... Никогда не говорил я с ней на эти темы... И сейчас мне очень трудно будет ей сказать... А главное...

Полар осекся, не закончив фразы.

— Что главное? Что хотел сказать хахам Шмуэль? — участливо спросил раввин. — Вы не стесняйтесь. Напротив! Мы желаем, чтобы вы были совершенно откровенны.

---

<sup>1</sup> Хахам — почетное обращение, бытующее среди евреев — выходцев из восточных стран. Так обычно называют пожилых, уважаемых и образованных людей.

— Я не знаю... Что она скажет... Ведь его святейшество знает... Не может не знать, как много горя причинило ей людское злословие... Клевета, насмешки. И все это... убило в ней всякую надежду на другую жизнь... Она убеждена, что недостойна такой чести...

— Почему вы так думаете? — успокоил его раввин.— Если говорить о знатности и происхождении, то ваша семья одна из самых почтенных. Если говорить о разводе... Сколько с тех пор прошло? Двадцать... Нет, двадцать два года. Какие же могут быть сомнения? Я ведь был в ту пору вторым членом судейской коллегии (первым был брат деда Лоры хахам Иосиф), и я хорошо знаю все обстоятельства дела. Разводное письмо составлено по всем правилам. И двадцать с лишним лет примерного, можно сказать, безукоризненного поведения... Они лишь подтверждают мудрость изречения: «доброе дело венчает добрый конец». Мы ведь с вами, слава богу, соседи уже лет пять-шесть... И я имел возможность хорошо ее узнать. Поистине праведная и благочестивая женщина. Тут и сомневаться нечего...

— Мы уже об этом толковали,— пояснил хахам Тарфон, обращаясь к Полару.— И все обсудили... Со стороны его святейшества не будет препятствий. И если она согласится — значит, все в порядке...

— Я со своей стороны,— сказал Полар,— откровенно поговорю с ней... Я постараюсь узнать, что у нее на сердце...

— Хахам Шмуэль, поговорите с ней так, как найдете нужным,— дружески завершил беседу досточтимый раввин.— И если она изъявит согласие, о деталях мы договоримся быстро... Пусть она явится сюда, и я лично разъясню ей, как много хорошего ждет ее впереди... Со мною... Но все пока должно делаться втайне... Пока не настанет время, никто ничего не должен знать, даже мои домочадцы...

Когда старый Полар, закончив беседу, торопливо шагнул домой, чтобы сообщить дочери радостную весть, он совсем не думал о том, как об этом сказать, не подбирал нужных слов и выражений. Преисполненный гордости, он почти бежал, а в душе его звучали стихи утешения из священного писания, отрывки из изречений, придающих бодрость и силу...

Когда он вошел в дом, лицо его сияло, глаза радостно блестели. И он громко, помолодевшим голосом сказал:

— Встань, пробудись, Лора!.. Отряхнись от праха... Бедняжка, безутешно скорбевшая!

— Что случилось? — спросила с удивлением Лора.— Благо и жизнь дарует нам только всевышний...

— Кто, услышав такое, поверит?.. Кому открывается божья сила? Да будет прославлено и вознесено его святое имя!.. Смотрите, смотрите, то Я сотворил!.. И несправедливости не потерплю!

Так, в страшном возбуждении, изрекая приходившие на память отрывки молитв, всегда сдержанный и немногословный, Полар изложил дочери со всеми подробностями и с возможным красноречием свой разговор с досточтимым раввином.

Лора выслушала его молча, стоя возле кушетки со сложенными руками. Лицо ее побледнело, в ногах она почувствовала внезапную слабость... Всем своим существом ощущала она сейчас приятную тяжесть, которая легла на ее плечи и предвещала счастье. Так бедняк чувствует тяжесть золотых монет, впервые в жизни попавших ему в руки.

В комнате воцарилась тишина, неся покой и отдохновение... В такие минуты, когда близкие души безмолвно говорят меж собой, все слова кажутся слабыми и невыразительными.

После короткого молчания послышался слегка охрипший от волнения голос отца:

— Молитвы твоей праведной матери были услышаны... Эта святая женщина не имела ни минуты покоя... Двадцать два года длилось твое наказание... И вот срок, определенный всевышним, кончился... Это совершенно ясно. И свидетельством тому изречение: «тобой благословен будет Израиль»...<sup>1</sup> Я пойду и сообщу хахаму Тарфону, что ты согласна...

— Хорошо... Скажи, что я почти согласна... Я... обязана согласиться... Но мне нужно подумать... Я должна несколько дней подумать... Не могу я сию же минуту ответить от всего сердца...

Отец уже готов был рассердиться на дочь за ее упрямство. Разве можно было хоть на минуту усомниться в неслыханном счастье, выпавшем на ее долю? Это все

<sup>1</sup> В еврейском языке, как и в других древних языках, буквы имеют и цифровое значение. Цифровое значение слова «тобой» (по-еврейски «бах») — 22.

равно что усомниться, светит ли днем солнце... Но он сдержался. Ведь сейчас перед ним была не только его дочь, но и та, кому суждено стать раввиной... Немного подумав, он пришел к выводу, что ответ ее вполне достойный. Что ж, она хочет несколько дней подумать...

В дни ожидания, когда досточтимый Яков Алуф жаждал скорее услышать о согласии Лоры, по вечерам его можно было видеть медленно прохаживающимся по длинной галерее своего дома.

При закатных лучах солнца, заливавших красноватым светом верхушки деревьев и крыш, когда на землю опускался покой и все кругом радовало сердце и глаз, он погружался в размышления, пытаясь отчитаться перед собой. Он хотел в эти минуты разобраться в собственных мыслях. Испытывая душевное беспокойство, весь во власти тайного волнения и загнанных внутрь страстей, он медленно и степенно шагал по галерее. Улыбнется ли ему счастье хотя бы к концу жизни?.. Удастся ли хлебнуть живой воды из кубка наслаждений?.. А жажда так велика... Как стремится душа его к этому, с тех пор... собственно с тех пор, как он себя помнит... На всем своем долгом жизненном пути, устланном благополучием, Украшенном знаками высокого уважения и почета, усыянным благоухающими розами, запах которых так приятно щекочет ноздри,— на всем этом жизненном пути он не переставал испытывать чувства жажды... Он жаждал стакана простой воды, дающей силу и бодрость... Он мечтал о ломте хлеба... О стакане воды и ломте хлеба, что доступны самому бедному человеку, но недоступны были ему... Она, эта старая почтенная раввинша, никогда не в состоянии была удовлетворить его жажду... Старый высохший колодезь, в котором давно не осталось ни капли влаги... А ему всегда не хватало ее, на всем протяжении его долгой и деятельной жизни. Он, влиятельный и богатый человек, был бессилен наполнить свой кубок животельной влагой и пить из него до насыщения. Тайна жизни — кому дано ее понять? Перед кем она раскроется? И кто бы мог представить, что его почетная и славная жизнь была с таким изъяном!.. Было кольцо, была оправа, но драгоценного камня не было...

Много раз, когда она заболела, его душа томилась сладостными надеждами... Где-то вдали загорались манящие огни... Но они исчезали, как исчезают утренние об-

лака при восходе солнца, когда она выздоравливала... И вот пришла пора надежды. В конце концов наступил его час, хоть и на склоне лет, на закате жизни... Такова судьба... Но... удастся ли на сей раз? Будет ли Лора принадлежать ему? Или и на этот раз надежды рухнут? Нет! На этот раз все будет так, как хочет он... А не согласится Лора — найдется другая. И ее он полюбит всей душой... В его сердце для нее давно уготовано заветное местечко... О, как истосковалась его душа!.. При одной мысли о ней становится даже трудно дышать...

И он часами шагает по галерее, ожидая прихода своей мечты.

И когда, к его великой радости, от Лоры было получено согласие, он пригласил ее в ешибот, чтобы обо всем окончательно договориться.

В ешиботе царил таинственный полумрак. Когда Лора вошла, сердце ее сильнее забилося при виде сотен толстых книг, расставленных на длинных полках, тянувшихся вдоль стен и вздымавшихся от пола до самого потолка. Ей почудилось, что все эти книги сотнями зорких глаз следят за каждым ее движением...

Ей предложили сесть по правую руку раввина. По левую руку сидел хахам Тарфон Шокек.

— Итак, Лора, — начал раввин многозначительно и в то же время слегка игриво (глаза его так и светились), ты в конце концов согласилась стать «сеньорой раввиной»? А? Ты согласилась, думаю, всем сердцем и по доброй воле? И я хочу сказать тебе, что ты не ошиблась, приняв такое решение... А что ты скажешь, когда узнаешь мои мысли о тебе и о тех великих благах, что ждут тебя? Я понимаю, что жить мне осталось немного. Как говорится, «почти все позади и лишь немного — впереди...» Но я буду о тебе заботиться, и надеюсь, что с божьей помощью все эти годы ты будешь счастлива. А теперь договоримся о деле. Вот как мы все устроим. Бракосочетание назначим через две недели и сразу поедем в Европу, на воды, — там я бываю ежегодно... А такую поездку, дочь моя, ты не можешь себе даже представить при самой пылкой фантазии. Какое это удовольствие путешествовать в первом классе! Это поистине райское наслаждение! А как много нового ты увидишь!.. Ты познаешь такие радости, о которых ранее и не имела понятия... А когда мы вернемся, весь дом будет в нашем

распоряжении. Мои домочадцы переедут в новый дом, который я строю, а ты будешь жить здесь в безмятежном покое, вдали от забот. Все будет к твоим услугам. А затем, после меня... В брачном договоре я опишу на твое имя пятьсот золотых лир и дом, ты будешь жить независимо, как царица. Отныне, Лора, для тебя начинается новая жизнь! Ты как бы заново народилась... А теперь тебе надо подготовиться в путь, ибо не позже чем через месяц мы отправимся в Европу...

Тут в разговор вмешался хахам Тарфон:

— В каком смысле подготовиться? Видимо, ей надо кое-что купить и сшить себе... А если у нее не на что?

— Ну да, конечно... Хахам Тарфон выдаст тебе десять золотых лир, чтобы ты могла сшить себе все, что нужно. И две лиры он даст тебе на лечение зубов... Но пока надо делать все в полной тайне, дабы ни одна живая душа не проведала ни о чем раньше срока. Даже мои домочадцы до поры до времени ничего не должны знать...

Явив перед Лорой во всем блеске свою душевную щедрость и великодушие, досточтимый Яков Алуф спросил в заключение, как бы испытывая ее:

— Итак, что ты скажешь теперь? По душе тебе мои условия?

— Благодарю его святейшество за все сказанное... Сверх того, о чем вы говорили, я хотела бы добавить следующее. Не из-за богатства и почестей я даю свое согласие, хотя не скрою, что очень устала от жизненных забот. Я не хочу быть кому-либо в тягость, а главное — я считаю большой для себя честью, равной выполнению божьей заповеди, обслуживать его святейшество... Вот почему я согласна от всего сердца...

— Ты, дочь моя, не будешь никого обслуживать. Ты сама будешь госпожой в своем доме! Раввиншей!.. Итак, в добрый час, дочь моя.

— А не угодно ли вам будет составить договор о помолвке и все записать на бумаге? — обратился хахам Тарфон к своему шефу. — Тогда со всем этим делом будет покончено, и мы к нему больше не будем возвращаться.

— В этом нет никакой необходимости, — вежливо отклонил раввин совет своего помощника. — Меня вполне устраивает *parole d'honneur*<sup>1</sup>... Вот тебе, дочь моя, рука в знак

<sup>1</sup> Слово чести, честное слово (франц.).

полной договоренности. В добрый час, в счастливый час! — И он на европейский манер протянул ей руку.

Затем досточтимый раввин шутливо добавил:

— Я, понятно, не изменю своему слову. Но ты, дочь моя, если передумаешь, должна будешь уплатить штраф — тысячу золотых лир! Есть ли у тебя тысяча лир? За право стать раввинойшей полагается ведь очень крупный залог... Ты должна знать, что тебя ждет... — и многозначительно добавил: — Если говорить серьезно, я думаю, что ты не изменишь своему слову и не поставишь всех нас в неловкое положение.

— Тысячи лир у меня, понятно, нет, — ответила Лора в тон ему. — Но я полагаю, что в них не будет нужды. С тех пор, как я помню себя, я слов на ветер не бросала, и его святейшеству это должно быть хорошо известно...

Хахам Тарфон поднялся со своего места и попросил разрешения уйти. У него еще много всяких дел... А ведь здесь все ясно, все решено.

И он ушел. А досточтимый раввин еще долго и красноречиво говорил Лоре о их будущей совместной жизни. Лора его слушала очень внимательно, не перебивая. Наконец она поднялась, он тоже встал, протянул ей на прощание руку и наградил избранницу своего сердца горячим объятием и долгим поцелуем.

Лора затрепетала и побледнела. Ее ни на минуту не оставляло ощущение святости места, в котором она находится. Она торопливо вышла, полная небывалого душевного подъема и жажды жизни...

Вернувшись домой, она рассказала отцу, что все окончательно решено, и поведала ему все, что говорил ей раввин. Полар неторопливо зашагал в синагогу, опираясь на палку. Он шел туда специально, чтобы зажечь свечу во славу господню. В пути он все время вполголоса напевал стихи из псалмов.

Назавтра хахам Тарфон принес Лоре деньги, необходимые для подготовки к свадебному путешествию.

Когда Лора пошла в центр города и очутилась на шумной торговой улице, где были расположены самые большие мануфактурные магазины, ей пришлось умерить шаг, ибо ноги несли ее слишком быстро. Она летела, как на крыльях.

Все эти дни Лора жила как во сне. В ушах ее звучали ласковые слова раввина, а перед глазами мелькали вол-



шебные видения, нарисованные им в столь розовых красках... Да, велико ее счастье, и слишком много в нем было явного, чтобы можно было его скрыть... Но она заслужила это счастье, ведь за сорок восемь лет жизни так мало было у нее светлых дней, так много страданий и мук. Она выстрадала свое счастье, и сейчас небеса отдадут ей должное...

Лора шила себе платья и костюмы втайне от всех. Целую неделю ей удавалось скрывать это даже от своих, но больше таиться она не могла. Ей казалось, что есть что-то эгоистичное и нехорошее в том, что она скрывает все от родных, которые так много натерпелись из-за нее. Не уподобляется ли она тому бесчувственному человеку, который всем задолжал, а когда вдруг разбогател, скрывает это от людей и оттягивает расплату с теми, которые выручали его в тяжелые времена?..

Под строжайшим секретом она рассказала родным о предстоящей помолвке, и сразу в ее доме, где вечно царили печаль и горе, наступило радостное, праздничное настроение. Немало при этом было пролито слез, немало было сказано слов утешения всеми близкими и родными, навещавшими Лору. А самый старший член семьи, девяностолетняя бабушка, переступив порог дома, повисла у Лоры на шее и долго целовала и ласкала ее. Затем старушка подошла к окну, выходящему на восток<sup>1</sup>, и высказала то, что было у всех на сердце:

— Благословен всевышний,— произнесла она торжественно, воздев руки к небу,— отец милосердный и справедливый, воздающий благом угнетенным, очищающий их от напраслины.

Это была молитва, сочиненная ею тут же, экспромтом.

И чувствовалось в эти дни в доме Лоры легкое порхание херувимов, слышался едва осязаемый шелест ангельских крыл, возвещавший благоденствие и счастье.

Прошло две недели.

И вот в дом его святейшества сваты привели богатую вдову, специально приехавшую сюда из-за границы. Ей не понадобился второй визит, ибо всего, чего вдова хотела, она добилась при первой же встрече.

Когда Лора уже заканчивала шитье платьев, к ней явился хахам Тарфон. Он казался немного растерянным.

---

<sup>1</sup> Молясь, евреи обращаются лицом к востоку.

Присев на диван, он завел сперва разговор о мелочах, а потом, не давая отцу и дочери вставить слово, скороговоркой заговорил:

— Понимаете ли, там... У него в доме... Переполох... Дочь и внучки очень сердятся... Они против... Но посмотрим, что будет дальше. Он говорит, что необходимо терпение. Надо немного переждать, пока их удастся переубедить... Ведь они всегда ее любили... Лору... А теперь, вот видите... Они возражают. Надо ждать, пока все уляжется... И все будет в порядке.

Неожиданно он перешел на другую тему и, быстро попрощавшись, ушел.

Огромная тяжесть придавила и отца и дочь. Но они не сказали друг другу ни слова. Они просто не осмеливались об этом говорить, утешая себя тем, что, видно, это последние превратности судьбы, еще одно испытание перед наступлением долгожданного покоя. Ведь то, что решено, обязательно должно свершиться! Слово его святейшества свято... Просто им суждено пережить еще несколько дней тревог и волнений.

А тем временем уже многим стало известно о визите богатой вдовы. Нашлись «добрые люди», которые поспешили принести эту весть в дом Лоры. Но она все терпеливо ждала.

И вот вторично заявился хахам Тарфон и осторожно сообщил отцу, что он, то есть досточтимый раввин, думает, что в настоящее время Лоре лучше не приходиться к ним в дом... Пока все не уладится... А там видно будет...— Хахам Тарфон передал хахаму Шмуэлю еще две лиры в дополнение к десяти, данным ранее.— «В соответствии с его обещанием, когда речь шла об этом деле»...

Внезапно побледневший отец спросил, с трудом выговаривая слова:

— Я не понимаю... Что все это значит? Почему вы не скажете ясно, в чем дело, что случилось?..

— Ничего не случилось... Но дочь и внучки ни за что не согласны.

— Почему? Что произошло? Ведь до сих пор они проявляли к Лоре столько любви и уважения...

— Все это верно. Но сейчас они говорят: если он это сделает, то они, то есть вся родня, уйдут из дому и оставят его одного. Они говорят: зачем брать такую, которая посягает на наследство?.. Когда есть такие, которые при-

носят, умножают наследство. А такая уже есть, с деньгами и имуществом...

— Значит, он передумал? — гневно спросил отец.

— Видимо, так... Но не по своей воле... Он был вынужден... Разве может он огорчить своих родных... Свою единственную дочь, внушек...

— Так... так... — ответил отец. — А почему не сказать честно, что дело не в дочери и внуках, а в тех тысячах, которые принесла с собой вдова и на которые он позарился...

Согнутая спина отца как бы распрямилась, он поднял голову и решительно сказал:

— Хорошо, хорошо... Я выйду сейчас на улицу и буду кричать, взывать к справедливости! И это твои раввины, о народ Израиля! И мы тогда посмотрим... Суд! Я вызываю его в духовный суд! У свитка завета!

— Успокойтесь, хахам Шмуэль... Может быть, еще можно поправить дело... Не надо так отчаиваться... И вообще... Вы понимаете, что вы говорите? Кого вы хотите вызвать в суд?.. Хахам Шмуэль, видно, забыл изречение: «знай, кого приглашаешь к танцу»... Не забывайте, с кем вы имеете дело. В его руках сила, власть... Вы только накличете на себя беду... Может быть, даже придется покинуть город... Ведь, в конце концов, что случилось? Из-за чего такой шум? Человек предполагает, а бог располагает... Он думал, хотел... Ведь нам многое хочется... Какой в этом грех?.. По суду тот, кто передумал, платит штраф. Это по закону. И он уже уплатил его. Он дал двенадцать лир... Это понимать надо... И принимать с кротостью и удовлетворением.

Полар сначала собирался возразить хахаму Тарфону, но, услышав последние слова, почувствовал, как тошнотворный комок подступает к горлу. Слова гнева и презрения, пылавшие в его груди, задохнулись... Он молча вынул платок, чтобы вытереть набежавшие слезы. В эту минуту он походил на обиженного ребенка, которого ни за что ни про что жестоко наказали.

В пылу спора мужчины не заметили, как Лора вышла в соседнюю комнату. Она как подкошенная упала на диван, лишившись чувств. На помощь прибежали родные, а хахам Тарфон незаметно удалился.

Прошло совсем немного времени — и имя Лоры снова было у всех на устах... Она стала всеобщим посмеши-

щем, как в давно минувшие дни. Бойко заработали острые язычки сплетниц и сплетников. Это дошло до Лоры... И ей почудилось, что встали и ожили злые духи из темных могил, и время стало двигаться назад, к далеким, забытым дням.

Много было разных слухов и разговоров:

— Вот какая она, Лора Полар... На старости захотела стать раввиной... И чуть было не завлекла его в свои сети... Ай да Лора!..

А ее ненавистный первый муж, бывший к этому времени отцом взрослых сыновей и дочерей, тоже поднял на нее свою руку. Всем и каждому он говорил, что пошлет его святейшеству фотографию Лоры и Рифула, где они изображены в объятиях друг друга. Пусть он знает!

Женщины поопытнее твердили:

— Лора пользуется колдовскими чарами... Она чем-то опоила почтенного раввина, чтобы завоевать его сердце...

Все выше вздымалась волна злословия... Опять... Опять...

Лора невыносимо страдала. Снова, не желая того, она свергла всех близких в такое горе, опять навлекла на них позор. Она не могла больше оставаться дома. Бежать, бежать, куда глаза глядят...

Но куда можно бежать с пустыми руками?.. Она ведь нищая... Да и сил у нее уже нет. Таких ударов судьбы она, кажется, еще никогда не испытывала.

Полар, встретив как-то на улице хахама Тарфона, заговорил с ним. Без ведома дочери он смущенно попросил:

— Может быть, его святейство хоть немного исправит то, что разрушил собственными руками. Может, он сжалится над несчастной... Ведь кровь стынет в жилах от злословия, от оскорблений... Она не в силах вынести такой позор. Он, отец, опасается за ее жизнь... Может быть, его святейство даст ей возможность уехать отсюда, хотя бы на время. Следовало бы немного исправить то зло, которое он ей причинил.

На это хахам Тарфон ответил ясно и недвусмысленно:

— Я сам ему об этом говорил... А он мне вот что сказал: «Я не дойная корова и не позволю себя доить».

Отец молча посмотрел на Тарфона невидящими глазами. А тот поспешно раскланялся и удалился...

Старый хахам Шмуэль еще долго стоял на месте. Он смотрел вдаль, и ему чудились горные обвалы, землетря-

сение, виделись охваченные пламенем города... Где-то рушатся целые миры, превращаются в развалины и тлен сильные крепости, охвачены огнем небеса, обиталища богов и ангелов... Пошатнулось и заколебалось все, что казалось незыблемым и вечным.

Он вдруг свернул в сторону, и в душе у него созрело решение: он сам пойдет к нему... В дом его святейшества... Взглянет досточтимому прямо в глаза и завопит из последних сил: «О, горе нам! До чего мы дожили... Его святейшество проливает кровь... Невинную кровь честнейшей из женщин... Кровь святой... Его святейшество проливает кровь целой семьи... Его святейшество... Это же разбой, злодейство... И ничем его святейшество не искупит пролитой крови!»

Так он скажет ему в лицо.

Но как быстро бьется сердце... Как трудно дышать... Его оставляют последние силы... Подкашиваются ноги... Он сейчас упадет.

Постояв еще минуту, старик медленно поплелся домой. Он шел сгорбившись, опираясь на палку, осторожно переставляя ее, будто двигался в темноте... Молча вошел он к себе и тяжело опустился на стул...

И не достиг ушей его святейшества вопль сердца оскорбленного отца. И не рассекли голову его святейшеству отцовские проклятия за поруганную дочь... С высоко поднятой головой, в бархатной шапке, опушенной мехом, облаченный в великолепную мантию, гордо шествует досточтимый раввин по улицам города, и лицо его, как всегда, светится благочестием.



## Два кофе

Автобус петлял по горной дороге. Ветер с шумом врывается в окно. Рина чуть откинула голову. Легким дымком струились тонкие нити ее коротко остриженных волос, слегка прищуренные глаза подчеркивали несколько выдающиеся скулы, сквозь смуглость лица еле пробивался стыдливый румянец. Свитер плотно облегал небольшую грудь и стройную девичью фигуру, надежно предохраняя от нескромных взоров и холодного ветра. Казалось, ветер спешил впитать в себя аромат ее юности и радостно разнести по всему свету тайну ее обаяния.

Он украдкой глядел на нее, и какое-то едва ощутимое неосознанное беспокойство овладело им. Он вздрогнул от холода и обрадовался предлогу обратиться к ней с просьбой прикрыть окно.

С любопытством оглядела она его, как бы желая убедиться в обоснованности просьбы, и с чуть лукавым удивлением спросила:

— Неужели вам холодно?

Он жестом указал на свою легкую, с открытым воротом рубашку.

— Но ведь не трудно было догадаться, что в горах сейчас холодно и такой наряд не по сезону,— сказала она, прикрывая окно.— Или вы впервые в этих широтах?

Нет, он не новичок на севере. Даже родился в этой стране. И возвращается в один из северных городков. Там он сможет сменить платье в соответствии с сезоном.

Он предпочел ограничиться этими общими пояснениями, не уточнять, из какой деревни он родом, и вообще не вдаваться в подробности. В подобных ситуациях лучше, пожалуй, не рисковать и позабыть о многом: чего доброго, девушка могла прекратить разговор, а этого ему меньше всего хотелось.

Тема была исчерпана. Внимание ее привлекла сменяющаяся панорама Галилейских гор. Попытка продолжить беседу казалась ему морально оправданной. Но чем ее заинтересовать, чтобы не быть назойливым? Возникали и отвергались различные варианты. Из прочитанных романов он уже давно сделал вывод, что наиболее интересная тема для любой женщины — это... она сама.

— Вы тоже родились в этой стране? — обратился он к ней.

— О да! Я родом из Рош-Пинны. Моя семья живет здесь около пятидесяти лет.

По тому, как это было сказано, он почувствовал, что из вежливости должен выразить восхищение этим обстоятельством, хотя в душе презирал пустую гордость «заслугами своих отцов». Может быть, потому, что ему самому нечем было похвалиться: отец решительно ничего не сделал для его преуспевания в жизни. А может, и потому, что его предки значительно дольше живут в этой стране.

— О, это здорово! Столько времени? — и для большей убедительности добавил: — Замечательно!

То ли из-за какого-то едва уловимого оттенка неискренности, то ли из вполне естественной скромности она замолчала и опять стала смотреть в окно.

Он завидовал сейчас этим горам, ущельям, зелени, удостоенным ее внимания, и ненавидел их. Хорошо, если бы они сменились однообразной картиной выжженной, лишенной живых красок пустыни. Полный ожидания, он застыл в какой-то нелепой позе. Напрасно!

Машинально он вынул из кармана газету и без особого интереса стал просматривать заголовки. Наткнувшись на поздравление президента христианам в связи с наступлением Рождества, он улыбнулся и быстро перелистал газету из опасения быть изобличенным в том, что всячески хотел утаить.

— Можно у вас попросить вкладыш?

С поспешной готовностью он предложил ей всю газету, опасаясь в то же время, что она углубится в чтение и опять забудет о нем.

Она поблагодарила. Ей, право, неудобно лишать его возможности читать, она вполне удовольствовалась бы половиной газеты.

— О, не беспокойтесь! Никто не читает меньше эти газеты, чем их корреспонденты.

Он с удовлетворением подумал, что эта весьма кстати сказанная острота хороша еще и тем, что в достаточно скромной форме указала девушке на его профессию журналиста, повсюду почитаемую.

— Вы журналист? — Рина с интересом посмотрела на него, ожидая подробностей.

— Да. Работаю корреспондентом в «Ха-моледет», — не без гордости за причастность к столь популярной газете ответил он.

— А правда, что работа корреспондента очень увлекательная?

— О, да!..

И вот беседа потекла ручьем. Окружающая панорама больше не была ему помехой. Напротив, она тоже явилась одной из тем, которых они касались.

Отец ее, поделилась Рина со своим спутником, является постоянным читателем другой газеты — «Ха-шахар». Тем не менее она знает, что «Ха-моледет» — серьезная и интересная газета, и впредь она будет внимательно следить за его деятельностью в этой газете. Он же твердо решил не упускать из виду свою новую знакомую.

Когда ему надо было уже сойти, он попросил разрешения хотя бы изредка ей писать.

Уже на следующий день он сел за письмо. Ему не терпелось напомнить ей о себе. Для большего эффекта он решил воспользоваться печатной машинкой издательства: это более соответствует его профессии корреспондента.

Первое письмо к малознакомой милой девушке, которой хочешь понравиться, всегда представляет значительные трудности. О чем писать? Какого гона держаться?

Как корреспонденту, ему приходилось писать даже о вещах малозначащих, не вызывавших в нем никаких эмоций, и даже в этих случаях у него находились нужные слова и интонации, чтобы захватить читателя, не оста-



вить его равнодушным. Данный же случай был совсем особым, он был в смущении и с трудом начал письмо.

Осторожно коснулся он приятной взволнованности от случайной встречи с нею. Сколько мыслей и чувств породило это короткое общение! Единственное его желание — чтобы не иссяк этот источник вдохновения. Затем он рассказал о пустоте жизни у себя в районе.

Как того требует этикет, он собственноручно подписал письмо. Прочел его раз, другой — как будто хорошо! И стиль ему понравился: три короткие фразы в начале и полных десять фраз в конце. Определенно хорошо!

Впрочем... впрочем... зачем он, собственно, пишет о пустоте жизни у себя в районе? Нет ли опасности, что она воспримет его самого как человека скучного, с пустой и мрачной душой? Он стал тщательно стирать написанное, пока две строки текста не превратились в черные сплошные полосы, как если бы письмо побывало в руках цензора. На сей раз внешний вид письма ему совсем не понравился — придется писать все заново. Вместо «пустоты» он рассказал ей о гордости, наполняющей сердце газетного работника, который захвачен неутомимым желанием как можно лучше писать о всех сокровищах родного района.

Возможно, что она воспримет это так же, как намек в отношении себя, и это польстит ей. Что ж, он рад будет такой догадливости. Ведь так оно и есть! Это лишь будет дань взаимности: она действительно обогатила его чувства.

Ее ответ был по-девичьи сдержан и в меру доверителен. Рина писала, что также довольна поездкой. Галилейские горы и долины всегда влекли ее к себе. В тот раз они были овеяны какой-то особой прелестью. По-видимому, причина в очаровании ранней осени.

Так завязалась между ними переписка, интересная для обоих. Случались и редкие встречи. Одно лишь не давало ему покоя: он скрыл важное обстоятельство и все откладывал неизбежное объяснение, предпочитая неизвестность и веру в ее непредубежденность явному разочарованию.

Однажды она сообщила, что с интересом прочла в газете его очерки, сочные по языку, интересные по поставленной проблеме, и поздравляет его с бесспорной удачей. Изумляет лишь избранная им тема: почему-то об... арабах.

Он почувствовал, что приблизился критический момент, что больше оттягивать разговор нельзя. Он должен объяснить ей его интерес к этой теме.

Ее согласие на решительную встречу не вызвало у него обычного радостного подъема. Предметом разговора будет не последний спектакль театра «Габима» и не нашумевший фильм. Ему нужно убедить ее стать его единомышленницей, а не оппонентом в споре, в который оба будут вовлечены помимо их воли. Сам он решил не спорить, но и не лгать.

На свидание он пришел задолго до назначенного срока. Он всегда любил эти сладостные, чуть тревожные минуты нетерпеливого ожидания. Но и она явилась раньше назначенного времени. По всему видно было, что и она готовилась к этой встрече. Она раздумянилась от быстрой ходьбы. Глаза ее сияли, волосы были тщательно уложены, клетчатое платье свидетельствовало о хорошем вкусе и достатке. Сердце его замерло, первоначальная решимость несколько ослабла.

Как обычно, вслед за коротким приветствием им пришлось преодолевать первые минуты замешательства. Молча направились они в близлежащее маленькое кафе, почти пустое в этот неурочный час.

— Любите ли вы поучительные рассказы почти сказочного сюжета? — спросил он, когда они уселись за круглым столиком.

Рина с недоумением посмотрела на него, улыбнулась своим мыслям и сказала с легкой иронией:

— Я готова вас слушать. Тем более... если это будет что-то поучительное!

— Жил был,— начал он свой рассказ,— в монастыре близ Иерихона один монах. Он был страстно влюблен в прекрасную природу родного края. Часто встречая восход солнца, он подолгу бродил вокруг монастыря, наслаждаясь и славя всевышнего за столь дивное творение его рук. Однажды он заметил могучего орла, который сел на крест монастырской церкви. Только было монах подумал о величественности и символичности этой картины, как орел взмыл в небеса, оставив на золотом покрытии след, оскорбительный для святого креста. И преисполнился монах злобой к дерзкой птице. Спустя несколько дней та же история повторилась... И в третий раз тоже... Озлобился монах еще больше и решил отомстить за неслыханное богохульство. Он перемолол мясо вместе с перцем, положил в миску и поставил на церковной башне, а рядом поста-

вил еще одну миску, наполненную крепким, пьянящим араком.

На следующий день орел после очередного осквернения святыни заметил мясо и с азартом стал наполнять свою грешную утробу. Крепкий перец вскоре оказал свое действие. Огонь сжигал у орла все внутренности, вызывая небывалую жажду. Как нельзя кстати оказалась вторая миска с жидкостью, и орел большими глотками стал пить арак.

Результаты не замедлили сказаться. Орел опьянел, пытался взлететь, но не смог и камнем рухнул к ногам монаха.

И тогда монах, с укором посмотрев на орла, сказал: — Будь ты христианином — ты не осквернил бы храм божий и святой крест; будь ты иудеем — ты не съел бы запретной пищи; будь ты последователем Магомета — ты не выпил бы хмельного. Но ты не принадлежишь ни к одной истинной вере. Следовательно, ты безбожник и достоин мучений и смерти.

Рина застыла в ожидании: чем же кончится эта странная история и что в ней поучительного. Но тут рассказчик умолк. Из этого трудного положения их спас подошедший к столику официант:

— Итак, господа, что вы будете заказывать?

— Вы не будете возражать против чашки кофе? — спросил он.

Она утвердительно кивнула головой.

— Два кофе, — он показал официанту два пальца и добавил: — Турецкого.

— Какая же следует мораль из вашего рассказа? — спросила Рина, когда официант удалился.

— Вы хотели знать, почему меня интересуют арабы. Может быть, этот рассказ поможет вам понять причину. Здешние арабы-христиане по обе стороны границы воспринимаются как люди, «лишенные религии»: иногда их считают арабами, иногда израильтянами, а иногда... И яркий пример тому — я...

Улыбка исчезла с ее лица. Она пристально посмотрела на него, пораженная таким откровением. Казалось, она просила еще объяснений. Но он решил больше не продолжать.

— Вот так, Рина! — сказал он, словно окончательно утверждая непреложность факта.

— Признаться, я должна была сразу догадаться по вашему имени, что вы араб!

— Да, я — араб, — повторил он, словно высекая каждый слог.

— Что вы хотите этим сказать? — с неподдельным испугом сказала она. — Что вы шпион?

Он был ошеломлен. Больших усилий стоило ему не обрушить на голову девушки самые жестокие слова. Но он хотел быть вежливым до конца. Он молчал, и это молчание, казалось, больше всего угнетало Рину.

— Чудовищно! Трудно поверить, — бормотал он как в забытии.

— Да, трудно поверить... и понять! — шептала она.

Его поразило, что эта в общем очень хорошая девушка, рожденная в этой стране, имеет самые смутные представления об арабах. Больше того, извращенное представление... Она не только их не знает, но и знать не хочет. Поэтому она, видимо, не может и понять, почему этот молодой человек пригласил ее на свидание специально для того, чтобы сообщить, что он араб.

Кофе действует успокаивающе. Его можно молча пить до начала комендантского часа... На этом встреча закончилась. Автобусы развезли их в разные стороны. Каждый из них время от времени шептал, устремив вдаль отсутствующий взгляд:

— Трудно поверить, понять...

Кто же был он? Он родился в христианской семье. По документам числился арабом, люди знали его как корреспондента еврейской израильской газеты, а сам он считал себя просто человеком...



## Дикая трава

Он постучал в дверь и вошел в дом, слыша лишь отзвук своих шагов среди голых стен. В доме никого не было; его поступь была твердой и монотонной. Его окружили большие комнаты, смотревшие на него с любопытством, до тех пор пока он растерянно не остановился посреди большой залы. Сапоги, выпачканные навозом, следы красной глины, ящики с яйцами, кринки с молоком, пустые мешки загромождали пустые комнаты. Нельзя было найти даже стула, чтобы сесть.

Стеклянный поднос с большими ручками посылал ему сверкающую улыбку. Это был единственный предмет роскоши в доме. Он одиноко стоял посреди большого деревянного стола и охотился на солнечных зайчиков.

«Муму,— позвал он гостя по имени,— взгляни на меня».

Но Муму больше не верил этим улыбкам. Он пересек кухню и направился во двор. Там с холодным, настороженным выражением лица он прошел мимо ласкающейся собачонки, мимо фыркающей лошади и кудахтающих кур и утонул по горло в густом запахе калийных удобрений, смешанном с приятным ароматом свежего сена, скошенного только сегодня утром. У входа в строение, которое служило одновременно и конюшней и хлевом, маленький человек занимался большой лошадейю. Он не заметил, как Муму подошел, хотя самому Муму казалось, что его шаги заполняют все пространство двора. Маленький и худощавый человек наклонился над ушибленной ногой лошади, а

та огорченно фыркала, вздрагивая от ноздрей до кончика отлично подстриженного хвоста.

Человек выкрикивал: «О, ой! О, скотина!» А руки и ноги его двигались с дьявольской ловкостью. Лицо его, мягкое и простое, было таким же дубленным, как кожа на его обуви. Этот человек принадлежит этому дому. Это настолько же очевидно, как и то, что его верхняя беззубая десна произносит «О, ой!», как выдох гобоя. Муму предстояло еще услышать, как несколько лет тому назад человек лишился этих зубов от кулака милого австралийского солдата. Это было, когда гостиница, находившаяся в его доме и служившая пристанищем уставшим от войны солдатам, приносила больше дохода, чем все его хозяйство. С тех пор остались ему в наследство и широкополая австралийская шляпа, что покрывает его голову, и ботинки, в которые он обут, и это «О, ой!», и его детская, с голыми деснами улыбка.

Этот человек по-простецки обратился к Муму:

— А ну, молодец, поддержи-ка лошадь за голову, если ты понимаешь, что такое лошадь.

Они не смотрели друг на друга, но для Муму было ясно, к кому обращены эти слова. Большая голова лошади подергивалась от боли. В виде протеста лошадь била головой по спине этого маленького человека, мешая ему работать.

Муму обхватил стальной рукой гордую шею лошади, посмотрел в большие лошадиные глаза и пообещал ей шепотом судьбу Сташка.

«Сташек,— втолковывал он ей,— был ослом. Однажды он стал в тени рожкового дерева и ни за что не хотел сдвинуться с места. Тогда он получил порцию хороших ударов палкой, шпорами и спицами. Сташек не протестовал, он просто смиренно опустил на землю и улегся. Он больше не встал, но Муму поминает его хорошим словом. Он запомнил его последний взгляд, полный терпения и покорности. Он готов помянуть хорошим словом и лошадь...»

— У тебя надежные руки,— сказал низкорослый и отвел лошадь к кормушке.— Никто так не чувствует это, как лошадь. Как зовут тебя?

— Меня зовут Муму.

Из хлева послышалось тяжелое и равнодушное мычание, похожее на зевок. Слова Муму тоже звучали тяжело и безразлично.

— Ты мой родственник, если, конечно, ты Шмуэл Корен,— добавил Муму.

— Безусловно, мы родственники,— сказал Шмуэл, дружелюбно пожимая Муму руку.— Но все же кто ты? Как твоя фамилия?

Муму молчал. Казалось, у него никогда не было фамилии. Муму — точильщик ножей, чей цвет глаз никому не известен, так как он ни на кого не смотрит. Его дело смотреть только на ножи, на ножницы, искры, на блеск лезвий. Вид вертящегося точильного круга помогает ему забыться.

Красный апельсин висел на одном из цитрусовых деревьев в саду, он горел там, как маленькое солнце. Сухое и гнилое солнце. Муму пощупал свою сумку и подумал об обратной дороге, но Шмуэл опередил его и сквозь зеленую и душистую охапку сена, которую он только что положил в ясли, выдохнул:

— Зачем я тебе задаю вопросы? Ведь ясно, что ты Корен, один из Коренов. Ты такой же Корен, как и я. Эй, Брурия, у нас гость!

— Иду! — крикнул женский голос из дома.

А Муму сказал, не отрывая глаз от апельсина:

— Я пришел к тебе работать. Если, конечно, для меня найдется место.

— Это хорошо, что ты хочешь работать. Корены любят труд. Ты крестьянин?

— Да.

— У меня мало работы на земле. То, что ты видишь,— небольшое пастбище для скота и этот цитрусовый сад.

— Я могу выполнять любую работу.

— Я уверен, что ты все можешь. Беда заключается в том, что мы со всем сами справляемся. Особенно теперь, когда у нас есть Шаул. Ты его увидишь. Он парень с головой. Он работает в саду.

Затем он крикнул:

— Брурия, это мой родственник, Муму Корен. Как видишь, среди Коренов есть и высокие.

У Брурии были горящие глаза и пышный бюст. Нельзя было двигаться рядом с ней и не чувствовать ее бюста. Муму тоже почувствовал ее бюст. Она сказала несколько приветливых слов, и ее рука порхнула в его руку. Казалось, что она боится его. Он взглянул на красный апельсин, а тело его окаменело. Бюст Брурии стоял на его пути,

куда бы он ни направился. На горящий апельсин упала тень, и он потух. Началось перешептывание, сопровождаемое ударами копыт и фырканием.

— У нас он найдет себе место...

— Ты уверен, что...

— Никто еще у нас не пропадал...

— Ничего...

— Пригласим его на обед, а затем посмотрим.

— Михале, Михале! — позвала Брурия.

Семилетний Михале появился в саду и запрыгал, как маленькая искорка, вокруг ограды из камней.

— Михале, обедать! — крикнула Брурия.

Муму казалось, что у него никогда не было маленького брата, такого, как Михале. Но что это за странное чувство голода к чему-то? Сильного голода к чему-то, что вовсе не является обедом?

— Змея, выходи, выходи! — кричал Михале, прыгая вокруг камней, и черные волосы его порхали вокруг головы, словно черные голуби.

— Брось ты ее, Михале! — досадовала Брурия, словно здесь всегда кругом кишели змеи.

Шмуэл бросился к ограде, Муму последовал за ним.

— Папа, это всего-навсего маленькая гадюка, — объявил Михале.

— Отойди! — крикнул Шмуэл.

Он отодвинул камень и, ловко схватив гадюку за хвост, мягким движением приподнял ее и стукнул головой о камень. Гадюка выскользнула из рук, свернулась кольцами, растерянно покачав плоской треугольной головой. Муму прижал тонкой палкой голову гадюки к земле и пристально на нее посмотрел. Гадюку словно пригвоздили к земле. Может быть, это длилось секунду, но этого было достаточно, чтобы Муму схватил змеиную голову пальцами. Это сразу усмирило змеиное сопротивление.

Взглядом, полным обожания, Михале смотрел на большого, сильного парня и завидовал. О, этот все может, не то что отец.

— А мой папа убил уже много змей, может быть, тысячу. Не веришь?

— Верю, — ответил Муму.

— Ты мне ее дашь? Я засуну ее в бутылку.

— Да.

— А ты останешься у нас?



— Шаул, иди обедать,— крикнула Брурия. Голос у нее был глухой и теплый, как мычание коровы над полными яслями. Собачонке был хорошо знаком этот голос, обещающий объедки. Она начала выжидающе тявкать.

Чей-то голос послышался из цитрусового сада, чистый и звонкий.

— Если я пойду обедать, кто же за меня закончит тут? Работа есть работа, госпожа моя.

Голос был тренированный, звонкий и холодный, как стеклянная роза. Дрожь в мускулах напомнила Муму: «Ты ненавидишь Шаула. Он твой враг».

А маленький Михале, чьи волосы были похожи на венец из голубиных крыльев, сказал:

— Шаул — трус. Он убегает от змей. Я сам это видел.

Муму смеялся. Его шаги были уверены и тверды.

— Но ты останешься у нас, это правда? — лепетал Михале.

Шмуэл тем временем уже успел накормить телку. Он подтолкнул ее в сарай и закрыл двери.

— Папа, правда, он у нас останется?

Маленькая неуверенность замерла в воздухе, эластичная, похожая на каплю воды, повисшую на кончике крана.

— Конечно,— ответил Шмуэл,— конечно, останется. Мы одна семья.

Капля воды оторвалась и замерла, словно серебряный язык колокольчика.

Муму хотел погладить голову мальчика, но почему-то не смог.

Остальную часть дня Муму кружил по двору. Он познакомился со старшим сыном Нати, много слушал, но мало говорил. Сидя под фиговым деревом, он молчал. Он поверил, что многое позабыл и, возможно, для него начинается новая жизнь. Однако все это время желтый попугай неугомонно кричал ему в ухо:

«Не верь ты им! Не верь!»

Когда вечером Муму улегся на мягкую постель, он услышал, как собачонка царапает дверь. Он вспомнил мальчика, который стучался вот так же в чужую дверь. Когда его спросили, почему он стучит, он ответил: «Потому что спать на улице не очень удобно». Мальчик был в возрасте Михале. Но разве могло быть, что эта история случилась именно с ним, с Муму?

Он уснул. Ему приснилось, что отовсюду смотрят на него маленькие глазки собачонки, которые то расширяются, то поднимаются и опускаются, как животики у шаловливых кроликов. Он тотчас узнал глаза Михале и захотел погладить его по крылатым волосам.

Муму проснулся, он хотел было открыть дверь, чтобы собачонка вошла, но почему-то не смог этого сделать.

Дни настали ароматные и жаркие, как овощной суп Брурии. И хорош был ее суп тем, что обжигал он язык и небо и давал Муму лишний повод молчать. Его молчание благодаря этому становилось незаметным и не падало как камень на беспрестанно галдящий стол Коренов. Брурия много смеялась. Ее смех вырывался прямо изнутри большого, вызывающего страсть и волнение бюста. А Шаул, бывало, щипал ее, вызывая визгливый смех. Его меткие шутки, ловкое и острое слово наполняли весь дом, выводя Муму из терпения и заставляя его быть еще молчаливее. В таких случаях он лишь цедил сквозь сжатые зубы: «Иду спать. Завтра вставать рано». И бежал в постель, где его ждала приключенческая книга, постоянно лежавшая под подушкой.

А по утрам здесь действительно все встают очень рано, вместе с утренним туманом, поднимая соленые от пота и тяжелые от жары и усталости тела. Работы так много, что ум тупеет и все на свете забывается. Правда, иногда бывало, что в такой день небо вдруг становилось ласковым и с его высоты выглядывала терпеливая и покорная судьбе ослиная голова Сташка.

И все же приятных часов в доме Коренов стало больше. Что-то здесь изменилось. Поглаживая крылатую голову Михале, Муму чувствовал, что тот этого страстно ждал. Однажды он поймал себя на том, что ему вдруг стал приятен милый, беззубый детский смех Шмуэла. Поймав себя на этом, он, конечно, тотчас же «исправил» себя и устался в пространство, что позволяло его взгляду избегать людей, проходить мимо них, не встречаться с ними.

Не удивительно поэтому, что из-за своей ненависти к Шаулу он не знал, каков цвет его глаз. Он не знал также, в какой руке Брурия держит ложку, когда хлебает суп. Он, который с исключительной точностью знал, сколько деревьев в третьем ряду цитрусового сада и сколько при-

готовлено мешков удобрения, не знал, каков цвет волос Шмуэла и в каком именно месте у Брурии поднимаются ее привлекательные груди. Он только слышал ее смех, который жирным эхом отзывался по дому и откликался: «Я здесь, а ты где?»

Черт возьми! Не иначе, кто-то наступает на соски ее смеха!

Как было уже сказано, дни в цитрусовом саду стояли ароматные и жаркие. Руки Муму подвязывали ветки, окучивали деревья, вспахивали, унавоживали, поливали. Муму возненавидел Шаула, постоянно работавшего на расстоянии нескольких рядов от него, всего на расстоянии нескольких рядов.

В этот день утром Шмуэл находился на участке, где росла люцерна, Брурия работала на птицеферме, Нати ловил рыбу, Шаул и Муму копались в цитрусовом саду, а маленький Михале вертелся около Муму, выкапывая из сырой земли червей. Время от времени он дразнил Лодера — огромную пастушескую собаку на соседском участке.

Лодер был большой пес с злобным характером, похожий на те помеси, которые получают от скрещивания волка и лисицы. Трусливый, он мог исподволь, сзади наброситься на другую собаку и придушить ее. После того как таким образом была убита одна породистая собака, хозяев Лодера заставили держать пса на цепи. Хозяин Лодера был необычный колонист. На его участке росли только гладиолусы и земляника, а «живое хозяйство» у него состояло из Лодера и нескольких кошек. Ни коровы, ни птицы, только собака и кошки. Само собой разумеется, все соседские дети любили подразнить обоих: и Лодера и его хозяина. И больше всех в этом преуспевал маленький Михале, которому удавалось палкой привести Лодера в такое бешенство, что пес терял голос, шерсть его поднималась, а морда злобно оскаливалась.

В это время Муму лежал на спине, свободный и свежий, как поток воды, орошающий сад. Его разбудили крики и рычание. Он открыл глаза. Перед ним стоял Михале с большой пастушьей палкой в руке и, задыхаясь, говорил:

— Дед очень разозлился и сказал, что спустит Лодера с цепи. Как ты думаешь, он сделает это?

Дыхание мальчика напоминало Муму щебетание птиц, а лицо отдавало душистым запахом цитрусовых плодов.

— Может, и спустит,— ответил Муму.

— Но Лодер очень злой и, наверно, такой же сильный, как тот волк, который забрел к Шифре в птичник.

— Лодер только и знает, что лаять, а собака, которая лает, не кусается,— ответил Муму, и ему невольно пришло в голову, что этот пёс чем-то напоминает Шаула.

— Но Лодер меня ненавидит, и он очень сильный. Такой же, как волк, что попался Шифре.

О, как можно этого мальчугана ненавидеть! Если бы Михале наклонил к нему в эту минуту голову, он бы тотчас ее погладил. Жаль, что его рука к этому не приучена.

— А что это за история с волком, Михале?

— Я ведь тебе уже говорил.

— Ничего. Расскажи еще.

И Михале рассказывает ему известную по всей Издрельской долине историю, как Шифра, член одного кибуца, вошла на птицеферму и увидела там большую и страшную собаку. Она хотела ее выгнать, но собака не уходила. Тогда Шифра стала кричать, но собака ее не слушалась. Рассердившись, Шифра бросила в нее камень. Собака накинулась на Шифру, сбила ее с ног и вцепилась зубами в мягкое место, на котором люди сидят. Шифра закричала от боли и потеряла сознание. Тут подоспели люди, работавшие рядом. Они и убили волка, так как выяснилось, что эта большая собака была волком. И так как мужа Шифры звали Зеэв<sup>1</sup>, все ребята долго донимали взрослых вопросом: «Почему Зеэв рассердился на Шифру и съел ее зад?»

— Зеэв рассердился на Шифру и съел ее зад,— повторил Муму, улыбаясь.

Сидя возле Михале, он часто улыбался. А Михале любил смотреть, как Муму улыбается. Его улыбка была как сияющее сквозь тучи солнце.

— Ты знаешь,— вдруг сказал Михале,— я не люблю Лодера, а он меня. А когда он не на цепи, он не лает.

Михале боялся.

Муму внимательно прислушался, приложив голову к земле. Он услышал голос текущей воды, услышал, как осыпается в канавках песчаный краснозем, как шевелятся в земле черви. Но он услышал еще что-то и приподнял голову. Позади, на расстоянии нескольких шагов, стоял Лодер, приготовившийся к прыжку. Хвост его был под-

---

<sup>1</sup> Зеэв — волк (иврит).

жат, морда опущена к земле, глаза налились кровью. Он весь дышал злобой.

Муму схватил пастуший посох с сучковатым набалдашником и бросился на собаку. Пес заскреб лапами, ощерился и зарычал. Муму сунул набалдашник между зубами собаки. Пес схватил палку зубами и стал ее кусать. Но палка осталась цела, только изо рта собаки потекли слюни. Потом пес медленно поднял глаза. Его удивленный взгляд натолкнулся на серо-зеленый взгляд Муму. Волны дрожи прошли по телу собаки от головы до хвоста. Затем она опустила морду вниз и начала покорно вилять хвостом.

Но Муму не поверил Лодеру. Ноги собаки точно вросли в землю, от этого ее тело стало еще более напряженным. Муму не помнил лицо Шаула. Он никогда не смотрел ему прямо в глаза. Но в этот миг он был уверен, что лицо у Шаула такое же, как у этого пса. «Не верь ему, он вот-вот набросится на тебя!» Муму поднял палку, резкий удар опустился на голову Лодера. Собака забилась в агонии.

Тут поднялась суматоха. Муму бросил палку и как ни в чем не бывало пошел в сад. Он искал глазами Михале, но того поблизости не было. Муму улегся на спину, укрывшись маской равнодушия. До его ушей доносились топанье ног и выкрики: «Этакий хулиган». Потом начался спор, были предъявлены претензии. Послышались тягучие и липкие, как смола, вопросы: «Зачем ты это сделал? Почему ты убил Лодера?»

Затем посыпались просьбы, они действовали, как гашиш: «Может, тебе следует попросить прощения?», «Попроси у них прощения» или что-то в этом роде. Тут слащаво кокетничал Шаул, волнуяще мычала грудь Брурии. А Муму молчал, словно каменная глыба. И Михале был уже тут, неподалеку от Муму. Он угрюмо всматривался в его лицо и старался объяснить взрослым, что Лодер готовился растерзать его. Но взрослые оставались глухими. Тогда он уселся неподалеку от Муму и замолчал.

Муму услышал, как кто-то потащил труп собаки и обозленно кричал: «У вас в доме живет разбойник, а не человек!»

И снова сверлил его уши испуганный шепот маленькой любимой Нурит: «Я боюсь твоего взгляда». И еще: «Отпусти меня, ты хуже дьявола»...

А точильное колесо так больно точит его виски. Он встал на ноги, вся его кровь взывала: «Чего вы хотите от меня? Отпустите меня!» Но ничего не вырвалось из его сжатых уст, равнодушие по привычке продолжало покоиться на его лице. И хорошо, что он остался равнодушным, так как в эту минуту к нему подошли Шмуэл и маленький Михале, который плелся следом. Михале подбежал к нему и торопливо заговорил:

— Папа помирился с дедом. Он пообещал ему породистого боксера.

Шмуэл подошел спокойным шагом. Его громадная австралийская шляпа качалась впереди него, как тень от шалаша. Он все понял.

— Ты уже закончил поливку, Муму?

— Нет еще.

— Не теряй времени, кончай!

— О'кей.

Шмуэл прошел мимо него, словно ничего не случилось, а Михале пел себе под нос:

— «Почему Зеэв рассердился на Шифру и съел ее зад?» Правда, Муму, это здорово?

И что-то закрипело и раскрылось, как ржавые ставни, распахнувшиеся навстречу свежему воздуху. А кто-то даже иронически улыбнулся, приняв все за шутку, словно ничего не произошло.

Но, к черту! Что-то в действительности случилось. К черту и тайну, и боязнь, и стыд.

К черту!

Он расскажет Шмуэлу все-все, что он хотел скрыть и позабыть. Завтра расскажет. А может быть, еще сегодня вечером, после охоты на дикобразов.

Свежий и душистый спустился вечер на дом Коренов. Муму и Нати вернулись с охоты и принесли большого дикобраза. Воздух был чист и прозрачен. Только руки Муму были все в крови животного. Ничего страшного, он помоем их и пойдет к Шмуэлу. А пока надо подвязать дикобраза к дереву и снять с него шкуру и жир.

— Дай мне твой нож, Муму,— сказал Нати,— я хочу это сам сделать. Ты увидишь, я не оставляю на нем ни капли жира.

— Возьми.

Легче обычного Муму вытащил все свое имущество — нож с серебряной ручкой — и взглянул на серебряный роскошный круг на небе. Луна беззубо, голыми деснами, как у Шмуэла, улыбалась ему. Огни далекого города глядели на него с надеждой, с полной надеждой покориться.

Только безжалостное, стыдливое чувство продолжало лизать его пятки, словно это лизали его змеи, лишённые жала. Что-то происходит в нем. Но что? Муму торопился освободиться от тягостного состояния. «Домой,— шептал он,— домой».

Он зажег свет на кухне и поспешил помыть руки. Но не успел он открыть кран, как к нему докатился смех из большой комнаты, заставивший его руки замереть. Шаул, Брурия и Шмуэл смеялись. Казалось, смеялись и стены и чай, налитый в стаканах.

«Муму. Муму — Муму — Муму», и снова смех. А когда смех утих, Брурия сказала:

— Шаул, продолжай, я всегда почему-то его боялась.

— Дикобраз тоже его боялся и распустил хвост, как веер. Но этим он раскрыл себя, будто сам притягивал к себе пулю. Но это был дикобраз, Брурия.

— Я хочу, Шаул, чтобы ты все рассказал.

— Я хотел, но не решался. Ведь, в конце концов, он ваш родственник. И только сегодня, после того что случилось с собакой, я подумал: сегодня он так поступает с собакой, а завтра... Ясно?!

Все ясно. Куда яснее.

— А случай с лошадью? Представь себе, он схватил дышло и бил им лошадь до потери сознания. А почему? Видите ли, лошадь его лягнула. А ведь ему было тогда всего тринадцать лет. Воспитатель терпеливо, как водится в детском учреждении, пояснил ему: «Лошадь — это не человек, иногда она лягает». Но ты знаешь, что он ему ответил? Он сказал: «Мне не понравилось выражение ее глаз!» Ему не понравилось выражение ее глаз. Да, да, он так и сказал. И его выгнали. Это правда. И ждали, что он попросит прощения и скажет, что он раскаивается, но он молчал, он не любит, когда на него смотрят. Это относится даже к лошадям...

И опять все смеются. Шмуэл тоже смеется, хотя Шаул вовсе не ему рассказывает. Он рассказывает Брурии и тихонько щиплет ее за грудь. А она заливается громким хохотом, его она не боится. Да, Шаула она не боится.

— Рассказывай, Шаул, рассказывай все.

— Рассказывай, Шаул,—вслед за ней упрасивал Шмуэл.

И Шаул продолжал рассказывать:

— В сельскохозяйственном училище его прозвали «Молчаливый Муму», пока однажды он не показал свои зубы. Ему уже исполнилось шестнадцать лет, когда его выгнали за насилие.

— Насилие? — переспросили все в один голос.

Насилие, скандал и плач. И бег из-под навеса в поле. Он и она. Она и он позади нее.

«Нурит, подожди. Я вовсе не имел в виду...»

«Я боюсь твоего взгляда».

«Нурит, подожди».

Он ее задержал, а ночь уже спускалась.

«Я вовсе не имел в виду... Ты позвала меня к навесу.

А я люблю тебя».

Она щебетала:

«Ты ведешь себя, как босяк. И даже хуже. Ты хуже дьявола».

Он ударил ее по лицу; она упала на землю и разразилась рыданием. Он больше ничего не сказал. А багровая ночь бушевала вокруг: «Отомсти!» Он молча покинул ее, зашел в интернат, взял свою сумку и оставил школу в тот час, когда над ней взошла заря.

— Несчастливая девушка,— сказала Брурия.— Он настоящий зверь. А ты, Шмуэлик, ничего мне не говорил, что у вас в семье есть такие типы.

Все пили чай, преисполненные тяжелого и страшного предчувствия (а какого?), и снова пили. А Шмуэл раскрывал свой беззубый рот, зиявший, как черная луна, и... молчал. Он все смотрел на стеклянный поднос, из-под которого на него выглядывал Сташек. Но Шмуэл не узнавал осла.

Брурия вздыхает.

— Жаль детей. Он на них влияет. Но чему тут удивляться, если у него была такая мать, как ты рассказываешь!

У Муму из памяти вынырнуло бледное, зеленоватое лицо матери.словно огромная жаба. Ее любовь спустилась на его голову, как тонны желтых небес, и тяжесть давила его и тянула вниз. Он глядит на свои огрубевшие руки, а ноги его сами склоняются в поклоне, и голова его тянется к



полу. Очень тяжел этот желтый цвет. И взгляды жабы сжигают его затылок, словно удары прутьев. Он устал постоянно убегать. И куда он только не бегал: в чужие дома, в тюрьмы, в поле к изнурительному труду и в одинокое молчание. И всегда его находила и возвращала в ад повседневности любовь матери, пока однажды она не отправилась на тот свет. Но теперь они восстали против него все, и отчим, и точильный круг, и они пожимают плечами и ханжески гримасничают: «Мы не виноваты! Мы ничего не хотим! В чем же наша вина?!» Теперь они все проходят мимо, ханжи и «праведники», и пожимают плечами.

А он за ними...

По дороге он столкнулся с Нати, который ворвался в дом с такой силой, что все двери раскрылись. И яркий свет большой комнаты упал на Муму, словно солнце на стеклянную крышу. И все осветилось. Нати крикнул восторженно:

— Прекрасная охота, мы поймали громадного дикобраза!

Но его слова утонули в страшном молчании, молчании, которое вперило слепые глаза в хрустальный поднос на деревянном столе.

Муму снова замкнулся в себе. Он посмотрел на свои перепачканные кровью руки и сказал:

— Это еще не все, Шаул. Ты не рассказал, что, когда мне было восемь лет, я передал сам себя в руки полиции с ворованными яблоками. Полицейские яблоки съели, а меня задержали на ночь. И обе стороны были довольны: они — тем, что полакомились яблоками, а я — тем, что ночевал под крышей.

В комнате стало тихо. Муму выбежал и бросился, дрожащий и возбужденный, на постель.

Когда он пришел в себя, он услышал, как собачонка царапала дверь.

Муму умел уходить, не сказав «до свидания». Когда он стряхнул с себя полную жутких видений ночь и встал, в доме Коренов царил тишина. Он снял башмаки и пошел на цыпочках. В большой комнате он услышал дыхание Нати и Михале и увидел свой нож с серебряной рукояткой. Там же стоял хрустальный поднос, он смотрел на него голубым, полным тоски глазом. Поднос его как бы

поджидал. Муму взял нож и положил его у постели Нати. Затем на минутку остановился, чтобы услышать легкое дыхание Михале. Потом он вернулся в комнату и взял поднос. Без ропота и без сопротивления влез поднос в его мешок, и они вместе убежали из дома Коренов на рассвете. Муму научился уходить, не прощаясь. Более того, он почти не помнил, что уходил как-то иначе. И как всегда, это происходило ранним утром, ни ночью, ни днем. Только в ранний утренний час, разделяющий ночь ото дня, когда сверкает надежда, он мог уходить. Бывало, он уходил, когда воздух становился похожим на пьянящее вино. Он уходил и по покрытой инеем земле. И при свете краснеющей со стыда зари. Он уходил по мосту, стоящему на костылях, туда, к маячащей на горизонте надежде.

На сей раз он не знал, куда уходит. Вокруг — пустота, как в полости бараньего рога. Что находится по ту сторону? Пустота. А по эту? Пустота. А там?

Муму пытался побежать. Но в бесконечном пространстве трудно бежать, напрягать мышцы, которые цепляются, черт возьми, за каждый уголок дома, из которого бежишь. Он шел по белому песчаному ковру дороги, ведущей через поле, а оттуда перешел на горное шоссе, навстречу которому шла светлеющая ночь. Ему повстречался грузовик. Это уже за молоком. Потом потянулись домики вдоль дороги. Легкое облако, ночевавшее на одном из придорожных деревьев, проснулось и убежало к морю, догоняемое легким ветерком, таким же легким, как дыхание Михале.

Но как только он достиг большого шоссе и море стало вздымать навстречу ему свои огромные волны, только тогда запела в воздухе отравленная стрела: «Довольно! Хватит! Мне нет ни до чего дела! Я ни от кого больше ничего не жду! Я ни о чем больше не помню! Довольно! Ведь дом Коренов очерчен отчетливо, и нет никакого спасения! Михале, Нати, Шаул, Лодер, Шмуэл, Брурия и все прочие! И все видения. Всех их ненавидь! И презирай! Но спасения от них тебе нет. Никогда».

Ветер разбушевался. Когда он немного утих, черное шоссе уже блестело. Муму захотел спрятаться в черном чреве моря. Но и море посветлело.

Он оглянулся по сторонам. Все пространство как бы превратилось в стеклянную крышу, и восходящий день смотрит через нее на землю и видит все.

Муму вспомнил хрустальный поднос и оглянулся. Может быть, за ним гонятся? Конечно, гонятся. Ведь все уверены, что он украл поднос. Но это же его поднос. Хорошо, что железнодорожная станция уже близко, а оттуда можно направиться в любой конец страны. Но куда? А это не важно. Куда-нибудь. Спаситься — и все.

«А деньги на билет имеешь?»

На него смотрело стекляннм глазом окошко кассира, и как назло открылся киоск с теплыми булочками. Вокруг уже суетились люди, а крыша станции была полита небесной росой, а небо стояло так высоко, что кружилась голова, а все то, что находилось под небом, было полно безразличия.

Он сидел равнодушный, опустив ноги в канал, и позволил приблизиться видениям. Они приблизились. Одни ехали верхом на улыбающихся козлах, другие неслись на легких облаках, Шаул приехал верхом на Лодере, а по его следам порхала на своих грудях Брурия, горделивая, радужная, и мычала, как корова: «И почему, Шмуэл, у тебя такая участь? Жалко детей... детей...» А Шаул смеется ему в глаза: «У тебя даже денег на билет нет, голодранец!»

— Уйдите от меня! — крикнул Муму.

Он встал и хотел уйти. Но именно в эту минуту остановился джип, и оттуда показалась австралийская шляпа Шмуэла и его улыбающиеся десны.

Муму попятился, но лицо его осталось равнодушным, как всегда. Затем он медленным движением вытащил из мешка поднос. Поднос в его руках трепетал, как бабочка.

— К черту! — крикнул Муму. Он приподнял поднос и бросил его к ногам Шмуэла. — Пошли вы все к черту. Зачем вы побежали за мной?

Поднос разбился вдребезги. Белые осколки разлетелись во все стороны, как подбитые голуби.

— Теперь я знаю, кто я.

Собрался народ. Юркий полицейский набросился на Муму, но Шмуэл остановил его:

— Минуточку, здесь семейное дело. Если б не он, я разбил бы поднос. Это мой сын.

«Его сын! Сын!» По толпе пробежал шепот, и полицейский попросил собравшихся разойтись. На месте остались лицом к лицу Шмуэл и Муму.

— Чего ты ждешь, Муму, залезай в машину. Надо ведь закончить поливку.

Муму стоит, пригвожденный к месту, и все пространство мира превратилось в туго натянутую струну. Каждое произнесенное слово может сильно ударить по ним. И он не может произнести ни единого слова.

— Залезай, ну! Шаул сегодня уходит, он уходит на свой участок, а в саду, кроме тебя, некому работать. А Михале сидит за столом и твердит, что не прикоснется к завтраку без тебя. Садись, едем домой!

Домой!..

Его рука дрожала от желания крепко пожать руку Шмуэла, но он не знал, как это делается. Он просто сел в машину, не сказав ни слова.



**В ханукальные дни**

С легким сердцем села Мириам сегодня завтракать. Ее не оставляло радостное предчувствие, что с сегодняшнего дня ее жизнь, жизнь двадцатичетырехлетней девушки, которая лишь четыре года назад прибыла в Израиль, потечет по новому руслу. Шутка ли сказать! Сегодня, после того как она много месяцев обивала пороги биржи труда, ей наконец предоставили работу! Немало горечи и разочарований связано с этим долгожданным днем, но еще больше было радужных надежд. Отныне она ни от кого не зависит и будет, как все люди, работать и зарабатывать себе на жизнь...

Мириам втискивается в переполненный автобус: опаздывать на работу нельзя! Ведь сегодня ее первый трудовой день! Она проталкивается вперед, держась за кожаные поручни, висящие над головами, чтобы не навалиться всей тяжестью тела на соседей, и осматривается. Кругом — молоденькие девушки-йеменитки<sup>1</sup>, еще совсем подростки. Они едут большой группой в богатые кварталы города наниматься в прислуги. Их головы повязаны пестрыми разноцветными платочками — оранжевыми, красными, желтыми. Такие платочки завезены сюда в разгар нынешнего лета капризной заморской модой. Зимой, спустя полгода, веяния моды достигли кварталов, в которых живут йемениты.

<sup>1</sup> Йемениты — евреи, выходцы из Йемена.

Звонкие голоса девушек и их беспечный молодой смех наполняют автобус. Мириам тоже хочет говорить и смеяться, стать участницей этого всеобщего радостного возбуждения. Ей хочется с кем-нибудь поделиться переполняющим ее счастьем, рассказать, что отныне она вновь обретает право на самостоятельную жизнь и ее отчим Менаше уж не сможет помыкать ею. И ее прежняя жизнь кажется ей сейчас такой далекой...

Всего тяжелее было, когда смертельно уставший Менаше возвращался из порта в нестерпимо душные дни хамсина<sup>1</sup>. Злой как черт, он прямо в одежде валялся на постель и изрыгал бешеные проклятия на весь мир, и особенно на нее, Мириам, будто она была виновницей его тяжелой доли.

— Такая большая, а еще не замужем! У нас, в Ираке, ты бы уже нянчила внучат. И кого ты ждешь? Может быть, надеешься приглянуться какому-нибудь эфенди? Думаешь, что нет красивее тебя... Ну, чего молчишь? Или у тебя отнялся язык?

Не дождавшись ответа, Менаше принимался честить мать.

— Рахель, может, ты мне скажешь, о чем мечтает твоя дочка? Султан из «Тысячи и одной ночи» остался в Ираке, у него там есть более красивые принцессы, чем твоя Миреле...

Бедная, забитая мама согласна, что для ее Мириам уже давно пришла пора замужества, но это еще больше подливает масла в огонь.

— Где это слыхано, где это видано?! Другие девушки сами находят путь к легкой жизни. А эта чего ждет? Взять хотя бы Дейзи...

Но все это было вчера. Было и сплыло! Сегодня первый день ее самостоятельной жизни. С нетерпением ждет она той минуты, когда войдет в бюро.

Едва часы пробили три четверти восьмого, как Мириам, перешагнув порог здания, вошла в комнату на втором этаже, где несколько дней назад ее встретила разряженная, похожая на куклу блондинка, показавшая тогда ее рабочее место.

— Шалом, товарищ! — поздоровался с ней вошедший пожилой мужчина. Он держал груду светло-зеленых кар-

---

<sup>1</sup> Хамсин — жаркий ветер пустыни.

тонных папок, из-за которых едва виднелось его лицо. Умное, приятное лицо с веселыми озорными глазами располагало к себе.

— Познакомимся! Меня зовут Ханан. Видите? Это я принес для вас. Работы много, только поспевай... Скоро зайдет наш заведующий господин Израэль, он объяснит, что надо делать. Но если что-нибудь будет неясно — не огорчайтесь! Помните, что я всегда рядом.

В голосе этого пожилого человека Мириам почувствовала тепло, сердечность и в то же время некоторое беспокойство — разберется ли она в этой груде запыленных бумажек? Как хорошо, что сразу у порога новой жизни ей повстречался человек, хоть и чужой, но желающий ей добра, заботливый, думающий о том, чтобы у нее спорилась работа!

— Большое вам спасибо,— ответила она не столько губами, сколько взглядом, ибо тотчас за спиной вторично прозвучало: «Шалом!» Это вошел господин Израэль.

— Работа у вас довольно простая.— Он говорил так, будто у него во рту лежала картофелина.— В этих папках хранятся письма, документы, счета... Вы должны рассортировать все бумаги по их, так сказать, содержанию и затронутым в них вопросам... Поняли? — Он поправил золотое пенсне, погладил обеими руками седые, отливавшие серебряным блеском волосы и, на минуту задумавшись, продолжал:

— Да, по характеру вопросов... И, во-вторых... Все надо разложить по датам, в зависимости от того, когда какое дело поступило. Тут есть пустые папки, их можно использовать. После того как закончите эту работу, вы расставите папки на полках согласно указанному шифру. Видите? Тут приклеены ярлычки. Правда, они немного запылились, эти папки. Шутка сказать, двенадцать лет вас дожидались, товарищ... — Он вопросительно посмотрел на Мириам. «Мириам Харузи», — подсказал Ханан. — Да, Мириам Харузи. Ханан даст вам халат и щетку. А теперь мне остается только пожелать, чтобы работа у вас спорилась. Шалом!

Когда Мириам закончила свой первый трудовой день, зимнее солнце уже склонялось к закату. Она вышла из комнаты, служившей архивом, собираясь ехать домой, и

удивилась, что во всем помещении царит мертвая тишина. Единственным человеком, которого она встретила, был Ханан. Он сидел за столиком у входа и на ее приветствие — шалом! — ответил очень весело:

— Шалом, шалом! С праздничком вас!

«Какой сегодня праздник? — изумилась она. — Может, он поздравляет меня с первым моим рабочим днем? Ну, конечно!» Она даже негромко вскрикнула от радости... и оглянулась. К счастью, никто из прохожих не обратил внимания на ее возглас, невольно вырвавшийся из груди.

Но тут Мириам вспомнила, что сегодня ханука — первый день веселого праздника в честь Маккавеев<sup>1</sup>. Только теперь она поняла, почему все служащие работали только полдня. Но ее не огорчило, что сама она задержалась сверх положенного часа, так как никто во время обеденного перерыва не предупредил ее, что сегодня короткий рабочий день. Напротив! Это даже лучше, что она работала дольше других, — скорей привыкнет и лучше будет выполнять свои обязанности.

В первые часы ей казалось, что работа продвигается слишком медленно. Она даже стала сомневаться, удастся ли ей вообще разобрать эту грудку старых, пожелтевших от времени документов и привести их в порядок. Ведь она отвыкла от канцелярской работы. И в самом деле, когда трудилась на строительстве шоссейных дорог или на полях и виноградниках (время от времени биржа труда посылала ее на сезонные работы), понемногу теряешь обретенные в канцелярии навыки и привычки.

Теперь в приподнятом, праздничном настроении она возвращалась домой с таким чувством, что недаром прожила этот день. Легко шагая, она влилась в шумную толпу гуляющих, которая по-праздничному беспечно двигалась по главной улице.

На широкой круглой площади молодежь под аккомпанемент гармониста с упоением танцевала хору<sup>2</sup>. Ему дружно подпевали сотни голосов. В кристально чистых струях фонтана отражались огни большой ханукальной лампы. Все вокруг было залито волшебным праздничным светом и

---

<sup>1</sup> Ханука отмечается зимой в течение восьми дней в честь победы еврейских повстанцев под водительством Маккавеев над чужеземными греко-сирийскими правителями во II в. до н. э.

<sup>2</sup> Хора — еврейский народный танец.



казалось необычайно красивым. Песни, пляски, нарядная толпа, волшебная игра света и тени — все это удивительно гармонировало с ее настроением...

Музыка провожала Мириам почти до самого дома. И даже после того, как она миновала шумную центральную улицу, в ее душе все еще звучали веселые праздничные мелодии. Все казалось ей сейчас другим, все выглядело по-иному, чем вчера. Даже домашние невзгоды. Даже ее отчим Менаше. Даже его она оправдывала, жалела и готова была простить ему все унижения и оскорбительные намеки по адресу накрашенной и напوماженной Дейзи... Разве она не видит, как тяжело ему содержать такую большую семью? Нет ничего удивительного в том, что он вечно злится. Столько детей, столько голодных ртов! С какой дикой жадностью поглощают они скудные плоды его трудов... А много ли он приносит после всех вычетов — налоги, больничная касса, профвзносы...

«С Менаше происходит что-то неладное», — с тревогой подумала Мириам. И она вдруг вспомнила, что то же самое говорил ей его товарищ по работе несколько дней назад. В то время Мириам, затаив в душе обиду, не придавала этому большого значения. Но теперь слова того человека заставили ее серьезно задуматься.

— С ним происходит, Мириам, что-то странное. Может быть, он болен? Береги его, Мириам! Последний хамсин ты помнишь? Он подул не вовремя, сразу после дождей. Шведский корабль опоздал. Мы в порту все ждали и ждали. Была невыносимая жара, и мы были злы, как сто чертей. «Пожалуй, придется промаяться здесь всю ночь», — думали грузчики. Смотрю — мой Менаше сидит согнувшись, руки, как две плети, болтаются между колен... Голова опущена. «Менаше, — говорю я ему, — попей водички...» Но он молчит, даже не огрызается. Это уж совсем на него не похоже. Поняла, Мириам? Тут что-то неладное... Чтоб Менаше молчал, чтоб не сказал ни одного слова, ни одного ругательства, ни одного проклятия — это ведь ни на что не похоже!

«Он устал, — думает Мириам. — И, кто знает, может быть, даже раскаивается, что первый раз в жизни поднял тогда на меня руку...» Если б не мать и не крики детей, ей пришлось бы худо... Но она, Мириам, не злопамятная. Напротив, она может сейчас даже подойти к Менаше и сказать ему несколько теплых слов. Она ведь сегодня

работала, пусть это сразу дойдет до него. Вдвоем тащить воз много легче...

Мириам ускорила шаг. Повсюду люди сидят уже за праздничным столом. Аппетитный запах оладий щекочет ноздри. Она почувствовала, что голодна.

Когда Мириам вошла в дом, мать кинулась ей навстречу. В руках она держала рубашку Менаше, она ставила на ней заплату.

— Ну, Миреле, как работалось?

— Хорошо, мама,— и она прижалась к груди матери.— Я проголодалась, сперва накорми меня, а потом я тебе все расскажу...

Рахель вышла на кухню; спустя минуту она уже ставляла на столе тарелки и, довольная, пододвинула дочери обед.

— Вот видишь, доченька, сегодня у нас двойной праздник: первый день хануки и первый день твоей работы... Пришлось пораскинуть умом... Правда, с помидорами и рисом все было в порядке, а вот с праздничной курицей дело было сложнее... Но, как говорится, игра стоила свеч. Дети пальчики облизывали. Обед получился не хуже тех, что я готовила в старые, добрые времена... Эх, какое было у нас тогда жирное мясо...

— Все очень вкусно, мама. Ну точь-в-точь, как раньше...

— Кушай, дитя мое, на здоровье. И не горюй, ты еще будешь счастлива. Бар-Иохай<sup>1</sup> будет просить за нас перед всевышним. Да и твой отец в раю не забывает нас... Сама убедилась!

Мать умолкла и снова взялась за работу. Она не любила вспоминать те дни, когда ее первый муж был еще жив, в глубине души она чувствовала свою вину перед детьми. Ради них она не должна была вторично выходить замуж, да еще за такого человека, как Менаше.

Сегодня Мириам еще более счастлива, чем вчера. Наконец-то она почувствовала под ногами твердую почву. Уж одно то, что она просыпается утром с единственной мыслью — надо идти на работу, придает ей уверенность. Такое ощущение свойственно людям, которые после дол-

---

<sup>1</sup> Бар-Иохай — имя одного из древних праведников.

гих месяцев вынужденного безделья снова обрели работу и вместе с ней цель в жизни, ради которой стоит потрудиться.

Наскоро позавтракав, Мириам вышла из дому. Легким, упругим шагом она направилась к автобусу. «Алло, Мэри!» — услышала она голос за спиной. Оглянувшись, она увидела смуглого, кудрявого, рослого Давида, который, между прочим, всегда требовал, чтобы его называли Дэйвидом. Как всегда улыбающийся, в узких брюках и пестрой рубашке на выпуск, он казался только что сошедшим с обложки модного американского киножурнала... Его походка, манеры, черные как смоль волосы, зачесанные сверху, длинноватые клинышки пейсов и черная ниточка усиков на тонкой губе — все это даже внешне выдавало легкомыслие и беспечность, свойственные, увы, части израильской молодежи.

— Где это ты пропадала последнее время? — спросил Давид, схватив ее за локоть, будто боялся, что она вдруг ускользнет от него.

— Я получила работу, Дэйвид.

— Ну и что? Неужели из-за этого надо забыть все на свете и думать только о работе? Мы ведь живые люди, Мэри. Я ишу тебя целых два дня, а ты как в воду канула.

— Неужели ты соскучился по мне? — Мириам кокетливо взглянула на него из-под опущенных ресниц.

— Представь, соскучился. Кстати, разве это запрещается? Но шутки в сторону, дорогая. Мы решили организовать в последний день хануки вечеринку. Собираемся у Эти Джинджехи в ее бараке. И я хочу быть весь вечер с тобой. Не возражаешь?

— Право, не знаю, Дэйвид, как у меня все получится. — Мириам посмотрела в затененные, черные, как антрацит, глаза Давида, будто хотела заглянуть ему в душу. Она побаивалась его легкомыслия и беспечной удали, которая свидетельствовала о чем угодно, только не о серьезном отношении к девушке.

— Не знаю, не знаю... — передразнил он ее. — Может быть, ты отбросишь наконец свои причуды, Мэри? Или ты собираешься постричься в монахини?.. Выкинь-ка из головы свои фокусы! Пора немного и поразвлечься. Все собираются, вся наша братия. Будем печь блины и веселиться. Придешь?

— Может быть.

— Не может быть, а наверняка! Договорились?

— Ладно.

— Ну, это дело другое! О'кей! Не забудь адрес. Итак, в последний день хануки, у Эти.

Едва успев на прощание махнуть ему рукой, она вскочила в подошедший автобус.

Много ли нужно человеку, чтобы быть счастливым? Вот она, Мириам, получила приличную работу в архиве каменоломни — и, будто по мановению волшебной палочки, все сразу изменилось. И она теперь смотрит на окружающих другим, более дружелюбным взглядом.

Но круче всего изменилась ее жизнь дома — она стала какой-то несравненно более легкой и приятной. Унылая, гнетущая душу тоска четырех стен куда-то словно испарилась. Черные тени, омрачавшие ее отношения с отчимом, улетучились. А какие, собственно, она могла иметь претензии к Менаше, коли тот своими руками должен был прокормить десять душ?! Если бы поставить в ряд всю обувь, какая нужна такой семейке, ее было бы, пожалуй, не меньше, чем имеется у Катриэля — сапожника из их квартала.

Правда, она помогала матери готовить, стирать, чинить, делала всю домашнюю работу. Но от этого в кастрюлях не становилось гуще... Мать ходила всегда удрученная, усталая, с вечной заботой в больших миндалевидных глазах. Ее добродушное лицо уже покрылось морщинками — признаками раннего увядания, — что так не вязалось с ее черными шелковистыми волосами. Мириам не перестает удивляться их блеску. Другие женщины, ровесницы матери, красят волосы в рыжий цвет. Они от этого портятся, выпадают, а отрастая, становятся седыми, полинявшими. Как это безобразит женщину!

Дейзи, младшая сестра Мириам, говорит, что она скоро выйдет замуж. Девушка иногда приносит домой изящные пакетики с дешевыми сладостями для маленьких. Каждое ее появление с подарками почему-то пугает Мириам, возбуждает подозрение. Шелест ее модных платьев тревожит старшую сестру. Эти платья источают аромат какого-то другого, таинственного мира... В такие минуты Мириам старается целиком погрузиться в воспоминания юности, которые никогда не покидают ее. В этих сладостных

воспоминаниях она находит силы и поддержку, ибо в них — немеркнущий свет ее первой любви...

Вечерний ветер утих. Дождь перестал лить. Мириам любит в такие часы бродить по улицам, вдыхать влажную вечернюю прохладу и думать, мечтать... После утомительного дня однообразной работы с пыльными бумагами так хорошо неторопливо шагать по улице, полной грудью вдыхая воздух.

Чего добивается Дэйвид? Какие у него намерения? Немножко пофлиртовать, потанцевать, подурачиться — и все? И как ему не надоест корчить из себя голливудского героя! Жаль, что она забыла спросить его, что он имел в виду, когда однажды сказал ей: «Не слишком засматривайся на небо — можешь наткнуться на стену и расквасить свой носик!» Да он ей все равно бы не ответил. Ведь он не знает, что в себе она носит собственное небо, скрытое от нескромных взоров... И стоит ей взглянуть на него, как на душе сразу становится теплее и... печальнее. Теплее и печальнее одновременно... О, она бы все отдала, если бы могла сейчас хоть краем глаза взглянуть на своего Соломона... Где он сейчас? Думает ли о ней? Жив ли?.. Ходит ли еще по этой грешной земле, которую так страстно мечтал переделать?

О, Соломон, друг сердечный! Еще и сейчас звучит в ушах его чистый, звонкий голос, полный веры в справедливость... Справедливость! Нашел ли он ее там? Вокруг, как грибы после дождя, вырастали виселицы жестокого диктатора Нури-Саида, и она умоляла своего любимого: милый, помни об этом! Пожалей себя и меня! Стены имеют уши, у деревьев есть глаза... Я боюсь за тебя...

Мириам не обвиняет Соломона, что он не поехал с ней в Израиль. В душе его жили две сильные привязанности: он любил ее, Мириам, но не мог бросить революцию, в торжество которой так страстно верил. Верность идеям оказалась сильнее любви... Когда она сказала ему, что решила оставить Багдад, он посмотрел куда-то вдаль, глаза его подернулись печалью, и он молча прижал ее к себе. Потом из его уст вырвалось несколько отрывочных фраз.

— Ты улетаешь, моя голубка... Далеко, далеко... А наше гнездышко? Что будет с ним?

Теперь она понимает Соломона лучше, чем тогда. Он не мог поступить иначе. И вот между ними сразу встала стена... Неужели навсегда? Нет, у нее в душе эта стена

давно рухнула... И Дэйвид никогда не сможет занять место Соломона... В этом она уверена.

Мириам собралась идти домой. У входа ее ожидал Ханан, как всегда добродушный, улыбающийся.

— Скажите, пожалуйста, товарищ Ханан, каким образом вы в первый же день моей работы узнали мое имя и фамилию? Я давно собиралась вас об этом спросить.

Ханан рассмеялся:

— Ну это не большой секрет, товарищ Мириам. Мы ведь должны знать все, что нам нужно знать. Особенно когда человеку необходимо чем-нибудь помочь... Вы же у нас новичок, и надо было позаботиться, чтобы вас тут не обидели. Верно?

— Верно, товарищ Ханан! Я сразу почувствовала теплоту и сердечность ваших слов. Большое вам за это спасибо! Но чем я-то заслужила такое внимание?

— Не только вы, товарищ Мириам, не только вы... Может быть, вы помните того служащего, который помог вам, когда вы искали работу?

— Помню, очень хорошо помню! Такие люди не забываются.

— Так вот, этот человек просил меня передать вам, что за дни работы во время праздника вы должны получить в двойном размере. В ханукальные дни положено работать четыре часа, а платить должны как за восемь. Вы же работали полный день, так что за четыре послеобеденных часа вам полагается двойная оплата. Учтите это!

— Неужели?

— Да. Не забудьте об этом при расчете в бухгалтерии.

— Выходит, товарищ Ханан, что я сразу разбогатею! А почему этот добрый человек так заботится обо мне?

— Так полагается. Не вы первая, не вы последняя. Взгляните на меня. Этому молодому человеку уже перевалило за шестьдесят... Хозяин давно хотел меня уволить. Но наш ангел-хранитель, тот самый служащий, встал за меня грудью, поднял скандал, обратился к адвокату, был в Гистадруте<sup>1</sup>, стучал кулаками по столу, и, как видите, я продолжаю работать.

---

<sup>1</sup> Гистадрут — Всеобщая федерация трудящихся Израиля.

— Какой чудесный человек! Побольше бы таких, тогда легче жилось бы на свете,— вздохнула Мириам. Перед ее глазами встал Соломон. Ее любимый, ее единственный... И он готов был душу отдать за другого. С ним бы она никогда не пропала...

— Помните же, товарищ, не забудьте, о чем я вам сказал. Этот совет вам пригодится.

— Спасибо, Ханан, большое спасибо. Шалом!

Господин Арлик, такой подтянутый, официальный, сидел за письменным столом. Чем-то чужим, холодным веяло от всего его облика. Тонкие губы кончались в уголках рта стреловидными наконечниками. Он говорил холодно и равнодушно.

— Я вызвал вас, чтобы выразить вам свое удовлетворение вашей работой. Вы отнеслись к ней в высшей степени добросовестно. Вам удалось очень быстро навести полный порядок в нашем архиве и уложиться в намеченные сроки. Благодарю вас. Но сейчас мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Полный расчет вы можете получить в бухгалтерии, у кассира для вас уже приготовлены деньги.

Мириам застыла на месте. Это было так неожиданно, что в первую минуту она даже не поверила тому, что услышала. Но замешательство длилось недолго. Из-под длинных ресниц блеснули слезы, ей стоило больших усилий, чтобы не разрыдаться. К горлу подступил противный комок. Она даже испугалась, что не совладеет с собой и закричит, но все-таки удержалась, взяла себя в руки. Присущая ей сила воли и на этот раз выручила.

Сейчас мозг ее настойчиво сверлили слова господина Арлика: «выразить удовлетворение»... «благодарю вас».

«За что он меня благодарит? — подумала она. — Что означает его благодарность? И к чему вся эта лицемерная игра с человеком, который хотел — нет, не только хотел, но и начал жить нормально, по-человечески? К чему все это?»

В бюро наступила тишина. Такая тишина бывает перед бурей... Машинистка перестала стучать по клавишам, но Мириам казалось, что теперь так же громко стучит ее собственное сердце. Посмотрев на господина Арлика и встретившись с его выжидающим взглядом, она ясно поняла, что была здесь чужой и лишней и что ей остается только

одно — хлопнуть дверью и уйти. Поскорей уйти к себе домой, к отчиму, к рано состарившейся матери, к маленьким братишкам и сестренкам. К Дейзи... Там, в ее убогом жилище так не благодарят, там не произносят лицемерно-вежливых слов, там беспощадно режут правду в глаза, не стесняясь в выражениях...

Лишь теперь она поняла истинный смысл слов Ханана и его намеков... Да, только сейчас, и она сделает так, как ей советовали! Именно сейчас, в эту минуту!

Мириам не помнит, долго ли она молчала, погруженная в свои мысли и чувства. Внезапно она услышала свой собственный, чуть приглушенный голос:

— Господин Арлик, а как будет с оплатой сверхурочных?

— Какие сверхурочные? — переспросил он удивленно. — Тут какое-то недоразумение... Как мне известно, вы работали свои обычные восемь часов в день. А если вы работали больше, чем положено, то без нашего ведома. И у нас нет для этого средств...

— Нет, господин Арлик, — перебила его Мириам. — Я не работала больше восьми часов в день. Но то, что мне положено за работу в праздничные дни, я не хочу и не собираюсь дарить вашей фирме... Ни в коем случае! И не думайте, господин директор, что те, кто нуждается в работе, решительно ничего не смыслят и ничего не могут сделать...

И, хлопнув дверью, Мириам с благодарностью подумала о милом и сердечном Ханане...





## Хлеб

«К благочестивому человеку некогда обратился иноверец:

— У вас есть праздники, и у нас есть праздники. В то время, когда вы веселитесь, мы не веселимся, а в то время, когда мы веселимся, вы не веселитесь. Бывает ли так, что и мы и вы одновременно радуемся?

Тот ему ответил:

— Когда падают дожди».

(ИЗ ДРЕВНЕГО СКАЗАНИЯ)

## В ожидании

Деревня ждала оценщиков<sup>1</sup>.

Жатва закончилась. Голодные коровы, тощие и изможденные от вечного недоедания, доели под корень жалкие стебли, оставшиеся после уборки, и последнюю, уже подсыхающую траву. А то, с чем не справились тупые зубы коров, выщипал мелкий скот. Козы и овцы рылись в каждой трещине, в каждой впадине, вынюхивая землю, словно хищники. Напрягая зрение, они ловко откапывали передними ногами остатки злаков и подбирали их своими чувствительными и мягкими губами.

---

<sup>1</sup> В период турецкого владычества Палестиной в задачу «оценщиков» входило определение урожая крестьянских хозяйств. От размеров урожая зависела «десятина», которую крестьянин обязан был доставить властям.

День ото дня поля становились все более голыми и серыми. День от дня высыхали последние капли влаги, которую впитала земля во время скудных зимних дождей.

Выжженные солнцем поля были истоптаны и своим стадом и стадами из окрестных деревень, а чужой скот выглядел даже более тощим и голодным.

Поля, утратившие жизненные соки, ссыхались. Как будто во время сильных морозов, почва с треском раскалывалась и длинные, кривые щели разветвлялись, разбегаясь по всем направлениям.

Раскаленные небеса и выжженные поля слились воедино, уподобившись глыбе раскаленного металла, и от этого деревня казалась мертвой пустыней.

Деревня ждала оценщиков. Она ждала их с терпением и тупым унижением, обычным для покоренных. Каждый собирал свой ничтожный урожай, жалкую божью благодать, и складывал его в ровный аккуратный стог, готовая для оценщиков. Хозяин спал на этом стоге ночью, он же его охранял и днем, сидя и прикидывая в уме сложные, запутанные, безвыходные расчеты.

Приходилось решать исключительно сложную задачу, так как уже второй год как аллах отвернулся от грешников и ниспослал свои проклятия на землю.

В прошлом году аллах поразил их нашествием крыс. Крысы беспощадно уничтожали посевы. И исполнилось то, что было написано: «И будут ежедневно видеть твои глаза, как понапрасну погибает твой труд, ничего не остается ни скотине твоей, ни детям твоим, а рука твоя будет немощна чему-нибудь противодействовать».

И даже то жалкое, что было спасено от крыс, что созрело и было сжато и связано в снопы, на следующий день стало добычей грызунов.

Первый дождь, длившийся целых восемь дней, запер дома плуги и помешал обработать землю, когда она была еще рыхлой и пригодной для вспашки. А потом небеса стали медно-железными, без единого облака.

Напрасно мужчины после тщательного омовения рук и ног произносили свою сокровенную молитву аллаху и его пророку.

Напрасно изможденные женщины с грудями, высохшими и тощими, подобно их земле, с сердцами, преисполнен-

ными глубокими материнских чувств, смотрели на небо, мысленно вымаливая дождь и урожай. Им по закону не разрешалось вслух произносить имя аллаха.

Тщетно были обращены к небу и глаза младенцев — невинные детские глаза, воспаленные от зноя, ужасного, чудовищного. Понапрасну и они подымали свои взоры с немой мольбой, так как им неведомы были пути аллаха и его язык.

Все было напрасно.

Словно вылитым из железа и меди казалось небо над головой. Ни единой капли дождя. То, что люди посеяли слезой, они пожинали плачем, огорчением и сердцем, истекающим кровью. Они собирали свой урожай с бедных полей по жалким колоскам и увозили его на тощих ослах и голодных верблюдах на гумно.

Деревня ждала.

В чуланах и кладовых давным-давно кончилось зерно. Многие, посеяв последнее, уже тогда остались полуголодными, уповая на милость аллаха. Они брали займы гнилую пшеницу и пораженный гусеницами маис, обязуясь вернуть лучшие зерна от нового урожая с большими процентами.

Люди увозили на рынок последнюю овцу или единственного теленка и на вырученные деньги приобретали зерно. С дрожью в руках они покупали, взвешивали, мололи это зерно, с дрожью в руках они месили тесто и пекли лепешки.

Больше чем сам голод, мучил страх перед ним, который охватил всю деревню. Матери ради экономии выпекали лепешки сразу на целый день. Это и на завтрак, и на обед, и на ужин. Ради экономии они добавляли в тесто другие злаки. Ради экономии они делили лепешки на две части, а половинки снова делили пополам, когда необходимо было кормить голодную детвору.

Вся деревня ждала приговора оценщика.

Вначале ждала жатвы, с нетерпением, с затаенной надеждой на какое-то чудо, хотя в действительности все понимали, что ждать нечего. Но в самом процессе жатвы заключено благословение. Жатва и голод не живут под одной крышей.

Благодать приходит в дом вместе с первыми колосьями, которые приносят малыши. Да, да, речь идет о тех крошках, которые впервые нынче зимой научились спускать ноги на землю, но пока еще не умеют завязать кушаки поверх рубашки. Их на время жатвы оставляют дома, но они ползают по дорожке перед домом и собирают колос за колосом из-под ног верблюдов. Найденные колосья они накрепко связывают соломинкой в крошечные снопы.

Даже если голод в доме был старожилом, он во время жатвы убирается прочь, уступая место колосу. Но любопытно, голод не пьтится назад при виде верблюдов, нагруженных снопами. Ему хорошо известно, что путь от тока в дом, затем от дома до мельницы и, наконец, от мельницы до квашни очень длинный. Во-первых — десятина, во-вторых — государственный налог, в-третьих — долги тому же государству, в-четвертых — задолженность частным лицам, то ли деньгами, то ли зерном...

И кто его знает, удастся ли ссыпать что-нибудь в закрома. Голод убегает только от собирателей колосьев — от истощенной женщины, от старика, старухи и этих малышей, которые с раннего утра разбегаются по полям и, изнуренные зноем, возвращаются с маленькими, тщательно связанными пучками колосьев. Перед ними голод устоять не может и до поры до времени отдалается от них, таится в стороне, в укромном местечке, выжидая удобного случая для нападения.

Феллахи ждали жатвы с нетерпением. А еще раньше с удвоенным нетерпением они ожидали весну. Это благословенное время, когда земля еще насыщена влагой, как девушка в пору своего цветения. Фасоль цветет фиолетово-синим цветом, напоминая детские глазки, затем она заполняет набухшие мешочки, полные влагой и соком, как груди молодой матери. За фасолью созревает ячмень — сок с молоком! А за ячменем приходит очередь пшеницы — кормилицы всей земли, и богатых и бедных. В пшенице скрыта тайна существования, она — избранная из избранных, величайшее благословение. Пшеница — клад, который сам аллах подарил людям. На утренней заре от поцелуев аллаха зерно пшеницы наполняется росой и соком, солнцем и сладостью, медом и молоком.

Это самая лучшая пора года, когда каждое существо находит себе пропитание: пчела — цветок, корова — траву,

голодный путник — благодать аллаха, из того, что осталось на полях. Найдет он несколько забытых колосьев, обжарит их на огне и утолит свой голод.

Но благословенная весенняя пора прошла и для путника, и для скотины, и для пчелы. А благодати нет больше и в помине. Птички тщетно ищут зерен на сжатых полях и на запушенных дорогах, но не находят ничего.

Деревня ждала оценщиков.

Каждый феллах лежал на своем стоге и оберегал плоды своего труда — свой хлеб, хлеб на целый год. Но как будто проклятие аллаха было ниспослано на этот хлеб. Люди не могли воспользоваться этим хлебом, чтобы утолить свой голод. Железный закон власти, словно кнут, висящий над головой, строго-настрого запрещал брать сколько-нибудь хлеба до прихода оценщика.

Время от времени из ближайшего города приезжали толсторожие, краснощекие солдаты верхом на лихих откормленных лошадях. Они забирали из деревни для своих лошадей последний ячмень. И из последней овцы и единственной курицы, отнятой у феллаха, они готовили себе ужин. Солдаты рылись в домах, в сундуках, в сараях и в амбарах, искали, нет ли там следов молотьбы из нового урожая, нет ли хоть чего-нибудь, что напоминало бы свежую соломинку. Не примешаны ли к маисовым зернам, которые в корзине, зерна пшеницы нового урожая, не из нового ли урожая, с которого еще не снята десятина, хлеб в руках у детишек.

Мухтары<sup>1</sup> и деревенские старцы подстерегали, словно волки, своих собратьев-земляков, ночами бодрствовали, прислушивались, расспрашивали и узнавали, не берет ли кто-либо зерно из своего гумна домой. Ведь — чего греха таить — малышки-дети научились подкрадываться к гумнам и воровать зерно, прятаться сами и прятать украденное. Потом, подобно мышам в норах, они таились в щелях с куском в руках, чтобы не попасться никому на глаза.

А юношам, гордым, сильным, мужественным, не раз приходилось смиренно подставлять свои исхудалые щеки

---

<sup>1</sup> Мухтар — деревенский староста (турецк.).

тем, кто бил их по этим щекам. Бесстрашно, с упорством, с широко раскрытыми глазами, они прямо смотрели в лица солдат с толстыми подбородками и жирными затылками, которые осыпали их градом пощечин и оплеух.

Деревня ждала оценщиков, чтобы можно было есть не по-воровски свое, то, что вырастили собственные руки, плоды своего тяжелого труда.

## У т р о м

Деревня ждала. От утомительного выжидания время от жатвы до молотбы тянулось долго, бесконечно. Просыпавшиеся раскаленные дни тянулись лениво, словно были поражены солнечными ударами.

Жители деревни еще спали, за исключением тех, кто встал на утреннюю молитву. Жалкое стадо само, без всякого надзора, уже бродило за деревней, копалось, обнюхивало и искало то, что уже давно найти было нельзя. Маленькая истощенная телка украдкой направлялась к соломе и поедала ее с аппетитом, стараясь остаться незамеченной.

Первое, что предвещало восход солнца и появление нового дня в мире господнем, был скрип колодезного колеса, которое вертела пара узкоплечих волов с набухшими животами. Колесо тянуло вверх крученые из густолиственных веток веревки. Вытянутую воду вливали в мех. Веревка сильно скрипела, а звук несмазанного колеса был глухим и проникал в глубь колодца, отдаваясь там приглушенным эхом. Слишком сухие ярма на шее волов всякий раз потрескивали, словно хотели вот-вот лопнуть. В животах у волов, которые досыта напились после скудного завтрака, что-то урчало, и во время ходьбы от колодца к колодцу, туда и обратно, вверх и вниз их животы издавали такое хлюпанье, какое издает наполненный доверху кувшин.

Жители деревни начали вставать. Появились женщины с пустыми кувшинами на плечах. Они спускались к колодцу.

Кто-то с накинутой поверх головы абой направился за околицу, к кактусовым насаждениям, для отправления естественных надобностей.

Вокруг водоема была расставлена обувь мужчин, совершающих омовение перед молитвой. Обувь разная: старая и новая, рваная и целая.

Юноши, кто имел дурное обыкновение в горячую поле-вую пору не молиться, совершали теперь, от безделья, омо-вление ног у водоема перед утренней молитвой. Молились они наряду со взрослыми, с хаджи и дервишами, которые обыкновенно молятся долго, отдавая с трепетом положен-ное количество поклонов.

Притоптывая ногами по пути от колодца домой, жен-щины уже уносили свои красивые кувшины. А мужчина, который задержался у кактусов, медленно направился в де-ревню с пустым кувшином в руках, тяжело вздыхая от боли в животе и медленно, из-за слабости, двигая ногами, обутыми в тяжелые сандалии.

Волов уже распрягли.

Последний молящийся, который имел обыкновение мо-литься дольше всех, заканчивал молитву долгим пением, с особой страстностью, в которую вкладывал всю душу. Он отнял руки от глаз, но глаза его вследствие безгранич-ной верности и преданности аллаху продолжали оставаться закрытыми. С зажмуренными глазами и устами, продол-жающими тихо шептать, он сунул ноги в сандалии и мед-ленно зашагал по мощеной дорожке домой.

Между тем окончилась выпечка хлеба. Из печи начали вынимать душистые, румяные, шероховатые лепешки, вы-печенные то ли из одной маисовой муки, то ли из маисо-вой с примесью пшеничной. Каждый в зависимости от воз-раста получил свою долю: целую лепешку или половинку. Те, которые получили лепешку, осматривали ее со всех сторон жадно и с почтением. Отдав восхваление и благо-словение аллаху, они целовали лепешку, словно считали своим долгом ублажить хлеб. А перед тем как подносили ее ко рту, уста их шептали слова благодарности аллаху за его бесконечные милости. Лепешки они ели крайне остро-жно, собирая все крохи и запивая еду водой.

Снова в деревне воцарилось молчание — мучительно долгое, неопределенное и бесцельное молчание. Собравшиеся люди, зевая, начали искать место в тени возле западной стены дома. Старцы и юноши сидели, поджав под себя ноги, с нетерпением ожидая, не появится ли какой прохо-жий, кто рассказал бы им о том, что делается на белом свете.

Прошло немного времени, и на дороге показался осле-нок, словно вынырнувший из-под знойного облака. Рядом с ним следовал разносчик, торгующий зеленью. Кочуя со своим товаром с места на место, он случайно забрел и

сюда. Потом появился со своими мехами торговец маслом, он тоже остановился. Какой-то еврей из соседнего поселка, находясь здесь по делу, прошел мимо собравшихся.

Сидевшие у стены люди, как один человек, поднялись с места и сердечно приветствовали всех прибывших. Расстоячая мягкие и учтивые слова приветствия, они упрашивали пришельцев подсесть к ним.

Начались вежливые беседы, разумные, полные глубокого интереса.

— Как производится оценка в деревнях?

— Не упала ли в деревне цена на мелкий скот?

— А каков нынче урожай маслин и фигов в горах?

— А почему перець?

Вокруг чего и каким языком только не велись беседы! Произносились сложные, простые, высокопарные слова, рассказывались были и небылицы, басни и глупые сны. Один рассказ переплетался с другим, одна тема сменялась другой.

## Днем

Между тем становилось все жарче. Воздух словно задержал свое дыхание и замер. И рассказы становились какими-то обрывистыми, словно эхо чего-то происходящего вдали. Нить перестала связываться, одно звено перестало соединяться с другим, связь в разговорах потерялась. Кто-то первый накрылся абой с ног до головы, подложив сандалии под голову, и уснул. Этому примеру постепенно последовал второй, третий, четвертый. И вскоре все, уставшие до смерти от скуки и праздности, уснули.

Прибывший из соседней деревни еврей с остроконечной бородкой тоже уснул, закрыв лицо кепкой. Уснул и торговец маслом, издавая храп. Храпел уже и торговец зеленью, ловкий худощавый человек небольшого роста. Легкая улыбка появлялась временами на его лице. Кто знает, какой хороший подарок преподнес ему властелин снов.

Стоя уснули и ослы, опустив головы. Одно ухо у них свисало вниз, одна передняя нога слегка была согнута. Уснула телка, которая нашла себе место для отдыха среди людей. Где-то рядом спала гусыня, окруженная желтыми гусятами, которые лежали тихо, словно неживые.

А когда во всей деревне воцарилась тишина, откуда-то примчалась жужжащая пчела, вся в пыльце кактусовых



цветов. Белая голубка, которая несла полный клюв с зернами для своих птенцов, нарушила тишину движениями своих белых крыльев. А маленькая птичка упорхнула с соломинкой во рту, словно пряталась от спящего народа. Эта ноша слишком тяжела для нее. Поэтому она летит зигзагообразно, выбиваясь из последних сил, к примостившемуся на краю крыши гнезду.

## Вечером

Солнце клонилось к закату. Свежий ветер, подувший с моря, радовал душу, вознаграждая всех за перенесенный тяжелый знойный день.

Жители деревни в широких абах направились не спеша к заместителю мухтара, чтобы выпить у него чашечку кофе. Дурной вкус во рту от однообразной пищи исчез вместе со скукой тяжелого дня. К людям снова вернулось чувство собственной силы, уверенности: «Ничего страшного, мы пока не сдаемся!»

Крыльцо во дворе мухтара было вымыто, на полу были разостланы рогожи. Люди начали собираться и занимать места на рогожах, каждый в зависимости от возраста и положения. В ожидании черного кофе, который готовил для них деревенский служка на сухих диких травах, люди разговаривали друг с другом. Служка долго возился, ему с трудом удавалось варить кофе.

Беседы велись легкие, приятные, интересные. Откуда ни возьмись донесся слух, что оценщик уже поблизости. Слух о нем опережал его самого, словно черный ворон, предвещающий несчастье.

Один из юношей, который работал в ближайшей мошаве и вернулся домой ночевать, рассказывал, как происходила там оценка. Собравшиеся усадили юношу в центре и внимательно слушали его рассказ.

— Первым делом он подошел к стогу Юсуфа,— начал свой рассказ юноша,— и там тотчас же разгорелся спор.

«Во сколько оцениваешь его стог?» — спросил оценщик у мухтара.

«В двадцать кор<sup>1</sup>», — ответил мухтар.

---

<sup>1</sup> Кор — мера сыпучих тел, равная 359 литрам.

Тут оценщик лукаво улыбнулся и, посоветовавшись со своим писцом, объявил:

«Восемьдесят кор!»

Обе стороны начали спорить, произнося при этом всевозможные клятвы.

«Я готов продать весь стог за двадцать пять кор», — поклялся Юсуф.

«А я готов купить стог за семьдесят пять!» — стал клясться оценщик.

И так они торговались, пока оценщик не согласился наконец оценить стог в шестьдесят кор. Но люди оценивали его меньше сорока кор...

Когда Абу-Салуман услышал, что его стог хотят оценить в шестьдесят кор, лицо его налилось кровью, на губах показалась белая пена, он плюнул в сторону оценщика и убежал домой.

Стог Абу-Ибрахима оценили в пятьдесят кор, а в нем нет и тридцати. Услышав оценку, он схватил коня и хотел было умчаться на станцию, а там — дальше, в город, чтобы пожаловаться властям. Но его отговорили, почти насильно сняв с лошади. После долгих упрашиваний и клятв оценщик согласился снизить оценку до сорока кор.

Но когда оценщик подошел к стогу вдовы и сказал: «сорок кор», вдова сорвалась с места и, как раненая тигрица, набросилась на него:

«Пусть падут на твою голову сорок ударов, о грабитель, продавшийся за деньги. Неужели ты решил лишить моих детей куска хлеба?»

Спор чуть не перешел в драку. Все женщины пришли на помощь вдове, и торг прекратился. Решили направить делегатов в город к начальству.

Помощник мухтара находился все время в сторонке, молча пил кофе и внимательно прислушивался к разговорам. Его продолговатое лицо с маленькой, короткой бородкой и острыми, пронизывающими глазами — живой портрет подлинного бедуина.

Возле него, опираясь на локоть, лежал его старший сын. Мальчику было лет семь. Он был очень похож на мать — те же черные глаза, смуглые щеки, тонкие губы.

Мать мальчика была занята приготовлением ужина. На ней было старое, порванное платье, открывавшее ее голую

грудь — гордую грудь арабской женщины. В свое время муж уплатил за жену калым в сто двадцать золотых.

Прислушиваясь внимательно к разговорам, помощник мухтара думал о своем.

Еще в прошлом году, в тот ужасный год, когда все сожрали крысы, он продал свой мелкий скот, чтобы на вырученные деньги покрыть долги. Людям он говорил, что продал скот, так как пастбище не могло его прокормить.

В этом году у него стог небольшой, а ему предстоит внести десятину, уплатить налоги, вернуть долг государству да еще прожить до нового урожая. И одеться надо. Прежде всего надо купить платье жене, ведь она одета, как деревенская нищенка... И мальчику нужно купить шелковую одежду, какую подобает носить старшему сыну. Да и себе надо купить новую абу — старая совсем износилась, и чалму — в старой ходить уже стыдно.

Ведь, как-никак, он вхож и к евреям из ближайшей мошавы и с представителями власти встречается. Надо беречь свое достоинство. Имя его отца знали все до Хевронских гор. У него были и поля, и виноградники, и мелкий и крупный скот, и кобылицы, на которых он ездил верхом. От четырех жен после смерти отца осталось восемнадцать детей: двенадцать сыновей и шесть дочерей. Все они выросли сильными, с красивым станом, скромными и застенчивыми. Отец, бывало, брал в жены для своих сыновей самых красивых девушек из наиболее отдаленных местностей. Никакая цена его не удерживала, а дочерей он выдавал замуж вблизи родной деревни, не придавая особого значения калыму.

Но после смерти отца счастье повернулось к ним спиной и перешло к другой семье, с которой у них была вечная вражда. Эта семья состоит из одних обманщиков, коварных людей. Они явились сюда издалека и обосновались здесь прочно. Их огромное состояние нажито нечестным путем. И, как назло, власти назначили первым мухтаром одного из членов этой семьи.

Не только богатство и преуспеяние исчезли в семье, но и семья распалась, она лишилась своей короны. К отцу все относились с уважением, прислушивались к его слову. Он был для всех источником утешения, примирения и успокоения.

Теперь судьба возложила на него, самого младшего из сыновей, обязанность стать продолжателем дел отца, воз-

главить отцовский род, представлять деревню перед властями. Все это он обязан делать с сохранением собственного достоинства. Он обязан хорошо принимать гостей, посылать подарки на семейные праздники разным лицам. Должен уметь ладить с властями. Ему необходимо не только сохранять личное достоинство в сравнении с достоинством первого мухтара, но и прятать ненависть, как прячут меч, чтобы он не был виден из-под полы платья. Он не должен допустить, чтобы его противник взял когда-либо верх, несмотря на то, что тот старше его, разъезжает верхом на породистой кобылице, взял себе уже третью жену, привез из города три кресла для приемов и дал много денег под большие проценты евреям из соседней мошавы. Вот о чем думал сейчас помощник мухтара.

Но вот и наступил суровый час испытания. Кажется, оценщик явится сегодня. Сегодня жители деревни встали раньше обычного. Они раньше обычного закончили свои дела и в ожидании оценщиков уселись в тени под стеною одного дома. Их глаза смотрели в ту сторону, откуда должен был явиться оценщик.

Помощник мухтара тоже готовился к встрече. Как же ему сделать так, чтобы и собственное достоинство не уронить, и честь деревни отстоять?

Он хорошо знал оценщика и презирал его. Это был один из богатых людей Газы, один из разбогатевших феллахов и торгашей, которому сопутствовала удача. Своей жестокостью и бессердечием по отношению к феллахам он привлек внимание властей и завоевал их доверие.

Его ненавидели так, как только можно ненавидеть бессердечного врага. Его все презирали, будучи уверены, что он за деньги продаст всех и вся. Но он хитер, слишком хитер, чтобы попасть впросак. Он умел завоевывать доверие тех, кому подчинялся.

Помощник мухтара готовился словно к бою. Он оттачивал свои мысли, накапливал дерзость и силу духа, стремился придать своему лицу выражение непоколебимого достоинства. Он долго раздумывал над тем, что ему надеть для встречи с оценщиком. Вначале он надел праздничное платье, затем передумал и надел свою обыденную одежду и старую абу. Пусть эта свинья обидится за такой прием. Ведь нанести обиду оценщику хотела вся деревня.

И вот на дороге показались верховые на ослах. Они все ближе и ближе подъезжали к деревне. Это были оценщик и его писец. Оценщик был одет, как обычный городской торговец. Его лицо было начисто выбрито, как водится у верующих.

Писец был одет, как городской юноша: в ярком пиджаке, узких коротких брюках, в высокой, твердой феске, рубашке с галстуком, фиолетовых носках и коричневых блестящих ботинках.

Жители деревни встали, чтобы приветствовать прибывших. Но приветствия их были сдержанны. Помощник мухтара не сказал ни одного слова уважения, которыми он обычно встречал гостей. Все это заметили, и чувство растерянности охватило жителей деревни. Люди молчали и ждали, что же произойдет дальше.

Оценщик подмигнул писцу и, обращаясь к народу, сказал:

— Итак, пошли к стогам?

— Пошли! — ответил помощник мухтара твердым голосом. Двое юношей, перехватив его взгляд, схватили ослов и увели их во двор.

Народ всей массой хлынул к стогам.

Возглавили шествие помощник мухтара, оценщик и писец.

За ними шли наиболее почетные и уважаемые жители деревни. Все они были высокими, стройными, одетыми в высокие фески.

За ними шли старцы, в глазах которых светился ум, а на губах застыла ироническая улыбка.

За ними шли феллахи, одетые в зеленоватые или красноватые тюрбаны. Тут и хаджи и дервиши, чудотворцы и чревовещатели, глотатели мечей, священнослужители и погребальщики.

За ними следовали деревенские юноши из благородных семей, в шелковых, накинутых набекрень куфьях<sup>1</sup> с кисточками.

Далее шли ремесленники, рабочие, деревенские слуги, чья нагота была прикрыта грязными рубахами и грубыми мешками.

И казалось, будто народ торжественной, ликующей массой вышел на праздник и сейчас десятки овец будут заколоты.

<sup>1</sup> Куфья — шелковый головной платок.

И казалось, будто это встречают жениха, который с подарками для невесты возвращается из города в деревню.

И казалось, будто все вышли встречать эту невесту, которая едет верхом на верблюде, с покрытым чадрую лицом.

И казалось также, что они шли на бой: старцы и юноши, сильные и слабые, со скрытым под платьем оружием. И дерзость, и хитрость, и лукавство, и меткое острое слово, и лесть, и возвышенная речь — все, все здесь будет по мере надобности.

А женщины выходили из своих домов на улицу, чтобы посмотреть на это шествие. С бьющимися сердцами следили они за идущими мужчинами и молча сопровождали их немым благословением.

Вся деревня, старцы и юноши, шли бок о бок, будто на бой, на священный бой за единственную родину — за хлеб.



## Походный шелкопряд

— Если бы я не имел дела с этим поганым червячком и не знал бы о многолетней и ожесточенной войне, которая с ним ведется, я, друзья мои, не стоял бы сейчас перед вами и не рассказывал бы вам всей этой истории. И сейчас еще дрожь проходит по телу, когда я вспоминаю, сколько мы натерпелись из-за этого крохотного волосатого существа — да сотрется память о нем на веки вечные!

Произнося эту тираду, старый лесник Гилеад воздел руки к небу, как это делают иные священнослужители в молитвенном экстазе. Затем он вынул трубку, набил ее табаком и с удовольствием затянулся. Мы молча наблюдали за неторопливыми движениями старика, и наши ноздри щекотал горьковатый запах крепкого самосада.

Нас было полдюжины парней, все из окрестных селений. Мы собрались, чтобы обсудить некоторые актуальные проблемы лесоводства. Расположившись на пригорке вокруг старого лесника, мы смотрели на сосновый лесок, граничащий с безжизненной пустыней.

Выпустив изо рта несколько густых колец дыма, старик продолжал:

— Всмотритесь, пожалуйста, в коричневые, ржавые полосы на верхушках деревьев. Что вы там видите?

— Какие-то пряди! Мотки! Комья ваты! — воскликнули мы нестройным хором.

— Попали пальцем в небо! — усмехнулся старик. — Эти «пряди», «мотки» и «комья» — гнезда страшного вреди-

теля, походного шелкопряда, который пожирает всю хвою. Он причиняет нам колоссальные убытки, губит наши леса. А теперь, когда вы знаете, кто наш враг, давайте познакомимся с ним поближе.

Старик взялся за длинный шест с крючком на конце, зацепил им толстую ветку и пригнул к себе. Затем большими садовыми ножницами отрезал верхнюю часть ветки. Когда на землю упал большой клубок паутины, его лицо сразу стало сосредоточенным.

— Друзья! Сейчас мы с вами проникнем в гнездо шелкопряда. Прошу всех чуть-чуть отодвинуться, благо сей паразит не бог весть какое сокровище, чтобы хватать его, как горячие галушки. Смотрите, хозяева отнюдь не выражают бурной радости в связи с тем, что мы нагрянули к ним в гости. Смотрите, они заметались, как очумелые... Они возмущены, что мы нарушили их покой, которым они наслаждались после сытного ужина. От восхода до заката солнца эти обжоры движутся колоннами, друг за другом, строго соблюдая равнение. Длинный караван голодных прожорливых червей уничтожает все на своем пути. Набив брюхо душистыми иглами, они возвращаются в свои хорошо защищенные гнезда.

Старик приподнял свое морщинистое лицо, и в его голубых глазах заиграли озорные огоньки.

— Этакие нахалы! Смотрите, как они расположились в своем мягком и уютном гнезде, как безмятежно отдыхают после трудов праведных... «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...» А что, разве не так? Может быть, им надо думать о зарботке? Или о том, чтобы дать образование детям?.. Чего им, собственно говоря, не хватает? Жратвы — вдоволь, квартира — со всеми удобствами, без соседей и коммунальной кухни... Вот они и живут, не тужат...

Лесник снова разжег свою трубку и с явным удовольствием затянулся горьковатым дымком.

— Кхе, кхе, — закашлялся он и потом после короткой паузы продолжал: — И все же именно этот вредитель, именуемый походным шелкопрядом, это жалкое созданище, чья паутинка, попав на человеческую кожу, вызывает нарывы и мучительную боль, этот ничтожный червь выступил в роли миротворца между соседями, которые уже столько лет враждуют между собой. А дело было так... Но, прежде чем продолжать свой рассказ, я хотел бы, чтобы



вы взглянули вон туда,— старик показал рукой на смыкавшиеся с горизонтом далекие горы, обросшие сосняком.— Вы знаете, что этот лес находится уже по ту сторону границы. Так вот, после долгих поисков наши ученые пришли к выводу, что именно там появляются на свет божий бабочки походного шелкопряда, которые, как известно, летают куда им угодно, без виз и паспортов. Шелкопряд чихать хотел на всякого рода государственные границы. Он их просто не признает, благо занят одним делом — жратвой. И, что самое скверное, он свято блюдет библейскую заповедь — «плодитесь и размножайтесь...» Эти паразиты размножаются с такой быстротой, что стали бичом для наших лесов. И вот, когда лысины среди зеленых насаждений стали расти с угрожающей скоростью и число деревьев, оплетенных ядовитой паутиной, увеличивалось на глазах, наши лесники растерялись. Да и впрямь, что тут можно придумать? Но в конце концов все пришли к выводу, что коварный враг должен быть разгромлен, так сказать, в собственном логове, а именно: в том горном лесном массиве, что находится по ту сторону границы. Другого выхода нет. Но легко сказать, по ту сторону границы...

Старик вытер цветастым платком свое морщинистое, смуглое от солнца, обветренное лицо, глубоко вздохнул и продолжал:

— Как это осуществить? Как туда попасть? Как перейти границу? Пустые разговоры! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем пробить герметически закупоренные стены взаимного недоверия и подозрительности... Вот так, друзья мои... Да не покарает меня бог за крамольные речи!.. И все же, короче говоря, мы, лесники, не могли больше лишь смотреть сложа руки, как наши многолетние труды идут прахом. И мы возопили...

Гилеад погладил свои белоснежные усы и посмотрел на нас, как учитель на первоклассников.

— Вы, думаю, все знаете сказку про белого бычка? Наш вопль о помощи понесся по всем канцеляриям. Прошло немало времени, пока наконец нам не сообщили, что об этом уже доложено в «высоких сферах»... «Что ж, слава богу»,— сказали мы, лесники, и продолжали ждать и томиться. Ведь ничего другого нам не оставалось... Но походный шелкопряд — да сгинет память о нем! — не сидел в это время сложа руки, точнее говоря, сложа лапки. Он продолжал вести свои разбойничьи экспедиции и сыпал

во все стороны волосинками-паутинками, как ядовитыми стрелами. Когда уж совсем стало невмоготу, мы обратились к представителям Организации Объединенных Наций, ведь другого выхода у нас не было. Мы предложили организовать совместную карательную экспедицию вместе с нашими соседями по ту сторону границы против общего врага — походного шелкопряда. И снова началась волянка, как в сказке про белого бычка, и бог весть как долго бы это тянулось. Но случилось так, что наши, израильские, шелкопряды предприняли вылазку на соседскую территорию. При этом они применили, выражаясь по-военному, тактику выжженной земли... Лишь тогда заинтересованные стороны спохватились: дескать, пора сесть за стол переговоров, и чем раньше, тем лучше. Чтобы совместными усилиями одолеть общего врага. Понятно, что нелегко нам это далось. Сколько мы крови себе испортили, сколько нервов измотали, сколько сил потратили — не передать. Но своего добились: доказали, что жизненно необходимо и для нас и для них встретиться там, откуда исходит главная угроза. Ведь только тогда можно принять правильное решение и выиграть бой.

Старый лесник перевел дух, выбил из трубки пепел и снова закурил. Он на минуту сомкнул веки, подыскивая слова, чтобы выразить то, что давно, видно, наболело у него на душе.

— Сдается, что вы, ребята, не со вчерашнего дня знаете лесника Гилеада. Мои годы в Израиле пролетели как сон. Одна мечта была у меня всю жизнь — покрыть густыми лесами наши голые горы и безжизненные пространства пустынь. Еще при турках делались первые попытки облесения. Во время британского мандата количество лесов в стране немного увеличилось. Но вовсе не благодаря англичанам, а вопреки им. Именно тогда появились первые совместные еврейско-арабские общества по облесению страны. Да, да, именно в те годы евреи и арабы нередко работали рука об руку, с энтузиазмом сажали молодые деревья и любовно ухаживали за ними. Эти посадки были орошены, можно сказать, нашим общим потом. Мне кажется, что нет на свете другой работы, которая бы так сближала, как посадка леса, борьба за преобразование природы, за превращение пустыни в цветущий сад. Да, да, друзья мои, «были времена», как поется в песне. Сейчас это даже трудно себе представить...

Еще раз глубоко вздохнув, старик продолжал:

— И вот, как говорится, в один прекрасный день группа израильских специалистов-лесоводов во главе с мистером Сандерсом, представителем Объединенных Наций, шагала по направлению к границе. У меня от волнения шумело в голове, как в улье, и я даже не помню, как мы пересекли границу и вступили на асфальтированное шоссе, на котором не было ни души. Царила гнетущая тишина, лица моих спутников были напряжены. Зато лицо мистера Сандерса сияло, и весь он был в эту минуту воплощение самодовольства и чопорной важности. Через несколько минут мы заметили на другом конце шоссе группировку арабов в красивых головных повязках. Когда мы к ним приблизились, мистер Сандерс официально представил обе стороны друг другу. Мое внимание сразу привлекла стройная фигура пожилого араба в белой головной повязке, прикрывавшей и лицо. Я заметил, что и он не спускает с меня глаз. Но тут нас пригласили в просторный автобус, и мы стали усаживаться. В это время у заинтересовавшего меня мужчины повязка откинулась, и у меня сразу екнуло в груди.

— Саид! — воскликнул я пораженный.

— Гилеад? — слышалось в ответ, и наши объятия, объятия двух старых друзей, сомкнулись. В эту минуту я почувствовал, что какой-то комок застрял в горле и мешает мне говорить. По правде сказать, от неожиданности я не мог произнести ни слова. И мой друг Саид тоже был в расстроенных чувствах.

— Ты постарел, брат мой, — произнес он, горько вздохнув. — Очень постарел. Как быстро летят годы!

Я засыпал его вопросами:

— Как живешь? Как работается? Как семья?

Широкое, улыбающееся лицо Саида помрачнело и как будто даже осунулось; брови нахмурились, а глаза подернулись пеленой. После долгой паузы он сказал тихим голосом:

— Слава аллаху! Я работаю и своей работой доволен. И на заработки не жалуясь. Но судьба была со мной жестока. Почти вся моя семья погибла во время лесного пожара, когда в этих местах шли бои. В огне погибли и жена Амина, и сыновья. А дочурка скончалась у меня на руках. В один день я лишился самых близких людей, а мое «Ор-

линое гнездо» было разрушено. Вот так, брат мой,— закончил он с тяжким вздохом.

Я закрыл глаза. «Орлиное гнездо»... Сразу перед взором встал каменный домик на самом краю высокой скалы, вздымавшейся над лесным зеленым морем. Название «Орлиное гнездо» как нельзя лучше подходило и к обитателям этого домика — семье лесника Саида, многие годы охранявшего лесные богатства края. Я хорошо знал и его жену, рассудительную и гостеприимную Амину. Не раз она заботилась о моих удобствах и отдыхе, когда мне приходилось по делам службы навещать Саида. А какие славные были у них дети!.. Глядя на них, мне казалось, что и окрестные дикие скалы уже не выглядят так угрюмо...

Рассказчик был явно расстроен и на какое-то время даже забыл о своих слушателях. Но вскоре, овладев собой, он тихо произнес:

— Извините, друзья... Воспоминания... От них не так-то просто избавиться...

Спустя минуту это был прежний Гилеад, старый лесник, проживший всю свою долгую жизнь на лоне природы, простой, веселый и приветливый человек. Его переполняли воспоминания, и он испытывал необходимость высказаться.

Кто знает, как долго царила бы в автобусе напряженная атмосфера, прикрытая чрезмерной вежливостью, если бы не мистер Сандерс. Бесцеремонно разлегшись на переднем сиденье, вспотевший и изрядно уставший, он втолковывал шоферу:

— Эти паскудные черви, если хочешь знать, для вас божье благословенье. Каждый их волосок, каждая паутинка — это маленькая атомная бомба... А вы об этом не имеете ни малейшего понятия. Меня удивляет также, что мои хозяева из Нью-Йорка тоже не обращают на них внимания. А я бы мог поставлять на мировые рынки тонны пряжи по дешевке... Понятно, при условии, что меня повысили бы в звании и дали бы возможность на рождественские каникулы побывать дома, у своей старушки...

А шофера, видно, ничуть не удивляла болтовня американца. Он ответил ему, внешне соблюдая полную серьезность:

— Здорово придумано... Скорей запатентуйте ваше предложение, вы получите за него много долларов. И еще я советую вам наполнить свои чемоданы шелкопрядом и отправиться восвояси. Только нас оставьте в покое...

Невольно прислушиваясь к этой беседе, все пассажиры тихонько посмеивались. А мистер Сандерс, как ни в чем не бывало, будто вовсе и не его отбрил шофер, вынул из бокового кармана бутылку рома, сделал несколько глотков и продолжал разглагольствовать:

— Настанет день, когда вы воздвигнете памятник в честь мистера Сандерса энд компани, трудами которых будет достигнуто шелкопрядное процветание в этом заброшенном уголке земного шара. За ваше здоровье, господа! — И он опорожнил бутылку до дна.

Пассажирами вдруг овладело беспричинное веселье. Исчезла напряженность, и все разом непринужденно заговорили.

— Господа! — воскликнул кто-то из арабских делегатов. — Я предлагаю тут же объявить о премии имени мистера Сандерса за нахождение самого крупного гнезда вредителей...

— Что ж, я поддерживаю. Очень дельное предложение! — сказал, усмехаясь, один из членов израильской делегации. — Но при условии, что нашим людям будет разрешено свободно переходить границу...

— Ваши шелкопряды переходят границу, ни у кого не испрашивая разрешения, — в тон ему ответил какой-то араб и громко рассмеялся.

— Но то же делают и ваши диверсанты, — парировал удар под дружный хохот кто-то из израильтян.

Когда в результате шуточного «обмена любезностями» атмосфера вражды и отчужденности испарилась, наш энтомолог вынул из футляра фотоаппарат.

— Уважаемые коллеги! Я предлагаю запечатлеть на снимке сей исторический визит в вашу гостеприимную страну.

Идея понравилась. Все как один поднялись со своих мест и, когда машина остановилась, вышли на дорогу и столпились у автобуса в ожидании съемки. Но вдруг перед фотоаппаратом выросла грузная фигура мистера Сандерса. Прикрывая ладонью объектив, он произнес начальственным тоном:

— Согласно инструкции ООН, строжайше запрещено фотографировать в пограничной зоне.

Разочарованные, мы молча вошли в автобус, лишь один Зисман что-то весело насвистывал. Серdito взглянув на него, я спросил:

— Господин Зисман, чему вы так радуетесь?

— Я этого олуха обдурил,— ответил он мне шепотом подмигнув и стал возиться со своим аппаратом.

Когда наконец машина остановилась и мы, утомленные поездкой, вышли на свежий воздух, я так и застыл на месте, пораженный представшей передо мной панорамой. Мы находились в долине, в самой гуще леса. Прямо напротив нас вздымалась огромная скала, заросшая кустами и дикими вьющимися растениями. Когда мы с Саидом достигли домика, стоявшего на вершине скалы и сложенного из неотесанных камней, я, обессиленный, опустился на колоду, которая стояла у входа. Место показалось мне необитаемым, и велико было мое удивление, когда из хижины послышались звонкие голоса. Я взглянул на Саида. Его глаза вдруг оживились, в них засветилась радость. Он трижды ударил в ладоши, и по этому зову из хижины вышла стройная женщина с ребенком на руках.

— Захара, подойди сюда. Я хочу познакомить тебя со своим старым другом — лесником Гилеадом, о котором я так много тебе рассказывал.

Протянув руки к ребенку, он сказал с удивительной для его возраста нежностью:

— Амина, голубка моя, солнышко мое, пойдем к папе!

Спустя минуту сюда поднялась вся наша компания. Мы расселись на низких скамейках, и вскоре маленькие чашки горячего кофе обжигали нам пальцы. Быстро проглотив свой кофе, мистер Сандерс повалился на подстилку и вскоре захрапел с такой силой, будто у него в ноздрях гулял хамсин.

Все здесь дышало покоем. Побеленные известкой стены, скромная утварь, висячая люлька малышки — все создавало домашний уют. Но каждый раз, когда мимо меня проходила Захара, мне было как-то не по себе. Саид, видимо, это заметил и, нагнувшись ко мне, доверительно зашептал:

— Гилеад, взгляни на деревья. Ты видишь, как они пышно разрослись после пожара? Когда смотришь на них, кажется, что лес переживает сейчас свою вторую молодость... И я тоже. Более десяти лет прожил я бобылем на этой скале и все думал о погибших. Я ничего не замечал, не видел происходивших вокруг перемен. Днем и ночью я думал только об одном, всецело отдавшись страшным воспоминаниям. Но тем временем деревья сбросили

с себя обгоревшие лохмотья и облачились в новые зеленые халаты... Однажды рано утром, покинув свою нору, я вышел на ежедневный контрольный обход участка. И вдруг среди деревьев я увидел женскую фигуру. Это была Захара...

Гилеад прервал свой рассказ. Поглаживая длинный седой ус, он как-то странно смотрел на нас: один его глаз слегка косил, и в нем играла хитрая усмешка, а другой глядел серьезно, и взгляд его как бы тонул в бездонном печальном омуте...

— А сейчас, друзья мои, прервем нашу повесть,— вдруг объявил он.— Исповедь Саида оставим до следующего раза. Потому что, после того как кофе было выпито, наша объединенная комиссия лесоводов и энтомологов приступила к работе, а ее был непочатый край. Увлеченные делом, мы не замечали, как летит время. Довольно быстро были намечены первые совместные шаги в борьбе против проклятого шелкопряда — да сгинет он навеки с лица нашей земли! И при первом же обсуждении обнаружилась любопытная вещь — единомыслие во всем, что касалось нашей проблемы, стремление каждого сделать все что в его силах для успеха общего дела. Мы, евреи, были поражены врожденной интеллигентностью простых, малообразованных арабских лесников. Они же проявили большое уважение к знаниям и опыту своих израильских коллег. Да вас, вероятно, интересует, что случилось с мистером Сандерсом? Он вполне солидно отоспался на своей подстилке, а когда очухался, то долго смотрел на всех осолопевшими глазами, видимо не соображая, где находится. Затем он подошел к столу, за которым мы заседали, и уселся на самом почетном месте, как и подобает главному виновнику торжества. И так как сидел он тихо и никому не мешал, лишь время от времени противно рыгая, то, вероятно, никто бы и не обратил на него внимания, если бы не Зисман. Он вынул из внутреннего кармана две фотокарточки, которые вызвали у всех неудержимый приступ смеха. На одной мы узнали самих себя, схваченных объективом в тот момент, когда мы и не подозревали, что нас снимают, и потому позы у нас были самые непринужденные и даже довольно забавные. На второй фотографии Зисману удалось увековечить внушительный облик мистера Сандерса как раз в ту секунду, когда сей незадачливый представитель ООН ри-

нулся к фотоаппарату, запрещая снимать в пограничной зоне. Когда мистер Сандерс узрел самого себя с глупо вытянутыми руками, которыми пытался заслонить объектив аппарата, то не выдержал и заржал. И мы тоже надорвали животики, глядя на него и на его изображение. Понятно, что наш ловкач-энтомолог не зевал. Он использовал добродушное настроение нью-йоркского миротворца и нащелкал множество снимков, к вящему удовольствию всех присутствующих... Что? Вас удивляет поведение наших воинственных соседей, которые вдруг преодолели в себе чувства недоверия и подозрительности? Может быть, вы думаете, что я приукрасил свой рассказ и кормлю вас байками, высосанными из пальца?

Старый, седой как лунь лесник Гилеад с минутку вопросительно смотрел на нас, как бы ожидая ответа. Затем он снова заговорил, и в голосе его звучала глубокая убежденность:

— Ну, что ж, не верите — и бог с вами. Я на вас нисколько не сержусь. Если бы я сам не был участником этой экспедиции и собственными глазами не видел всего, о чем сейчас рассказываю, я бы, вероятно, тоже не поверил. И в этом нет ничего удивительного. Годами трудились люди, неглупые и рассудительные, над тем, чтобы разжигать вражду между двумя народами-соседями, которым волею судеб суждено жить в одном и том же уголке земного шара, на одной и той же земле и под одним и тем же небом. И вдруг, откуда ни возьмись, свалился на нашу голову крохотный червячок с ядовитой паутиной-волосинкой, которая губит леса и причиняет людям неисчислимые беды. И надо же такому случиться, что именно это ничтожное существо принесло на какое-то время долгожданное сотрудничество и взаимопонимание. Недаром люди говорят: мир висит на волоске... У нас же получилось так, что мир повис на паутинке... Когда же наконец он обретет более прочную основу?..





## Запертый сад<sup>1</sup>

Береле, Переле,  
Выйди ко мне! —

запели дети, встав на колени в кружок.

Потом они терпеливо ждали.

Но она не показывалась.

— Не бойся! Не бойся! — наперебой кричали дети.  
Но она, видно, боялась и не показывалась.

Долго и на все лады они уговаривали ее, потом устали и разбежались. Только Дори остался. Он решил дождаться.

И вот вначале показались крохотные рожки, на концах которых тускло поблескивали шарики. Рожки понемногу удлинялись, они дрожали, чувствуя воздух. Потом появилась на свет божий спиралевидная полоска, которая рывками, медленно ползла вперед по сухой земле, таща за собой маленькие обрывки листьев. Серая, студенистая полоска вытянулась примерно на четверть пальца — это было тельце живого существа. Оно внезапно перевернулось и начало двигаться на спине. Дори осторожно протянул палец и прикоснулся к рожкам. Они тотчас ушли внутрь.

---

<sup>1</sup> Выражение, заимствованное из «Песни песней» (гл. 4, стих 12). Возлюбленный обращается к любимой, называя ее «запертым садом», «замкнутым колодцем», «запечатанным источником», подчеркивая тем самым, как трудно познать душу другого человека.

Но, когда Дори убрал палец, рожки снова показались, и слизняк продолжал свой путь.

Дори улыбнулся.

— А-до-рам!

Отец Дори (он был единственным человеком, который называл сына полным именем) стоял у дверей дома. Дори подбежал к отцу.

— Папа! Она меня любит! Она меня совсем не боится!

Отец схватил мальчика в охапку и высоко поднял на вытянутых руках. Потом он рассказал сыну, как живут улитки, моллюски и слизняки, чем кормятся, кто их враги и кто друзья, как они борются за свое существование.

Выслушав отцовский рассказ, Дори очень огорчился и решил про себя, что когда станет взрослым, то разъяснит всем живым существам, что не надо быть злыми. Лучше пусть они поучатся у людей, как жить друг с другом в мире и согласии. Ну, хотя бы так, как его папа с мамой и все хорошие дети...

В один из жарких летних дней во время школьных каникул Дори поехал в деревню. Там был четырехугольный двор, окруженный каменной оградой. С восточной стороны к ограде примыкали сарай, птичник, овчарня. В западной части двора стоял жилой дом, возвышавшийся над всеми другими постройками. На длинную просторную веранду с деревянными перилами вели ступеньки. Внизу под верандой было подполье, у входа в которое стояла пустая собачья конура. Двор зарос травой, но по нему были протоптаны узкие тропинки. Они вели к жилому дому, на улицу и в поле.

Утром фермер собрал детей, дал каждому жестяной бачок и, указывая на поле, простиравшееся по ту сторону ограды, сказал:

— Кто соберет полную посудину, тот получит в субботу на целый день лошадь.

Дети с шумом разбежались во все стороны. Они взялись за дело с усердием пчел, собирающих нектар. Поле наполнилось легоньким постукиванием. Сотни улиток и жучков — пища для уток, медленно разгуливавших по двору, были собраны на земле, они со стуком падали в пустые бачки.

По мере того как бачки наполнялись, стук становился едва слышным. В полдень дети начали один за другим возвращаться во двор и показывать фермеру свою добычу.

Когда Дори вернулся с пустым бачком, все так и застыли от удивления. Но когда он стал в оправдание что-то лепетать и объяснять, это прозвучало, как нелепая шутка. Все так и покатались со смеху, а фермер сказал, что, может быть, Дори предпочитает пойти на кухню, потому что женщины нуждаются в помощнице, которая бы мыла посуду.

— А может быть, тебя, кстати, зовут не Дори, а Дорит<sup>1</sup>? — добавил он насмешливо.

Следующим летом Дори уже не поехал в деревню. В стране было неспокойно. Дороги обстреливались, всюду сновали на своих машинах английские солдаты. Мандатные власти ввели комендантский час.

Когда отец после обеда уходил в лабораторию, мать предупреждала его, чтобы он не задерживался и не забывал, что ровно в шесть — до наступления комендантского часа — нужно возвращаться домой. Отец говорил успокоительные слова, но всегда опаздывал и возвращался домой уже затемно. Он пробирался задами, карабкаясь через ограды, осторожно стучал в дверь кухни и победоносно улыбался перепуганной матери, глядевшей на него обиженными и осуждающими глазами.

Однажды вечером отец очень удачно завершил чрезвычайно сложный и ответственный эксперимент. Ему удалось закончить его быстрее, чем он предполагал. Отец на радостях отпраздновал это событие в своей лаборатории, приготовив напиток крепостью в 99°. Он использовал для этого, в частности, виноградную сахарозу, находившуюся в одной из его бесчисленных колбочек, и несколько капель какой-то ароматной жидкости, которая ему очень нравилась. Затем он снял свой халат, надел шляпу и вышел на улицу, насвистывая веселый мотив и наслаждаясь удивительной тишиной и полным безлюдьем. Далекие уличные фонари уходили в бесконечность. Кругом не было ни души.

---

<sup>1</sup> Дорит — женское имя.

Он неторопливо шел по тротуару, пока не показался его дом. Он уже подошел к воротам, когда из-за угла выскочила военная машина, набитая английскими солдатами. С громким скрежетом она остановилась у дома. Из машины выскочили два солдата и начали его избивать.

Сначала его били кулаками, а когда с головы у него слетела шляпа, ударили рукоятью пистолета. Дабы все осталось шито-крыто, в заключение прогремел выстрел... Из окон стали выглядывать люди, они увидели быстро удалявшуюся военную машину.

Позднее бездыханное тело отца было найдено у порога дома.

В июле Дори закончил гимназию, а в ноябре началась палестинская война. Четырьмя месяцами ранее он вступил в Пальмах<sup>1</sup>. Его часть находилась в Галилее.

Он жил в отдельной палатке, так как был командиром, главным же образом потому, что занимался составлением большой рельефной карты, она лежала тут же, на другой кровати. Местность, изображенная на карте, была в числе тех немногих, топографические карты которых не удалось своевременно получить, несмотря на то, что люди долго рылись в бумагах, похищенных в английских штабах, и в архивах картографического управления. И вот уже самим военным пришлось провести необходимые исследования и заняться составлением карты.

Дори решил сделать ее рельефной. Так будет нагляднее, она принесет больше пользы, да и делать ее интереснее — это было для него своего рода развлечение.

Ночью он выходил на местность, а по утрам наносил пометки на карту. Большую часть дня он был занят составлением карты, так как сроки были очень сжаты: до наступления дождей готовилась большая операция.

В центре карты находился холм, на котором стояло здание полиции. Севернее холма громоздилась стена крутых скал, снижавшихся по откосу к вади. Его русло шло по большой расселине с востока на запад. Южнее холма пролегла возвышенность, которую пересекали мягкие, плоские

---

<sup>1</sup> Пальмах — ударные боевые отряды тайно формировавшейся израильской армии.

долины, испещренные трещинами, образовавшимися от постоянных резких ветров, а также дождей, отвесно падавших на землю. Извилистые трещины, избородившие долины, напоминали больших многолапых пресмыкающихся. В юго-западной части высился холм, у подножия которого люди готовились к наступлению.

По прилегающему к нему вади надо было незаметно продвинуться вперед, пересечь долину, которая вела к холму, где находилось здание полиции, разделиться там на группы, а затем сосредоточиться в заранее намеченном пункте у дороги, — которая вела к воротам. Отсюда часть солдат должна была повернуть на запад и, прорвав проволочные заграждения, замкнуть кольцо в глубокой расщелине с севера.

Однажды утром в палатку зашел командир части. Он застал Дори за тщательной гравировкой одной из стратегических возвышенностей.

— Какая чепуха! — сказал командир. — Зачем ты возишься? Мы и так хорошо знаем эту возвышенность. Она же у нас, можно сказать, маячит под самым носом!

Дори поморщился.

— Я допустил ошибку, — сказал он, — когда нижний срез карты так приблизил к этой возвышенности. Если бы у меня осталось место, я, пожалуй, изобразил бы всю панораму.

— Какую панораму?

— Ты разве не замечаешь? — Дори улыбнулся и показал на возвышенность. — Это округлое нагромождение скал очень напоминает женский торс. Вглядишься получше. Тут будто девушка легла на живот и заснула. Было бы просто замечательно изобразить все тело. А ты как думаешь?

— Как я думаю? Но коли, как говорится, и хочется, и колется, ты можешь вернуться сюда после наступления и тогда заняться этой «девушкой»...

— Ты так думаешь?

— Послушай, Дори, перестань фантазировать. Если тебе и в самом деле невтерпех, то найди себе покладистую дурочку в нашей женской роте. Это, право, лучше, чем возиться с этой возвышенностью.

— Я в этом не уверен, — ответил Дори и снова взялся за дело.

Незадолго до окончания войны часть, в которой служил Дори, расположилась у границ северного Негева<sup>1</sup>. Теперь все люди были уже в форме. Обстановка коренным образом изменилась. Атмосфера лихорадочных приготовлений и тревог, предшествующая каждому сражению, уступила место скучным будням, множеству мелких дел, связанных с планомерной учебой, с заботой о людях, со снабжением и поддержанием дисциплины.

В одном из ночных боев, когда Дори, пригнувшись под огнем противника, бежал вперед к вражеским позициям, он споткнулся о тело убитого солдата из своего отряда. Это был восемнадцатилетний рыжий парень. Его грудь разворотила граната, но лицо осталось нетронутым, и глаза были открыты.

С тех пор у Дори появилась еще одна причина стараться как можно реже вспоминать эту ночь. Он был рад, когда получал от командования трудные задания, требовавшие большой затраты сил и времени. Тогда скорее приходили усталость и забвение.

...Перед боем Дори давал указания своим людям. Он говорил тихо, почти шепотом. В ту ночь, перед решительным наступлением на важный узел дорог, в долине между деревнями Хота и Каратия было очень тихо. И все же солдаты почти не слышали своего командира. Время от времени они переспрашивали: «Повторите, пожалуйста, мы не слышали». Дори сердился, начинал говорить громко, но потом снова переходил на шепот и опускал глаза. Трудное было время.

Ночь была невыносимо душной, и Дори заметил, что перед самым боем кое-кто из его людей снимал гимнастерки. Сердцем он чувствовал, что военная форма, как любая другая одежда, даже еще больше, придает людям уверенность, чувство относительной безопасности. И он испугался, что, когда кругом засвистят пули и появится гнетущее чувство незащищенности, обнаженные до пояса люди дрогнут и отступят. Поэтому он приказал надеть гимнастерки. Только немногие поняли смысл этого приказа и молча натянули рубахи.

Утром узел дорог был захвачен. По обе стороны шоссе лежали на земле смертельно уставшие солдаты — они спа-

---

<sup>1</sup> Негев — южная, пустынная часть Израиля.

ли там, где их застала заря. Другие разрушали последние вражеские укрепления.

Желтоватая бледность постепенно простиралась по небу.

Возле траншеи командного пункта кто-то, побывавший однажды в Испании, рассказывал любопытный случай с тореадором. Бык продырявил ему живот, все внутренности вывалились наружу. Бездыханный тореадор рухнул на землю. Но, прежде чем ошеломленные санитары успели опомниться и примчаться на арену с носилками, раздался рев многотысячной толпы: бык неспеша подошел к своей жертве и, мерно покачивая рогами, начал лизать мертвое лицо.

Дори хотел уяснить, действительно ли бык лизал лицо. Не слизывал ли он кровь, которая сочилась из раны?

— Нет, ист! — воскликнул рассказчик. — Я совершенно отчетливо помню, что он лизал лицо, а на лице не было никаких ран. Бык, видимо, хотел помириться с тореадором.

Дори вернулся в свой блиндаж. Вытерев рукавом потное, грязное лицо, он внезапно почувствовал смертельную усталость. Какая-то щемящая печаль, вырастая, как боль, постепенно охватывала все его существо. А мозг сверлила странная, нелепая мысль: если бы он, Дори, был быком, то, пожалуй, вышел бы сейчас на поле брани, чтобы помириться с убитыми египтянами и суданцами. Но он уже давно, кажется, сломлен и опустошен. Он, который жалел улиток и жучков, — все живое, — и хотел когда-то помешать им вести смертельную борьбу за существование, он, который мечтал все живые твари сделать гуманными и милосердными, сейчас сам воюет, сам убивает людей.

Профессор Ионатан Алони, декан биологического факультета, задержал в коридоре своего коллегу профессора Курта Мильбауэра.

— Скажи, пожалуйста, ты ведь здесь преподаешь с конца тридцатых годов... Как отвечали тебе когда-то студенты, записавшиеся на биологический факультет, когда ты их спрашивал, почему они избрали именно эту специальность?

Старик Мильбауэр улыбнулся и положил руку на плечо Алони.

— Ты, видно, идешь сейчас держать вступительную речь?

— Я совершенно растерян,— признался Алони.— Скажи, пожалуйста, что они тебе отвечали?

— Ответы были обычные. Они говорили, что хотят помочь человечеству, хотят посвятить себя науке... Ты же сам это знаешь.

— Странно. Я тоже так думал. Так оно и было. Но вот сейчас ни один так не ответил. Почти все отвечали примерно следующее: «Мне кажется, что я интересуюсь биологией». Или: «Я думаю, что это меня заинтересует». Или: «Возможно, это то, чего я ищу». Ты понял? Обрати внимание на слова: «мне кажется», «я думаю», «возможно»... Всюду звучат нотки сомнения, оговорки, дающие право всегда повернуть на сто восемьдесят градусов. Обрати внимание и на скромность и на осторожность этих ответов. Они говорят, как совершенно взрослые люди с большим жизненным опытом. Я бы даже сказал, как ученые мужи... Что за этим кроется? Большинство студентов — демобилизованные солдаты, участники войны. Может быть, все дело в этом?

Профессор Мильбауэр многозначительно поднял палец.

— Я должен предостеречь тебя. Держи с ними ухо остро.

Оба рассмеялись и разошлись в разные стороны. Алони еще немного задержался в коридоре, потом решительно открыл дверь лекционного зала.

Дори сидел во втором ряду и удивлялся охватившему его волнению. Так волновался он обычно перед боем, перед самыми первыми боями, когда он еще был в штатском и занимался своей картой. Что же произошло? Почему он так волнуется?

— Господа,— начал Алони, положив на кафедру портфель. Он погладил его рукой и обвел глазами аудиторию.— Вы приступаете ко второму году обучения. Следовательно, это продолжение, а не начало занятий, поэтому мне нет необходимости произносить вступительную речь. Но я уверен, что каждый из вас чувствует и понимает, что это продолжение, по сути, является все же началом. Мы начинаем как бы все заново. В прошлом году вы сидели рядом с теми, кто сейчас расстался с вами, избрав другой путь. Одни из них решили стать врачами, другие— физиками, химиками, математиками. Вы избрали биологию, и поэтому вы, по сути дела, стоите у порога новой жизни даже с чисто формальной точки зрения.



Очень скоро вы будете сидеть в лабораториях за бинокулярными микроскопами, которые дадут вам возможность наблюдать стереоскопически и в увеличенном изображении исследуемый материал. Все будет предельно наглядным. Вы будете рассматривать небольшую мушку длиной в три миллиметра под названием дрозофила. Затем вы будете изучать одну из клеток ее тельца и обнаружите в ядре каждой клетки так называемые хромосомы, то есть структуры, состоящие из нуклеиновых кислот и протеинов. Вы узнаете, что хромосомы есть в каждой клетке любого животного и растения. Мельчайшая часть хромосомы — единица наследственности — называется геном. Гены различны по величине и по форме. Расположены они в хромосоме в линейном порядке.

Во всем этом вы сможете убедиться собственными глазами, после того как проделаете ряд опытов. Затем мы подведем итоги, и тогда вы убедитесь, что хромосомы несут ответственность за наследование всех признаков животных и растений. Вы убедитесь также, что отдельные гены ответственны за определенные свойства организма. Далее, вы будете облучать дрозофилу рентгеновскими лучами и в потомстве облученных мушек обнаружите появление мутаций — наследственных изменений, и морфологических, и физиологических.

Но в это время, возможно, кое-кто из вас встанет и скажет мне: «Господин профессор, это неверно, что за свойства живого организма ответственны хромосомы. Свойства живого организма определяются средой и социальными условиями: физическими, психологическими, климатическими... Предположение, что свойства всего живого передаются по наследству, то есть силой, которая заключена в хромосомах и генах,— это предположение пессимистическое, оно приводит к отчаянию. Если в самом деле некуда деться от наследственности, какой же смысл во всех людских усилиях улучшить свою сущность и совершенствовать свою природу? Выходит, что человек должен сложить оружие и смиренно ждать приговора, вынесенного ему где-то там, в хромосомах и генах... Но мы, так скажете вы мне, верим в человека и в его достижения...»

Так или примерно так говорят нам и некоторые биологи. Им следует ответить. Поэтому я счел нужным предупредить вас и сообщить заранее, что под микроскопом я

не обнаружил ничего такого, что заставило бы меня хоть на йоту отойти от своих убеждений... Но пусть никто из вас не делает вывода, что я или мои товарищи по научной работе — люди, готовые впасть в отчаяние и потерять веру в человека и прогресс. Пусть никто из вас не подумает, что мы разуверились в силе обучения и воспитания и в лучшем будущем человечества. Подлинная прогрессивная наука никогда не поддерживала теорий, что человек плох и испорчен от рождения. И генетика никогда не выносила приговоров, ведущих к отчаянию, напротив, она всегда открывала новые горизонты, вселяла веру и надежду.

Нет в мире бóльших оптимистов, чем люди науки. Они всегда идут навстречу новым испытаниям, которые сулят принести благо людям и решение вековых вопросов... В вашем возрасте обычно уже кончают университет. Я знаю, что вам помешала война, и я позволю себе предположить — даже если это не совсем тактично с моей стороны говорить вам об этом открыто, — что некоторые из вас находятся в подавленном состоянии духа. Некоторые разуверились в том, во что ранее свято верили. Другие же пришли сюда со слабой надеждой обрести вновь нарушенный душевный покой.

Мне кажется, что я могу вам сказать кое-что утешительное. Это будет весть из того мира, куда вы сегодня вступаете. И мне кажется, что эта весть как бы адресована специально вам... Говорить или не говорить?

В зале воцарилась абсолютная тишина.

— Да или нет?

— Да! — загремел весь зал.

— Итак, вы были солдатами. Вы воевали. И вы боитесь, может быть даже подсознательно, что души ваши очерствели и стали невосприимчивыми к тому, что ранее было для вас святым. Вы боитесь звериных инстинктов, которые поднялись из глубины вашего «я», и вы спрашиваете самих себя: можно ли вернуть их на свое место? Выражаясь языком генетики, вы спрашиваете примерно так: «Кто мы? Каков груз нашей наследственности?» И я хочу сказать вам следующее.

Вскоре вам придется рассечь скальпелем живую лягушку или дрозофилу длиной в три миллиметра. И я заверяю вас, что руки у вас будут дрожать и сердца ваши будут биться сильнее. И если вы даже захотите казаться геро-

ями в глазах девушек — вам это не удастся. Вы будете грубо и плоско острить, браниться, произносить обидные слова, чтобы скрыть свое волнение. Ибо вы такие же, какими родились. Ваша наследственная основа не изменилась. Война не изменила вашей человеческой сущности...

Дори сидел в лаборатории перед бинокулярным микроскопом. Ему удалось отделить с помощью иглы клетку, выделяющую слюну у дрозофилы. Когда гусеница должна превратиться в куколку, непосредственно перед окукливанием, хромосом в ее слюнных железах в триста раз больше, чем у «взрослой» мухи. Это — самая подходящая стадия развития дрозофилы для генетического исследования, и Дори напряженно согнулся над стеклом, когда с улицы раздался мягкий свист.

— Сделай милость, — обратился он к товарищу, сидевшему рядом, — выйди на улицу. Там ждет меня девушка. Это она дает знак, что мне пора выходить. Зовут ее Хава. Скажи ей, что я приду через полчаса, что я сейчас очень-очень занят и не могу ни на секунду отойти от микроскопа. Пожалуйста, говори с ней помягче... Она на последнем курсе медицинского.

Хава взглянула на часики и нажала кнопку звонка. Она стояла возле большого дома в центре города. Врачи, желающие специализироваться по психологии, проходят обычно дополнительно, вне стен университета, курс психоанализа. Она избрала своим руководителем опытного врача, выходца из Германии, который, однако, не был силен в иврите. Хава решила про себя, что, если будет нужно, она заговорит с ним по-немецки.

— Здравствуйте, доктор!

— Здравствуйте, Хава. Заходите, пожалуйста.

Она положила свою сумку и присела на диван. Врач сделал знак, означавший, что она может начинать. Хава решила изложить свои мысли и наблюдения лаконично и ясно, самыми простыми словами.

— Сегодня, доктор, я расскажу вам кое-что интересное. Причем мне придется быть излишне откровенной, но я вынуждена это сделать.

Она откинулась на спинку дивана.

— Итак, со вчерашнего вечера и до утра я все время думала. Я не спала всю ночь. Слушайте меня внимательно. Есть у нас на втором курсе биологического один красивый парень. Да, очень красивый. Говорят, что во время войны он был беспощадным. Но если бы вы видели, как он смеется! Хотя возможно, что вы замечаете в людях совсем не то, что замечаю я. Во всяком случае, он мне нравится. У него тонкие руки пианиста... Нет, у пианистов обычно короткие, толстые пальцы, например у Стравинского на рисунке Пикассо. У моего парня пальцы тонкие, но крепкие. Ох, какие они крепкие...

Хава забыла о своем решении говорить на чистом литературном иврите. Ритм ее речи ускорился и незаметно перешел в сплошной галоп с короткими паузами.

— В конце концов мне наплевать на то, что о нем говорят. Меня сразу потянуло к нему, и я согласилась при первой же возможности встречаться с ним. И мы встречались, везде, где придется. В кафе, в клубе. Мы часто гуляли вместе. Вы знаете, что позавчера я сдала последние экзамены и решила по этому случаю устроить для себя небольшой праздник. Чтобы повеселиться как следует. И я сказала, что вечером зайду к нему и вытащу его из лаборатории. Но получилось так, что он сам пришел ко мне, хотя и позже. Он тогда был очень занят в лаборатории, но это неважно.

Я готовилась к его приходу. Нарядилась, причесалась. Долго вертелась у зеркала. У меня в комнате стоит большое зеркало, во всю стену. И я видела в нем не только свое лицо, но всю себя, все свое тело и думала: я тоже красивая. И еще были у меня разные мысли... Может быть, нескромные, преждевременные, но они сами приходят как-то в голову при подобных обстоятельствах... И вот он пришел.

Мы расцеловались. Он целовал меня молча, уверенно, не спеша... Вы, вероятно, понимаете, что я имею в виду? И все это время, представьте себе, он молчал. Кроме отрывистого «здравствуй», которое он произнес у дверей, больше ни звука... Мы целовались, я перебирала его волосы, ласкала их, взлохматила его шевелюру, потом пригласила ее руками. Я была очень счастлива. Я испытывала радость жизни. Неужели же он мог быть на войне жестоким?

А теперь я расскажу вам, как он заговорил со мною. Но это было уже потом, после того, как мы любили друг друга... или как это назвать... Я лежала на спине, прикрытая простыней, а он лежал рядом. Ему, должно быть, было жарко. Я открыла глаза и вижу — он смотрит на меня. Оперся на локоть, слегка приподнявшись, и не сводит с меня глаз. Я была убеждена, что он смотрит мне в глаза, но оказалось, он смотрит на мои губы. Я знаю, что они у меня не безобразны, и я спросила его, в чем дело. А теперь я точно передам его словами все, что он сказал мне. Он начал с такой фразы:

«Сегодня ночью шел дождь в Иудейской пустыне».

Я удивилась: к чему бы это? Но я ведь медичка, я сообразила.

«У тебя, вероятно, ревматизм, раз ты почувствовал дождь?»

Но я тут же поняла, что сказала глупость, и не знала, как мне выпутаться. Я приласкала его, а он сказал:

«Забудь свою медицину. Это совсем ни к чему».

Я почувствовала, что он как бы отдаляется от меня, хотя он даже не пошевелился. Это ощущение шло от выражения его лица — на нем появились сердитые складки, оно как бы сморщилось. Тогда я стала шептать ему самые ласковые слова: милый, любимый, желанный... Потом я призналась, что сболтнула про ревматизм, так как хотела его поддеть. Немного погодя, уже другим тоном, я спросила:

«А откуда все же ты знаешь, что там... в Иудейской пустыне ночью шел дождь?»

Он ответил:

«Это видно по твоим губам. Они покрашены, я целовал их, и краска вся сошла, остались еле заметные следы, словно трещинки... Видела ли ты когда-нибудь рельефную карту Иудейской пустыни? Видела ли ты, как дождь смывает бурю землю и несет ее в вади?»

Не правда ли, странно? Что вы на это скажете, доктор? А теперь слушайте дальше. Он сдернул с меня простыню и сказал:

«Если бы это было плодом, то я бы его вкусил».

«Что?» — спросила я. На сей раз я постаралась не впутывать сюда медицину. А он все смотрел на меня. Затем прикоснулся пальцем к моей груди и сказал:

«Знаешь, это — дерево».

«Ладно, пусть будет дерево», — подумала я. Далее, видно, последует объяснение. Я ждала, а он, опустив голову, стал целовать мою грудь и вдруг сказал, что на дереве есть колючки...

Затем мы несколько минут лежали молча, мне захотелось снова услышать его голос, и я спросила о дереве. Что он хотел этим сказать?

«Ты знаешь, как были созданы твои груди?» — шептал он.

Я пожала плечами и закрыла глаза в знак того, что не знаю.

«В Иудейской пустыне, среди дюн, — сказал он, — иногда бушуют песчаные бури. Ветры увлекают за собой пески. Они движутся наподобие плотного тумана со скоростью шестидесяти километров в час. Когда песок на своем пути встречает дерево, он начинает кружиться и собирается вокруг его ствола. Появляется сначала нечто вроде холмика. И холмик растет, растет. Проходит несколько дней — и дерева уже не видно. Только на вершине песчаного холма торчит мягкая веточка. И кажется, что так было всегда, испокон веков. Если ты взберешься на холмик, то найдешь там завядшие листья, они все уже побурели или стали коричневыми... Вот как были созданы твои груди».

Я слушала его очень внимательно. Внезапно у меня в голове мелькнула мысль, и я спросила:

«А что ты делаешь здесь, среди дюн?»

Видно, мне не следовало этого спрашивать, но я рада, что спросила, и сейчас вы поймете почему. Его лицо вдруг сделалось холодным, будто страшное воспоминание воскресло в мозгу, и он сказал:

«Я скитаюсь по пустыне и разрушаю на ней все живое, я стреляю, взрываю... Это закон войны... Вот что я делаю».

Я испугалась странной интонации, прозвучавшей в его голосе. Мне хотелось наконец понять, что он говорит. Чтобы не молчать, я ухватилась за его последние слова и по какой-то ассоциации поспешила ответить:

«Это не так! Ты не разрушаешь. Ты сеешь жизнь...»

Я знала, что говорю неправду. Ведь я позаботилась, чтобы не забеременеть. Он ответил:

«Да. Настанет день и для посева. Я надеюсь. Я в это верю».

И больше не сказал ни слова... Скажите, доктор, вам

это не напоминает старинную легенду о путнике? Помните? Всюду, куда он ступал, цвели цветы, слышалось пение птиц, но сам он шел, погруженный в печаль. Путник не знал, что, идя вперед, он сеял жизнь, и потому на сердце у него была глубокая скорбь.

Хава вышла на улицу. После полутемного кабинета улица показалась особенно светлой и веселой. У тротуара, на пустой площади, сгрудившись в кружок, стояли на коленях дети и пели:

Береле, Переле,  
Выйди ко мне!

Затем дети разбежались во все стороны. Только один остался. Он нагнулся к земле и бормотал что-то не то улитке, не то жучку.

Хава взглянула на мальчика, и его лицо показалось ей очень знакомым. Но она никак не могла припомнить, где видела это лицо раньше.



## Матрац

День тихо умирал в болоте. Молодая рыбацка пыталась уснуть и не могла; ее преследовали кошмары. Вспомнилась мать, письмо отца. Плохие вести шли от родственников. Она ворочалась с боку на бок и, приоткрыв глаза — кристально-чистые глаза девушки, совсем недавно ставшей женщиной, — вздохнула: «Какая жесткая постель! Хотя бы матрац был немного мягче!..» Заспанные глаза окинули недовольным взглядом низкие тонкие перегородки. «Как тяжело живется!.. Табуретка, старый диванчик и все, а вокруг — сплошная тьма... Когда же жизнь станет немного легче?»

Вечер опустился над рыбацким станом. Домашние утки, откликаясь на зов маленьких утят, недовольно кричали: «кра-кра». Утки то копошились у берега в тине, то выплывали на чистую воду и подолгу плавали. «Кра-кра» жаловались они. Неужели их снова запрут на ночь в сарай? И чего люди боятся? Ведь их сородичи, дикие утки, плавают в озере и день и ночь! И ничего. Зачем же их гонят в сарай, когда нет никакой опасности? Небо чистое, ни облачка.

— Кра-кра... — подражает уткам рыбацка, сидя на постели рядом со своим мужем. Она дрожит от холода.

— Тяжело тут нам.

— Не хнычь. Это юнцы так хнычат, когда отправляются в ночь на рыбалку, — прервал ее муж, не сердито, но строго.



Перед взором рыбачки возникают ночные картины на озере. Холодно, мокро. Невод в воде... Муж с товарищами в лодках. Они внимательно следят за неводом. И так до самого восхода солнца...

Рыбачка взглянула на мужа, на его длинные, костлявые, словно железные прутья, руки. Неприятное ощущение от наступающей ночи — холодной и болотистой ночи — развязало ей язык.

— Подумай только... даже матраца у нас нет... мягкого матраца, как у наших соседей по бараку. Вот меня и одолевают кошмарные сны. И мать и отца видела во сне. Что с ними теперь? — У нее на глаза набежали слезы.

— Будет у тебя матрац... будет. Завтра же, — от жалоб своей молодой жены сердце рыбака смягчилось. — Завтра рано утром отправимся вдвоем на лодке и... у нас будет матрац.

Вскоре зазвонил колокол, зовущий на ужин. Окрыленная надеждой рыбачка пошла в столовую, рядом с ней шагал ее длинноногий худощавый супруг. Она молчала, не желая больше портить ему настроение. А между тем поговорить надо было бы еще о многом.

Холод пробирался сквозь рифленые жестяные листы, заменяющие стены. Ветер приносил с озера плохие вести, предвещая приближение холодной зимы. Эхо разносило свист ветра с возвышавшихся напротив Голанских гор. Со стороны тростниковых зарослей на северном берегу озера доносилось чье-то завывание.

За ужином рыбачка едва прикоснулась к пище, муж же ел с аппетитом. Особенно он налегал на хлеб. Хлеб он ел любой: черствый, теплый и даже горячий, причем утверждал, что горячий хлеб — прекрасное средство от малярии.

— Как ты много ешь сегодня! — сказала с удивлением жена.

Холодный ветер, разгуливающий по столовой, пронизывал ее насквозь! Червь сомнения начинал подтачивать сердце: «Выполнит ли он свое обещание?»

— Будет матрац... будет... — твердо повторил рыбак, когда согрелся и у него прошел малярийный озноб.

Рыбачка начала готовиться к завтрашней поездке. Когда все сидели еще за столом и ужинали, она взяла со склада две буханки хлеба, несколько рыб, мешки, два ножа и немного посуды. «Куда они поедут завтра? На восток

или на север? Может быть, туда, где высоко в небе летают пеликаны, или же к устью озера?»

Они вернулись в барак. Уставший мужчина быстро уснул.

Когда солнце озарило своими первыми лучами склоны Голана и большое зеркало озера, они оба уже были на ногах. Муж, до пояса голый, решительно прыгнул в холодную воду, ловко подтянул лодку и взялся за весла.

— Может быть, поплывем туда? — указал он пальцем на густые заросли камыша, которые виднелись на противоположном берегу.

Рыбачка не ответила. Она сидела, наклонившись, на носу лодки и продолжала думать о родных, которые остались в Европе, подвергаясь ужасам варварской войны. «Неужели война докатилась и до них?» Она смотрела на озеро, на охотившихся нырков, на плавающих спокойными кругами диких уток, удалявшихся от них по мере приближения лодки, на цапель, стоящих, как часовые, которые вдруг вытягиваются и поднимаются вверх, на лебедей, плавающих с царственным величием на далеком плесе. Глядя на все это, она пыталась найти ответ на мучившие ее мысли.

— О знал бы ты, как я тревожусь! — начала тихо рыбачка.

— Сидела бы ты хоть теперь спокойно, — упрекнул ее муж, нахмурив брови. Он с трудом работал веслом среди зарослей кустарника — корневища растений терлись о дно лодки.

— Знал бы ты, какие ужасы преследуют меня по ночам! — продолжала рыбачка тихо жаловаться. — Временами мне кажется, что все мои родные уже убиты.

— Не отвлекай меня разговорами, а то мы можем тут застрять.

Многих усилий стоили рыбаку маневры по водяным дорожкам, чтобы не запутаться в водорослях и в кустах тысячелистника. Он напрягал все свои силы, продвигая лодку по илистому дну.

Рыбачка перестала делиться своими переживаниями. Ее охватил страх перед болотом — тут, чего доброго, вместе с лодкой засосет. И ступить некуда, все заросло папоротником. Здесь-то, наверно, и гнездятся мириады комаров, особенно ночью. А то, гляди, и дикий кабан бросится из зарослей. Но камыш стоял спокойно. Только зигзаго-

образная дорожка в нем указывала извилистое движение лодки. Вскоре лодка миновала заросли, теперь они плыли по узкой протоке, которая шла к Иордану.

— Здесь станем, держи весло! — коротко распоряжался рыбак. Положив весло, он ухватил несколько стеблей тростника, чтобы привязать к ним лодку.

Они остановились и тут же накинули на себя рогожу. На небе готовилось решительное сражение между черными тучами, висящими над головой, и налетевшим на них ветром. Первые капли дождя упали на зеленые заросли, словно намеревались свести на нет дерзкий замысел молодой четы.

Рыбак предложил жене перекусить, пока не пройдет гроза, и начал перечислять достоинства озера, около которого они нашли себе приют.

— Из сгнившего тростника образовались здесь в глубине толстые слои торфа, а торф нужен, всем нужен... Тростник мы будем резать, связывать в снопы и затем перерабатывать в рогожи. А из верхушек, которые напоминают шелковистые кисти, мы соорудим мягкую как пух постель, чтобы мягче было спать. Видишь, сколько еще достоинств у озера!

— А прокормит ли оно нас? — продолжала сомневаться рыбачка.

Пошел мелкий дождь. Они стали завтракать.

— Озеро многое дает, — сказал рыбак, продолжая развивать свою мысль и не обращая внимания на сомнения жены.

— Сможем ли мы прожить этим озером? — не унималась жена.

Они разрезали лежавшую на тарелке жареную рыбу. Веселые дождевые брызги разлетались во все стороны.

— Озеро — это настоящее сокровище.

«Все равно тяжело нам здесь будет», — подумала про себя рыбачка.

Все приготовленные блюда были съедены.

Как только небо немного просветлело, рыбак сорвался с места.

— Ну, пора за работу!

Словно два разбойника, они набросились с острыми ножами на мягкие верхушки камыша, откладывая в сторону самые лучшие и зеленые. Метелки, словно маленькие зон-

тики, одна за другой падали в кучу. Женщина собирала их, а мужчина набивал ими мешки.

— Мало, надо еще, — сказал рыбак.

— Даже если нарубим еще столько, кто знает, хватит ли для того, чтобы набить матрац? — шутливо высказала свои соображения рыбачка.

— Хватит... Безусловно, хватит... не волнуйся, — успокаивал ее рыбак, наслаждаясь очаровательной улыбкой, которая осветила лицо жены, и он начал работать с удвоенной энергией.

— Ха-ха-ха, — раздался ликующий смех молодой рыбачки. Кажется, ее пессимистическое настроение прошло. Все опасения рассеялись, как тучи перед ветром.

— Хо-хо-хо, — рассмеялся и рыбак, словно эта работа была игрой в сравнении с лозлею рыбы неводом.

Работа затянулась до вечера. Несколько мешков, плотно набитых мягкими верхушками, лежали на дне лодки, как пуховые подушки.

Дорога обратно оказалась куда длиннее. Плавание по заросшему водорослями озеру и среди камыша, верхушки которого волочились вслед за лодкой, было уже позади. Рыбак длинным шестом отталкивался от илистого дна и направлял лодку в сторону надежного берега. Дождевые тучи еще гуще обволокли небо темной тенью. Угрюмое озеро заволновалось от колыхавшего его ветра. Лодка вышла из узкого русла и снова очутилась среди летающих стай диких уток, предвещавших беду. Испуганные серебристые цапли кружились над водой.

Рыбачка, поглядывая на видневшийся вдали лагерь, озабоченно спросила:

— Неужели будет буря?

— Сиди посередине и сохраняй равновесие, — распорядился рыбак.

— А не настигнет ли она нас в дороге? — переспросила она.

— Самое трудное осталось позади, а теперь — вперед! — скомандовал мужчина.

Впереди вынырнул нырок и резко свернул в сторону. Дикая утка кружилась в воздухе на расстоянии ружейного выстрела.

Огни лагеря приближались. Показались низкие бараки. Вот и деревянная пристань, где надо причалить.

— Держись за веревку,— повелительным тоном сказал рыбак.

Пузатые мешки едва не выпали из лодки. Но товарищи, вышедшие рыбаку навстречу, помогли их выгрузить.

Лодку отвели на глубокое место, а то чего доброго буря ее выбросит на берег. Рыбачка ступила на землю, уже успокоившись. Молча, с улыбкою следила она за последними распоряжениями мужа. А сама про себя думала: «Теперь у нас будет матрац... Теперь можно будет после трудового дня поспать на мягкой постели... Может быть, и жизнь будет полегче, когда обоснуемся, обживемся. Мы ведь живем у озера, а оно источник нашего существования. Оно охранит нас от всяких невзгод».

Румье и Шалом<sup>1</sup>

Жена Циона Наама вернулась с работы вечером. Она служила прислугой. Тощая, болезненная, она еле держалась на ногах от усталости. Навстречу ей по улице шла орава малышей. Заметив ее еще издали, они со всех ног бросились к ней. Не прошло и минуты, как они уже окружили мать, толкая друг друга, хватаясь ручонками за ее платье,— шумная, веселая и непоседливая компания. Это были дети нищеты,— оборванные, в царапинах, ссадинах и синяках, вечно голодные, но не унывающие, чуть ли не с колыбели предоставленные самим себе, драчуны и забияки, всегда готовые принять на свою голову ругань и побои и не считающие это даже за наказание. С шумом и визгом, с взаимными жалобами и упреками, они сопровождали мать, наперебой выкладывая ей все свои детские обиды, будто эта слабая и худая женщина была их высшим судьей, беспристрастным и справедливым, который каждому воздаст должное—строго накажет нечестивых и наградит праведных.

Так гурьбой они дошли до дому.

Шестилетний Юсеф, которому на вид можно было дать не более четырех, низкорослый, худой, с перепачканным лицом и огромными глазами, теребил мать за руку, желая привлечь ее внимание.

<sup>1</sup> Действие рассказа происходит в конце 30-х—начале 40-х годов. В нем использована одна из сюжетных линий романа писателя «Живущая в садах».

— Мам, а мам! — тормошил он ее за платье, вертясь под ногами. — Нисим побил меня. Он толкнул меня в спину, а я упал лицом на пол и набил шишку...

— Я знаю, он плохой. — Мать погладила Юсефа по головке. — А я тебе говорила — не играй с ним.

— Я ему ничего не сделал, — продолжал Юсеф, и его огромные глаза еще больше округлились. — Он пришел и забрал мой хлеб.

— Вру-у-ун! — перебил Нисим и насупился. — Не слушай его, мама, он врет. Он первый схватил мою шапку и выбросил во двор.

Нисиму было лет девять, у него было выразительное и приятное лицо и быстрые умные глаза. Его мятая шапочка была сдвинута набекрень, а на лице играла озорная и чуть виноватая улыбка.

— Да, да, мама, — сказала Мазаль, беря у матери корзину. Она считала своим долгом вмешаться в спор, так как была самой старшей. Ей шел уже двенадцатый год, и на ней лежали все обязанности по дому и по уходу за малышами. Это была девочка с худеньким личиком, в разодранном платице, босая. — Я сама видела, как Нисим толкнул его в спину. Юсеф упал и так заорал, что можно было оглохнуть. Нисим прямо какой-то разбойник!

— А тебе чего надо? — пробормотал «разбойник», опустив глаза. — Ты тоже врешь!

— Нет, это ты врешь! Ты хотел отнять у него хлеб.

— Хлеб? — с деланным удивлением переспросил Нисим. — Очень нужен мне его хлеб.

— Ну, я-то тебя знаю! — повернулась к нему мать. — Ты у нас мастер на такие штучки!.. Говорила я вам, ведите себя смирно. А вы что делаете? Приставить к вам полицейского, что ли? Мало того, что я целый день работаю как вол, прихожу домой разбитая, без сил... и дома от вас ни минуты покоя нет. Только и слышишь крик да перебранку. Черт бы вас всех побрал!

— И она еще вмешивается! — набросился Нисим на сестру. — Она нас всегда бросает и уходит играть с подружками, а еще жалуется! Дрянная такая!..

— Хватит! — цыкнула на детей мать. — А как Саадия? Он ведь вел себя хорошо?

— Такой же разбойник, — ответила Мазаль. — Все время бегает по улице, с одной панели на другую. А кругом машины. Просто чудо, что до сих пор его не раздавило.

А сегодня опять чуть не попал под колеса. Он очень нехороший, мама. Если б ты знала! Срывает у детей шапки и бросает их на мостовую под автобусы, а дети бегут за шапками. Сегодня днем какая-то машина чуть было не раздавила сразу двоих!

— Чтоб тебе провалиться! — повернулась Наама к Саадия. Это был четырехлетний мальчуган, на вид тихий, даже застенчивый. — Это правда? Мне ты говоришь, что идешь в синагогу, а сам шляешься черт знает где. Я тебе всегда верила, а ты, оказывается, хулиган и обманщик!.. погоди, я тебе покажу!

Тут Наама увидела свою самую младшую дочурку, двухлетнюю рахитичную девочку с большим животом и кривыми ножками. Малышка ковыляла ей навстречу, переваливаясь с боку на бок, как утка.

— Иди, иди ко мне, маленькая моя! — Лицо матери просветлело. Она нагнулась и, взяв девочку на руки, стала ее целовать и нежно гладить. — Где ты была, радость моя? Чем кормила тебя сегодня твоя сестра, ненаглядная моя?

— Дай мне копеечку, хочу стручков, — пролепетала малышка, обвинив шею матери своими тоненькими ручонками. — Дай копеечку.

— Дать копеечку? Ты хочешь стручков? — Мать нежно прижала девочку к груди, покрывая поцелуями. — Пойди к лавочнику и скажи, чтобы он дал тебе стручков, а я потом с ним расплачусь.

— Не пойду! — Малышка сморщила личико; казалось, она вот-вот расплачется. — Он мне не даст.

— Даст, моя ненаглядная, не бойся. Нет у меня сейчас копеечки. А он даст. Он мне верит и всегда дает в долг. Я с ним вчера расплатилась. Ты скажи ему: «Мама просила дать мне стручков на копеечку». И он даст.

Когда они вошли в дом, дети схватили корзину и начали в ней рыться. Тщательно исследовав ее содержимое, они извлекли из корзины несколько помидоров, огурцов и кулек с чечевицей.

— Положите на место! — закричала на них Наама. — Это на ужин и на завтрак.

— Дай нам по полпомидора! — стали наперебой, жалостливыми голосами упрашивать ее дети.

— Нет, не сейчас. Обождите немного. Это на ужин. Каждый получит свою долю. А я еще сварю чечевицу. Я купила на рынке чечевицу.



— Пожалуйста, мамочка, по одной половинке, только по половинке,— настойчиво требовали дети.— Нам хочется сейчас.

Мать отрезала каждому из детей по ломтю хлеба и по половине помидора. Пока дети с аппетитом уплетали хлеб, она разожгла примус и поставила варить чечевицу. Потом зажгла лампу и стала собирать грязное белье, чтобы ночью, когда все уснут, заняться стиркой. Тем временем вернулась с работы ее старшая дочь, шестнадцатилетняя Румье.

— Хорошо, что ты пришла, доченька,— выпрямилась Наама, почувствовав, что у нее сильно ноет спина.— А то я уже совсем сбилась с ног. Как быть со стиркой? Взгляни только, какая груда! Я прямо полуживая, еле на ногах держусь. Когда мы успеем все это выстирать? Не иначе как ночью. Хорошо, что ты пришла, доченька. Ты мне можешь?

— Хорошо, мама, я тебе помогу,— ответила Румье, окруженная ребятишками, с шумом и гамом цеплявшимися за ее платье.— Я понимаю, тебе тяжело. Но сейчас я должна идти в вечернюю школу.

— Ох, ты, горе мое! — Наама в отчаянии всплеснула руками.— Кто же мне поможет? Взгляни, какая груда!

— Но я сейчас должна идти на занятия. Вот когда вернусь из школы, обязательно помогу.

— Наверно, после того, как я подохну, ты придешь мне помогать?..

— Что же делать?

— Ладно, иди, тебе виднее.— Теперь в голосе матери звучали не только нотки укоризны, но и одобрения. Выговаривая дочери, она в то же время как бы оправдывала ее.

Румье с минуту постояла в нерешительности, раздумывая, за что ей взяться. Потом торопливо вышла во двор и принесла два ведра воды. После этого она быстро переоделась, подкрасила губы, посматривая в ручное зеркальце, и вышла из дому.

— Ну и проваливай, принцесса! — сердито закричала ей вслед Мазаль, может, из чувства зависти, а может, из-за обиды за мать.— Проваливай, ты нам не нужна!

— Заткнись! Хватит! — набросилась на нее Наама.— Вылей лучше помой и принеси еще воды!

Комната, где жила семья Циона, служила одновременно и кухней, и спальней, и столовой. Она была узкой и длинной. Почти всю комнату занимали кровати с разно-

шерстными матрацами и одеялами. Сейчас комната была наполнена визгом и криком малышей. Заморив червячка, детвора была в отменном настроении, и в ожидании ужина каждый развлекался, как мог: одни громко спорили, пуская в ход кулачки и давая подножки, другие забирались под кровати, под стол и стулья, ползали, кувыркались, визжали. Для уставшей и истерзанной заботами матери этот шум был невыносим.

— Вы меня совсем доконаете! — закричала она, раздавая направо и налево подзатыльники. — И откуда эта напасть на мою голову! Пропади вы пропадом!

Тем временем пришел Цион. Лицо его было злым. Он не счел нужным даже поздороваться, давая всем почувствовать, что он здесь главный, муж своей жены, отец своих детей и все должны перед ним трепетать. Увидев отца, дети сразу притихли и забились в уголок.

Тем временем сварилась чечевица, вся семья собралась ужинать. Восседая во главе стола на самом почетном месте, Цион протянул руку к кастрюле. Но его опередила Наама: делая вид, что не замечает мужа, она разделила чечевицу на порции, но о муже, кажется, совсем забыла. И сразу же между супругами началась одна из тех стычек, которые давно стали в этом доме привычными и обыденными.

— Да сотрется твое имя среди отцов! — закричала Наама, побагровев от злости. — Ты только и знаешь пить да есть. И бессовестно жрешь все, что я готовлю детям.

— А ты что хотела, ведьма, чтоб я помер с голоду?

— Ну и подыхай! И откуда только ты взялся на мою голову? Детей-то ты умеешь делать, болячка тебе в бок, а вот позаботиться о них даже в голову не приходит!

— Что мне, идти воровать, что ли?

— Кабы искал, нашел бы работу! Было бы только желание! Как делают все люди? Достают хоть из-под земли, а домой приносят.

— Пошла ты ко всем чертям! Прямо злодейка какая-то!

— Сам ты злодей, если бросаешь на произвол судьбы собственных детей.

— А ты разве жена? Сука, да и только!

— Будь проклят тот день, когда я тебя увидела! — Наама вышла из-за стола и уселась на кровати; из глаз у нее полились слезы. — Никогда б не видеть твоей рожи! И какая мне от тебя польза? Я ведь работаю не ради тебя, а ради детей!..

Один за другим поднялись со своих мест дети и, угрюмые, с вытянутыми лицами, сбились в кучку возле матери. А самая маленькая, взобравшись на кровать, стала тормошить мать:

— Мам, а мам, зачем ты плачешь?

— Все из-за твоего отца,— ответила Наама, вытирая слезы.

— Она оплакивает живого папу,— уточнил со своего места Цион.

— Ну ладно, хватит! Марш по местам! И сразу же спать! — прикрикнула Наама на детей.

Мигом сбросив с себя жалкое тряпье, дети улеглись, встревоженные и возбужденные, не смея больше пикнуть.

Когда все уснули, Наама встала и занялась хозяйством. Она долго возилась вокруг жужжащего примуса, грела воду, что-то полоскала, мыла, терла, чистила. Груда грязного белья становилась меньше, а Румье все не возвращалась.

Наама погасила примус, задула лампу и легла на свое ложе между малышами. Несколько минут она ворочалась, и кровать под ней скрипела. Но вот она начала дремать. В это время к ней бесшумно подошел Цион и положил руку на ее высохшую грудь.

— Что тебе надо? — встрепенулась Наама, приподняв голову.

— Я только прикрыл тебя,— прошептал Цион, нагнувшись над ней.

— Ты с ума сошел! Убирайся к себе!

— А почему бы нам не побыть вместе?..

— Уходи! — повысила она голос.— Кобель!

— Ты разве не жена мне?

— Убирайся к черту! — оттолкнула она его ногой.

Ее голос разбудил детей, и Цион шмыгнул к себе под одеяло.

— Мам, а мам...— заговорила самая маленькая.— Что хотел папа?

— Он кобель! Он совсем с ума сошел! — вырвалось у нее.

— Он хотел тебя побить?

— Он сумасшедший. Спи, доченька, спи!

Наама и Румье были кормилицами всей семьи. К тому же на их плечах лежали все заботы о доме. Когда Румье

была еще совсем маленькой — ей едва минуло девять лет, — мать уже впрягла ее в работу, сделав своей помощницей. Так она и выросла, зная лишь утомительный и однообразный труд.

Она росла, лишенная всех радостей детства: игрушек и игр, беззаботного смеха, шалостей и проказ, веселья, ласки, общества подруг — всего, что так мило чуткому детскому сердцу. Она была худощавой смуглянкой, с выразительным, будто вырезанным из камня, лицом и чуть раскосыми глазами, горевшими, как у молодой необъезженной лошади. Взгляд ее был смелым и привлекательным. Ее черные, пышные волосы густо нависали надо лбом и были коротко подстрижены сзади. Губы у нее были, пожалуй, слишком пухлые, но рельефно очерченные и какие-то манящие, будто опаленные знойным ветром.

Ее нельзя было причислить к красавицам. Во всяком случае, такая красота не ценилась в квартале йеменитов, где жила Румье. Но все в ней удивляло и поражало, как удивляет и поражает прекрасный цветок, выросший в пустыне. Весь облик ее заставлял почему-то вспоминать первозданный дикий мир на заре человеческой истории.

По натуре Румье была веселой, жизнерадостной и очень приветливой. Она любила шутку, острое слово, легко сходилась с людьми и тянулась ко всему, что доставляет радость. Сильная и неумная жажда жизни была в ней ключом, изливаясь через край. Она была неистощима на выдумки и легкомысленные проказы. В часы досуга ее звонкий смех и задорные песенки звучали на всю улицу. Но счастливые минуты в ее жизни были очень редки. Непосильный труд, беспросветная нищета, отвратительные ссоры родителей надломили и ожесточили девушку, пригнули к земле ее голову, наложили неизгладимую печать грусти на выражение лица. Чаще всего она ходила хмурой и мрачной, подобно ненастному дню.

Не по годам рано Румье стала задумываться над разными жизненными проблемами и размышлять о таких вещах, которые были выше ее понимания. Ведь никто не учил ее, никто не наставлял, а она была девушкой наблюдательной и не могла не видеть, как много странного, непонятного и явно несправедливого происходит в мире.

Вот рядом два квартала. Они расположены на расстоянии десяти минут ходьбы друг от друга. Почему же так

по-разному живут в них люди?<sup>1</sup> — размышляла девушка. Один — широкий, просторный, чистый, другой — узкий, грязный, тесный. В одном люди пьют и едят досыта, в другом терпят муки голода. В одном царят радость и веселье, в другом — печаль и страдание. Почему? В чем тут дело? Там — избранные, а здесь — отверженные? Там — образованные, а здесь — круглые невежды? Там — праведники, а здесь — грешники? Может быть, так происходит потому, что одних бог любит и милует, а других ненавидит и карает?..

Румье не могла найти ответа на эти вопросы. Мысленно она протестовала, жаловалась, ожесточенно с кем-то спорила, но объяснения всему этому так и не находила. И в ее сердце зрела глухая вражда к жалкому кварталу, в котором она жила. Для нее он стал воплощением всего самого уродливого в жизни, злосчастным местом, где тебя на каждом шагу подстерегает беда. И она стала все настойчивее думать о том, как бы вырваться отсюда и изменить свою жизнь.

Время от времени она делилась своими мыслями с матерью, стараясь заручиться ее поддержкой.

— Вот мы все работаем и работаем, — жаловалась она. — А что я имею за свой каторжный труд? Учиться не училась и ничего не знаю. Выросла большой и осталась такой же глупой ослицей... Когда мои сверстницы учились, я работала прислужкой, нянчила чужих детей. Какой смысл в такой жизни? И вообще в нашем квартале среди этой голытьбы и нищеты чему я могу научиться? И чему люди добрые могут научиться у меня? Когда я ухожу на работу и покидаю наш квартал, у меня такое чувство, что я выхожу из выгребной ямы. Я по-другому начинаю дышать, ходить и совсем иначе себя чувствую. А когда после работы я возвращаюсь домой, то уже на полпути у меня начинает сжиматься сердце. Опять нужда, опять страдания, опять ругань... Сироты, вдовы, безнадзорные дети... Почему бог так гневается на наш несчастный квартал? Я этого не понимаю. Здесь о чем-нибудь веселом даже поговорить-то нельзя. Только заговоришь — и сразу сыплются на тебя охи да вздохи. Вот я и думаю, за что на мою долю выпало все это? За какие грехи? Нет, я так больше не могу. Как

---

<sup>1</sup> Речь идет о кварталах европейских евреев (их называют ашкеназитами) и евреев-йеменитов.

только стану чуть постарше, брошу все и убегу куда глаза глядят; уеду в другое место и буду жить по-человечески...

— Как же ты, доченька, оставишь нас? — с горестным недоумением спрашивала мать. — Ты наша опора, ты, слава господу, помогаешь семье. И мы надеемся, что недалек тот час, когда придет твой суженый и ты выйдешь замуж, заведешь свою семью...

— Вот ты умная, — отвечала Румье, — а рассуждаешь, как все бабы. Ты думаешь, что я когда-нибудь выйду замуж, да еще за йеменита? Да ни за что на свете! Чтобы я живьем полезла в могилу и загубила свою молодость? О замужестве ты лучше и не заикайся... Как ведут себя йемениты? Они живут, ни о чем не думая, и даже не хотят думать. Не то чтобы смотреть далеко вперед, они и о завтрашнем дне не позаботятся. Йемениту только бы плодить детей да тянуть арак. Это он умеет! Нет, мне не нужна такая жизнь. Лучше уж я останусь старой девой, чем так жить!

— А ты думаешь, что тебя возьмет ашкеназит? — с издевкой спросила Наама. — Нет, он возьмет образованную барышню из своих, а не тебя — худушую, темнокожую, малограмотную служанку.

— Я об этом не думаю, но и за йеменита никогда не пойду. Даже если бы мне угрожали виселицей. Вот, пожалуйста, живой пример — ты сама. Как ты выглядишь? Кожа да кости. А почему? За какие грехи? Потому что ты только работаешь да рожает детей... Разве так можно? Отвечай! Что же ты молчишь?

— А что поделаешь, доченька, — говорила Наама, глубоко вздыхая. — Такова воля божья. Такая судьба определена нам святым писанием. Мы ведь не такие, как ашкеназитки. Вместо того чтобы рожать детей, они делают черт знает что. Есть у них для этого всякого рода ухищрения, я даже не знаю какие. Разве они не могут рожать, как и мы? Да в десять раз больше! Ведь у них еды вдоволь, и какой только хочешь, — и сливки, и масло, и сыр, и мясо, и рыба... А молока у них больше, чем у нас воды... Вот они и нежатся. И куда только идет все это добро? А мы из другого теста. С первого дня рождения, можно сказать, наша пища — немного ячменя да полбы. Зато у нас много забот и хлопот. Вся наша жизнь — сплошное проклятие, а между тем чуть ли не каждый четверг мы рождаем детей. Почему так получается? Потому что мы свято блюдем

божьи заповеди, а всевышний повелел нам плодиться и размножаться. Если ашкеназиты не хотят выполнять эту заповедь, какое нам до них дело? Пусть себе не соблюдают, а мы обязаны! Слышишь, о-бя-за-ны!.. Такова воля всевышнего. Ты теперь уже совсем взрослая, все понимаешь, и я хочу, из любви к тебе, дочь моя, чтобы ты была такой же, как я, и свято соблюдала божьи заповеди. Придет время, и ты, с божьей помощью и его милостью, выйдешь замуж за йеменита. И тогда ты поймешь, что никто не может сравниться с йеменитом! Когда ты выйдешь замуж и вы останетесь вдвоем, ты услышишь, как он читает благословения! Ведь у нас ни шагу не делают без молитвы — все во имя святости господней и его заповедей. А ты думала, что лучше жить, как эти скоты ашкеназиты? Упаси тебя боже и помилуй! Йеменит к тебе не прикоснется без благодарственной молитвы, без благословения. У него лишь одна мысль — выполнить божью волю! Как же ты так говоришь, глупенькая...

Однажды Румье подошла на улице к группе девушек-йемениток, которые стояли на перекрестке и внимательно слушали какого-то парня. Румье тоже остановилась послушать, о чем он говорит.

Юноше было лет восемнадцать, он был чем-то крайне взволнован. Его поднятое кверху лицо казалось от загара коричневым, голова у него была обнажена<sup>1</sup>. Синий спортивный костюм — блуза и короткие брюки — сидел на нем очень складно.

Парень с жаром рассказывал о задачах трудовой молодежи и молодежных организаций, говорил о вечерних школах, о кибуцах и сельскохозяйственных кооперативах. Девушки забросали его вопросами, перебивая друг друга, перескакивая с пятого на десятое. Они спорили в меру своих сил и знаний, и чувствовалось, что им очень хочется подольше постоять тут и поговорить с этим незнакомым парнем. Парень охотно отвечал на все их вопросы, а попутно рассказал и о себе, о том, что ему самому пришлось испытать и пережить. Он рассказал и о том, как он и его друзья, такие же рабочие ребята, осели на землю и на

---

<sup>1</sup> Ходить с обнаженной головой, по представлению набожных евреев, грешно.

коллективных началах основали новое сельскохозяйственное поселение. Они вместе работают и живут сообща, хотя у каждого есть своя специальность. У них одна общая столовая, общий гардероб, общая касса...

— И нет никакого неравенства? — перебила его Румье.

— Неравенства? Между кем и кем? — удивленно спросил парень.

— Между членами вашего кибуца. Между одним человеком и другим. Между ашкеназитом и йеменитом или, скажем, курдом...

— Неравенства в кибуце нет и быть не может, — ответил парень.

— Рассказывай сказки... Даже в Гистадруте и то не все равны, — не отступала Румье. — Например, ашкеназиты и все остальные. Сколько в Гистадруте членов из восточных общин? Тысячи и тысячи! А вот все служащие Гистадрута — только ашкеназиты.

— Это верно, — согласился парень.

— Вот видишь! — с победоносным видом воскликнула девушка. — А это несправедливо.

— погоди, погоди, — пытался объяснить парень. — Ты сначала разберись, почему так получилось...

— Почему? Да очень просто. Потому что раньше всех сюда приехали ашкеназиты. Они организовали Гистадрут, они там и хозяйничают.

— Ты уверена?

— На все сто процентов.

— Ошибаешься. Ты только посмотри...

— Нет, не ошибаюсь! — перебила его Румье. — Все знают, что это так, и ты мне зубы не заговаривай... Везде у нас есть люди первого и второго сорта. Счастливики и неудачники, и в кибуце тоже. Возьмем хоть меня. Да разве я в кибуце превратилась бы в ашкеназитку? А ашкеназитки разве станут когда-нибудь такими смуглокожими, как я? И захочет ли парень из ашкеназитов жениться на мне? Он обязательно возьмет ашкеназитку.

— Почему ты так думаешь? А может быть, возьмет? — подзадорил ее парень.

— Почему, почему... Потому что соображать надо! — Резко повернувшись, Румье сбормовала спор и под дружный смех девушек пошла своей дорогой.

После этой встречи Румье несколько дней после работы не сразу шла домой, как это делала всегда, а про-



гуливалась по улицам, пока не наступало время занятий в вечерней школе. На душе у нее было тревожно, будто она чего-то ждала, а чего — и сама толком не знала.

Пестрая толпа двигалась по центральной улице, где-то смыкавшейся с небом. Улица то круто шла в гору, то плавно спускалась вниз. Подъемы чередовались со спусками, и горизонт то суживался, то расширялся, а дома, казалось, бежали наперегонки, сливаясь в бескрайней дали с горизонтом.

На главной улице в этот час было по-особому оживленно. Взад и вперед прогуливались парочки, гурьбой шествовали веселые компании, мелькали одинокие фигуры юношей и девушек, степенно двигались пожилые люди. Встречные потоки перекрещивались, сталкивались и наподобие ручейков растекались в разные стороны, раз-единяя, а затем вновь соединяя друзей и знакомых. Глядя на эту нарядную, жизнерадостную, смеющуюся толпу, можно было подумать, что на свете нет ни нужды, ни бедности, ни тяжкого труда, ни людских страданий. Румье казалось, что все эти люди созданы одновременно, в один и тот же час, и все они родились под счастливой звездой. Все они преуспевают, дела у них идут отлично, говорят они умно и интересно, и все как один приветливы, учтивы и желают друг другу только добра. Ничто их не тяготит, всем легко на душе. Всем, всем, кроме нее... Только она одна здесь несчастная, лишняя, никому не нужная... И нет для нее на всем свете ни счастья, ни радостей, ни добра. Ничего, ничего...

«Такая уж у меня доля,— тяжело вздохнув, подумала Румье.— И все потому, что я родилась у таких родителей и живу в этом проклятом квартале. И ничего не сделаешь, против судьбы не пойдешь».

Румье нырнула в самую гущу гуляющих и стала присматриваться. Много открывается наблюдательному глазу в предвечерний час, и особенно молодой, жадной к жизни девушке, когда она, предоставленная самой себе, бродит вот по такой шумной улице.

И кого только здесь ни встретишь! Вот идут расфранченные дамы, они напоминают какие-то диковинные розы, а вот те, плоские и сухопарые, подобны чадающим головешкам... Вот стройные пышнобедрые девушки, и тут же худые, изможденные, тощие, как палки. Она видит медлительных и быстрых, скромных и расфранченных, незамет-

ных и ярких, как цветочная клумба. Эти-то, видно, никогда и не рожали... А какие на них шляпки! Какие прически! А мужчины... Иные напоминают клоунов, на лицах других — печать глупости, эти так наклюкались, что еле держатся на ногах, а те, видно, настолько пусты и легкомысленны, что с ними и говорить-то не о чем...

Нет, все люди разные, это только с первого взгляда уличная толпа кажется чем-то единым.

Некоторые из проходящих поглядывают на Румье и при этом как-то странно подмигивают ей, словно куда-то приглашая. Их безмолвные намеки она отлично понимает. Попадаются и такие, что даже загораживают ей дорогу и шепчут на ухо комплименты.

Вот за ней увязалось несколько арабских парней.

— Куда спешишь, девушка?..— Слова их ласковы, а маслянистые глаза бесстыдно и цинично разглядывают ее.— Пойдем с нами! Мы покатаем тебя на такси!

— Отстаньте! — Румье ускорила шаг, оставив позади подвыпившую компанию.

Нудаил, суетливый старик-йеменит, которого можно встретить в любой час и в любом месте (может, его зовут Авраам или Иаков, но прозвали его Нудаилом). Увидев Румье на улице, он счел своим долгом подойти к ней и сказать:

— И ты, Зереш<sup>1</sup>, стала уже такой, как все? От горшка два вершка, а уж примчалась сюда... Так вот ты какая!

— Чего тебе надо от меня, Аман? — отпарировала Румье.— Старый козел, по бороде слюни текут, а вздумал меня учить уму-разуму.

— Ах ты, негодница! — выругался старик и затряс головой.

Две накрашенные женщины в пестрых платьях прошли мимо, виляя бедрами и обмахиваясь веерами. Они вызывающе громко говорили по-английски.

«Хвастаются, что умеют немного болтать по-иностранному,— неприязненно подумала Румье.— Видно, научились у английских солдат... Потаскухи! Если бы я захотела быть такой, то научилась бы говорить лучше!..»

Купив мороженого и осторожно слизывая его кончиком языка, Румье медленно продолжала свой путь. Она береж-

---

<sup>1</sup> Зереш — жена нечестивого Амана, который был, по библейскому преданию, первым министром персидского царя Артаксеркса.

но держала бумажный стаканчик с двумя сладкими и холодными шариками. Мороженое немного развеяло ее печаль и заставило на время забыть о снедающей ее тоске и о смутных, неосознанных желаниях.

«Ничего! — утешала она себя. — Попить, что ли, газированной водички?»

Она сошла с тротуара и направилась к киоску на противоположной стороне улицы... Но тут ей преградил дорогу велосипедист. Резко затормозив, он радостно воскликнул:

— Мириам!<sup>1</sup>

Это был тот самый парень, с которым она три дня тому назад вступила на улице в спор.

— Это ты? — с деланным удивлением спросила Румье и почему-то покраснела.

— Я самый. — Парень соскочил с велосипеда и протянул ей руку. — Здравствуй! Меня зовут Шалом. Третьего дня мы с тобой повздорили на улице. Помнишь?

— Помню.

— Ты куда идешь? — спросил он так просто, будто они уже давно знакомы и он в курсе всех ее дел.

— Вон туда, — она показала рукой в сторону киоска. — Выпить газированной водички.

— Ну что же! — Он улыбнулся, обнажив белые как снег зубы. — Пожалуй, и я выпью.

Провожая ее, он начал разговор на ту же тему, на какую они спорили при первой встрече. Он говорил, как заправский агитатор, у которого в запасе неиссякаемый источник убедительных доказательств.

Начало смеркаться. Шалом говорил все меньше и тише, потом и вовсе умолк. Так они шагали рядом, молчаливые, задумчивые, погруженные в странную грусть, будто возникшую от неумолимо надвигавшейся ночи.

Солнце медленно скрывалось за горизонтом. Небо раскололось на две половины, восточную и западную. На одной господствовал багряный закат, на другой появились синие, голубые, пурпурно-красные оттенки. Краски сгущались, постепенно захватывая и заполняя все пространство и придавая небу куполообразный вид. В вечерних сумерках по-особому светился каждый дом, и в низине и

---

<sup>1</sup> *Мириам* — соответствует йеменитской форме еврейского имени Румье.

на возвышенности. Каждый дом выступал отдельно, залитый красным, зеленым или фиолетовым светом, и было в этом что-то тревожное, предвещавшее бурю. Черепичные крыши загорелись ярко-красным огнем, отчего все они казались блестящими и немного влажными. Какая-то фиолетовая дымка опускалась на город, обволакивая все городские здания. Краски на небе непрерывно менялись. На смену яркому румянцу приходила фиолетовая бледность, багрянец сменялся густо-сиреневой краской, пурпур уступал место лимонной желтизне, светло-зеленый цвет оттеснял синеву... Мало-помалу все краски блекли и гасли, их смывала серовато-жемчужная бледность. Только на западном крае неба еще лежала кроваво-красная лужица, одинокая и грустная. В воздухе повеяло прохладой. Сильнее подул ветер, он порывисто налетал и исчезал, чтобы через минуту снова напомнить о себе. Становилось все темнее, небо начало сливаться с землей. Мир словно распался на глазах, все реальное и сущее исчезало, уступая место таинственному и непонятному. Вот уже не видно ни людей, ни улиц, все как бы растворилось в ночной тьме; остались только пустота да воспоминания о промелькнувшей жизни на земле...

Из груди Шалома вырвался вздох, и он едва слышно произнес:

— Да... До чего хороша наша страна!

Румье ничего не ответила. Она медленно шла рядом, думая о чем-то своем, сокровенном. Дойдя до здания вечерней школы, они остановились.

— Вот я и пришла,— сказала тихо Румье чуть охрипшим голосом.— Мне пора...

С тех пор они стали постоянно гулять вместе. Каждый день после работы они встречались и говорили о жизни, о волнующих их проблемах и сами не заметили, как со всем пылом юности полюбили друг друга.

Румье преобразилась. Ее как будто подменили. Девушке теперь казалось, что весь мир создан для нее одной. На смену печали пришли радость, мечты о счастье, волшебные грезы, беспричинное веселье, сладостная грусть и все прочее, что в таких случаях наполняет юное сердце..

Каждый день они гуляли до поздней ночи. Ночная тьма сближала их, оберегала от нескромных взоров. Ночь как бы наделяла влюбленных своими тайнами, а звезды

в небе, казалось, только для того и были созданы, чтобы светить им. Продолжительные беседы чередовались горячими объятиями и пламенными, обжигающими поцелуями, от которых кружилась голова.

Наама почувствовала, что ее дочь точно попутала нечистая сила. Неспроста ведь лицо Румье теперь всегда светится, стан выпрямился, и всем, решительно всем на свете она сейчас довольна. Неспроста она стала такой чувствительной и даже чуть растерянной, хотя внутри у нее — мать это видит — пылает огонь. И рассуждает Румье уже не так, как раньше, и большую часть ночи проводит неизвестно где... Тут что-то неладно. И все же Наама сочла нужным некоторое время молча понаблюдать и не вмешиваться. Она ждала, пока дочь не заговорит сама.

Но вот однажды Наама встретила ее на улице в обществе какого-то юноши. Подозвав дочь, она спросила:

— Кто этот парень?

Румье не успела ответить. Шалом заговорил первым.

— Я сын Мусы Машраки. Вы, наверно, знали мою семью.

— Сын Мусы? — Наама посмотрела на него с удивлением. — Твоя мать Захара, дочь Мари Харуна? Ваш дом стоял в конце Альмашмаа? Как же, помню, помню. Я хорошо знала вашу семью. Когда вы сюда переехали?

— Я приехал один. Шесть лет тому назад, — ответил Шалом. — Вместе с семьей моего дяди. А родители остались пока в Йемене.

— Вот оно что... — Наама опустила глаза, и на лице ее появилось выражение печали, смешанное с недоумением. — Ты оставил своих родителей? Бедные! Да поможет им бог тоже приехать в страну израильскую.

— Будем надеяться.

— А чем ты занимаешься? Нашел работу?

— Да, мама, он работает, — вступила в разговор Румье. — Он устроился через рабочую молодежную организацию.

— А это что такое?

— Есть такая организация в Иерусалиме, мама, — торпливо пояснила Румье. — Он очень хорошо устроился, — добавила она заискивающе.

— И много зарабатываешь? — в голосе Наамы звучали скептические нотки.

— Ничего. По крайней мере я ни в чем не нуждаюсь.

Немного подумав, Наама решительно сказала:

— Хватит, доченька, гулять. Скорее возвращайся домой.

Эту ночь Нааму терзали тревожные думы. Она сидела во дворе при свете луны и не то дремала, не то бодрствовала — все ждала возвращения Румье. Раза три-четыре она открывала калитку и прислушивалась к ночной тишине, надеясь, что вот-вот услышит шаги дочери.

— Где она так долго пропадает? — вздыхала Наама.— Так долго, так долго... Вот беда... Я совсем засыпаю, а ее все нет.

Зевая и пошатываясь, как пьяная, она добрела до своей кровати, упала на нее и мгновенно погрузилась в небытие.

Еще дня три Наама терпеливо ждала, надеясь, что дочь образумится. Но Румье как ни в чем не бывало продолжала гулять допоздна, и мать решила с ней серьезно поговорить.

— Что с тобой происходит, доченька? Каждую ночь сердце мое объято тревогой. Каждую ночь жду не дождусь твоего возвращения. А ты будто ничего не замечаешь. Да вразумит тебя всевышний!

— Тебе нечего беспокоиться, мама,— спокойно, как равная равной, ответила Румье.— Ты все еще считаешь меня девочкой? Выйди и посмотри, сколько народу гуляет на улицах по вечерам. Молодежь шутит, веселится, поет, танцует... Ты хочешь, чтобы я жила, как старушка, и ложилась спать с петухами? Ничего, я могу себе позволить погулять даже после полуночи. Всюду полно людей, и тебе нечего за меня беспокоиться.

— А обо мне ты подумала? Я из-за тебя не сплю ночи напролет! — набросилась на нее с упреками мать.— Как я могу уснуть, когда ты шляешься неведомо где!

— Ты можешь спать спокойно. И знай, что ничего плохого со мной не случится,— резко оборвала мать Румье.— Я хочу быть такой, как все. Сотни девушек гуляют вечерами на улицах.

— Нет, нет, дочь моя. Я с тобой не согласна. Я хочу, чтобы ты ложилась спать вовремя. Тебе надо хорошенько отдыхать. Если человек высыпается, то утром чувствует себя бодро и может снова работать. К чему эти прогулки?

— Но если мне не хочется спать? Зачем же я буду ложиться? Лучше уж погулять и подышать свежим воздухом.

— Нет, нет и нет! — не соглашалась Наама. — К тому же ты ложишься спать на голодный желудок. Когда последний раз тебя кормит хозяйка? Днем. А в полночь тебе снова хочется есть, но дома уже ничего нет. И ты ложишься голодной, а это очень вредно. Голодному всегда снятся нехорошие сны и приходят на ум дурные мысли.

— У меня и в помине нет дурных мыслей. — Румье суетливо заерзала на месте, чувствуя, что она виновата перед матерью. — У меня только хорошие мысли. Одни только хорошие!

— Только хорошие? — Наама крепко сжала зубы, и лицо ее побледнело. — Значит, любовь? Да? Так я и знала. Значит, не зря я так беспокоюсь.

— Я ведь уже сказала тебе: не беспокойся. А если даже я и в самом деле влюблюсь, в этом ничего плохого нет. Я такая же, как все. Разве ты в моем возрасте не была влюблена? Ведь ты в мои годы была уже замужем.

— Да накажет меня бог, если со мной было что-нибудь подобное! — испуганно всплеснула руками Наама. — Клянись тебе, что я никогда ни с кем не гуляла и никого не любила. Упаси боже! Когда родители заметили, что я уже взрослая, они, не мешкая, повели меня прямо под венец... А до этого я твоего отца и не знала. Какой он, красивый или урод, высокий или маленький... Они сами мне его нашли. Нет, у нас все было не так, как теперь. Несчастное ваше поколение! Еще до свадьбы вы знакомитесь и гуляете, судите и рядите, какой парень или девушка кому нравится. Будто это одежда, или овощи, или посуда и можно торговаться с лавочником: этот, мол, не хорош, тот с гнильцой, а у той трещинка... Нынче парень не женится, пока не погуляет с дюжиной девушек. Бросает одну, берет другую, потом третью... Будто яйца покупает на рынке: это свежее, а то несвежее...

— Мама, ты свою жизнь прожила, — перебила ее Румье, — а у меня вся жизнь впереди. Неужели ты хочешь, чтобы я была такой же, как ты? Если бы все еврейские девушки были такие, как ты, не было бы нашего народа, не было бы у нас и своей страны. И вообще... Какой смысл в замужестве, если ты даже не знаешь своего суженого?

Не знаешь его характера, наклонностей, привычек. Прежде всего надо хорошо узнать друг друга, а уж потом, если любишь, можно и под венец идти. Но выходить замуж неизвестно за кого, не испытывая к нему никакого чувства, только бы выйти замуж,— вот уж нет! Ни в коем случае!

— Вот это, доченька, меня больше всего и пугает. Потому я и хочу поговорить с тобой откровенно, по душам. Твои рассуждения меня очень огорчают. Нехорошо, нехорошо...

— Какие рассуждения? — пожалала Румье плечами, и лицо ее стало недовольным.

— А вот какие,— сказала Наама, прижимая к груди свои худые руки.— Знай, доченька, что всюду, где замешана любовь, тебя ждут одни несчастья, обман, беда...

Наама замолчала, углубившись в свои мысли и вперив невидящие глаза в пространство. Лицо ее выражало глубокую скорбь.

— Сколько бед приносит любовь,— продолжала она затем тихим голосом.— Люди ждут от любви счастья и радости. Но беда не принесет счастья. А одна беда тянет за собой другую... И так всегда, дочь моя. Возьми, к примеру, девушек-ашкеназиток. Все до единой они бездельницы и лентяйки, нет у них никаких обязанностей. У них только одно занятие: наряжаться да выбирать, в кого бы влюбиться. Именно поэтому они все свое время тратят на пустое баловство и разгуливают по улицам с парнями. И ты видишь, что из этого получается. Но мы — совсем другое. И обычаи и нравы у нас другие. Прежде всего, чтобы заработать на жизнь, мы должны трудиться с утра до ночи, пока силы есть. Нет у нас времени для разных глупостей, и потому мы не должны брать пример с ашкеназиток. И вообще мы не должны обращать на них внимания. И только когда наступает время замужества, мы обязаны выйти замуж, дабы выполнить божью заповедь, как сказано в писании,— и это все. Всемогуший — да будет имя его благословенно! — сочетает брачующихся, дает им пропитание и средства к жизни. Выходит, что нам есть на кого положиться. Но они, ашкеназитки, надеются только на самих себя да на свои амуры, а это все воздушные замки, сущая ерунда. Разве может человек полагаться на свои чувства и на этом строить жизнь? Даже на деньги нельзя полагаться. А у нас есть верная опора, потому



что мы уповаем на бога и живем согласно его святому учению. Взгляни, сколько вокруг тебя обманутых девушек, из тех, что влюблялись. Вначале парень говорит: «Пойдем погуляем». Потом приглашает: «Не сходим ли в кино?» Затем уговаривает: «Поедем за город, подышим свежим воздухом». А что в конце концов получается? Это ты сама хорошо знаешь. У одной живот вспух, как бочка, у другой уже ребенок на руках, хотя мужа нет и не на кого опереться, не от кого ждать помощи. А третья пошла по рукам — разгуливает с англичанами, и кто знает, какие болячки грызут ее по ночам. А та из дому ушла, прозябает в Яффе в каком-нибудь кафе. Да возьми хоть Хамаму. Ты знаешь, какие шуточки уже отпускают по ее адресу, — живот-то у нее, что ни день, все больше становится. А она притворяется дурочкой, говорит, что у нее глисты... Вот так глисты! Ей пеленки впору готовить... И все это плоды твоей любви. Но ты ведь моя дочь, и я знаю, я верю, что никогда черт тебя не попутает. Помилуй и сохрани нас господь! С божьей помощью мы скоро отпразднуем твою свадьбу, и я еще буду нянчить внучат. К чему же тогда эти глупости, о которых ты болтаешь? Не нужно все это, прошу тебя! Такими сотворил нас господь, благословенно имя его, так жили наши предки, таков путь, которым мы идем, чтобы праведно прожить на земле и заслужить божью милость в загробной жизни.

Так говорила Наама. Румье слушала ее молча, с поникшей головой. Вокруг стояла тяжелая, гнетущая тишина, и было в этой тишине нечто более значительное, чем то, что сказала мать. Румье чудился чей-то зловеющий шепот, заставлявший ее о многом задуматься и еще раз мысленно отчитаться перед своей совестью. Девушка чувствовала себя разбитой и опустошенной. К горлу подкатывался противный комок.

Совершенно случайно Румье досталась импортная пижама. То была модная американская пижама, яркая, цветастая, и девушке казалось, что такой другой нет на свете. Не пижама, а загляденье!

Но, видно, правы были наши мудрецы, изрекая: «Есть зубы — нет хлеба, есть хлеб — нет зубов!..» Румье стала

обладательницей пижамы и... потеряла работу — поссорилась со своей «госпожой». И несмотря на это, кажется, не было на свете человека, который бы так радовался, как Румье, получившая в дар заморскую пижаму.

...Однажды вечером девушка вернулась с работы, держа в руках маленький сверток. С шумом распахнув двери, она выпала:

— Все! Я пришла совсем.

Наама с удивлением посмотрела на нее.

— Совсем? Почему? Ничего не понимаю.

— С ума можно сойти! Ты только подумай! — начала взволнованно Румье. — Ну и мерзкая, провалиться ей в пекло! Захотела пижаму себе забрать. Мало у нее этих пижам... Ну и стерва... Посылки пришли из Америки в адрес Вицо для раздачи беднякам. Хозяйка послала меня получать пижаму — я-то ведь бедная, — а сама увязалась за мной под тем предлогом, что она общественница — кем-то там значится в этом Вицо. Говорит, будто хлопотала за меня, чтобы мне дали пижаму. Но когда увидела эту пижаму на мне, вдруг заявила, что хочет взять эту пижаму себе. Она, видите ли, ей нравится, она ей к лицу! А бедная кто — я или она? Кто имеет право на эту вещь? И как только ей не стыдно, этой буржуйке! Польстилась на пижаму, предназначенную бедным! Значит, я должна была пойти в это Вицо, унижаться там, кланяться себе подарок, чтобы потом отдать его хозяйке! Болячка ей в глаза! Вот тварь! А посмотри, мама, какая красота! Какая расцветка, какая вязка!

— Что же случилось? — тревожно спросила Наама, разглядывая пижаму, которую развернула перед ней Румье.

— А то, что ты слышала. Ей захотелось пижаму взять себе, а я не отдала.

— И что же?

— А то, что я у нее работу бросила, пропади она пропадом! Но ей эта пижама все равно не достанется! Ни за что на свете!

— Да ты рехнулась! — Наама развела руками, и лицо ее выражало глубокое огорчение. — Разве можно так? Оставить работу да еще перечить своей хозяйке!

— А кто она такая, моя хозяйка? Не бог ведь что за птица... Плевать я на нее хотела! — Говоря это, Румье все

время рассматривала пижаму со всех сторон, все еще не насладившись вдоволь подарком.

— Из-за этой тряпки терять место и заработок! Грош ей цена, твоей пижаме, в базарный день! Ты просто сошла с ума!

— Нет, я не сошла с ума. А пижаму не отдам. Да и работать у нее не хочу больше.

— Что с тобой, дочь моя? — заговорила Наама жалобно и чуть нараспев, как читают в судный день молитвы.— И откуда такая беда свалилась на всех нас! О, горе мне!

— Не волнуйся, мама,— ответила Румье.— Все правильно. Пижамы выданы мне, а без работы я не останусь. Найду другое место.

— Ты забыла, что, пока я тебя пристроила, мы ходили целый месяц с высунутыми языками. А ты говоришь «найду другое место». Будто работа валяется на улице. Как мы будем жить-то?

— Найду сама работу, не беспокойся. Сейчас можно устроиться еще лучше.

— Ты меня живьем вгонишь в могилу! — всплеснула руками Наама.— погоди, узнает отец, он тебя убьет. Вся наша семья только и держится на твоем заработке. Что с нами теперь будет?

Придя домой и узнав о всей этой истории, Цион взглянул на пижаму и со вздохом сказал:

— Сколько на моем веку менялось разных мод! Счету нет! И чего только не придумают люди! Ну и времена.

Сказано было это не то со спокойствием философа, не то с благодушием человека, хватившего лишнюю рюмку.

Затем, смерив взглядом Румье с ног до головы, он незлобиво продолжал:

— Ты, никак, помешалась! Чурбан у тебя на плечах вместо головы, если ради этой поношенной тряпки ты, дура набитая, приносишь нам столько неприятностей.

Сообразив, что наказания не последует, Румье, набравшись храбрости, сказала:

— Разве мало у нее платьев, что позарилась она на пижаму? Подлый она человек! Ведь пижамы достались мне по праву. Бедная ведь не она, а я. У нее два шкафа битком набиты модными туалетами. Пусть ими давится!

— А тебе какое дело? Она послала тебя получить эту вещь для нее. А при чем тут ты, корова? И потом, разве

ты не знаешь, что они ашкеназиты, а мы — всеми проклятые йемениты? Их бог — живой бог, а наш бог... Эх, где бог, а где мы?.. Парадом они командуют, а мы их обслуживаем. Поняла? Мы — вроде бракованного товара...

Произнеся эту тираду, он опустил голову и некоторое время молчал, потом снова напустился на дочь:

— И ты — корова, и госпожа твоя — корова! Вы друг друга стоите. Обе вы стервы. Убирайся вон, чтоб мои глаза тебя не видели!

Те немногие дни, что Румье не пришлось работать, были для нее самыми счастливыми днями, днями великой радости и великой любви. И свет этой любви, казалось ей, пронизывал весь мир.

Румье в эти дни вставала рано и сразу облачалась в пижаму. Затем некоторое время она разгуливала по двору, а потом допоздна лежала и блаженствовала на своей кровати, точь-в-точь как ее госпожа. После обеда она на весь день уходила к Шалому, и они отправлялись на прогулку в поле. Молодые люди совсем не замечали, как пробегал день.

Благоуханная зелень полей делала влюбленных еще счастливее, а чувства их еще прекраснее. Поля как бы широко распахивали перед ними двери и приглашали их войти в чертог любви, найти укромное местечко и, не таясь, любить друг друга и радоваться жизни.

Жаркий, подобно смертному греху, обнаженный, не знающий стыда страсти, мир божий утонул в лазури и синеве. Даже камни на поле и те будто ожили, расплавившись от зноя и рассыпав во все стороны искорки огня. Кое-где, как драгоценные украшения из серебра, выкованные из одного куска металла руками искусного мастера, сверкали на солнце сухие кусты неведомого кустарника. На уступах холмов и в низинах дремали одинокие маслины, напоминая сгорбившихся под бременем лет старушек. То тут, то там сидели ветвистые смоковницы, похожие на многодетных матрон, дородных, скромных и добродушных, напяливших на себя десяток одежек. А вот это стройное миндальное деревце, как оно смахивало на молоденькую девушку, простую и миловидную, всеобщую любимицу. Гряда желтеющих холмов казалась караваном верблюдов, вот-вот готовых отправиться в нелегкий путь. Подобравшись к самому небу, голубели далекие горы. Горы были

тоже как бы небом, только более синим и плотным, притягивающим взоры и заставляющим забывать обо всем на свете. И чудилось, будто весь мир охвачен тихим ликованием; покой и блаженство наполнили и землю и небеса. И на всем свете только они одни, он и она, и больше нет никого.

Шалом и Румье ходили как зачарованные, ни о чем не думая, слыша лишь биение своих сердец.

— Ты меня любишь? — спрашивал он, переходя на таинственный шепот, каким произносят молитву. «Шемá!»<sup>1</sup> — Ты меня любишь?

— Люблю, люблю! — дрожащим голосом шептала она в ответ, как в беспамятстве.

Потом наступал ее черед задавать вопросы.

— А ты? — Она брала его за руку, и лицо ее светило.

— Да, — отвечал он ей просто и от всего сердца.

— А как ты меня любишь, как? — И она прижималась к нему, выделяя голосом слово «как».

— Страшно! — Он качал головой, показывая этим, что у него не хватает слов, чтобы это выразить.

— Очень-очень?

— Очень-очень. А ты?

— Ужасно! — Она закрывала глаза и несколько раз повторяла, дрожа всем телом: — Ужасно! Ужасно! Сильнее не бывает.

Он вскакивал, яростно обнимал и целовал ее, и она отвечала ему тем же. И нелегко было им разомкнуть объятия, оторваться друг от друга.

Однажды, расставаясь, Румье как-то странно, как бы со стороны, посмотрела на Шалома и недоверчиво спросила его:

— А ты меня не бросишь?

— Да что ты! — Он воскликнул это с такой непосредственностью, что нельзя было ни на секунду усомниться в его искренности, заподозрить притворство.

— Никогда?

— Никогда!

— Если ты меня бросишь, — сказала она после короткого раздумья, — ты умрешь. Вот увидишь, на второй же день умрешь.

<sup>1</sup> «Шемá!» («Слушай!») — одна из молитв, которую набожные евреи читают трижды в день шепотом.

— Да,— согласился Шалом с этим приговором.— Мне легче умереть, чем расстаться с тобой.

— И попадешь прямо в ад...— продолжала Румье, и в это время на ее лице появилось выражение, какое бывает у набожных женщин во время молитвы.— Скажи, ты веришь в бога? Хотя немножечко веришь?.. Да, ты попадешь прямо в ад и будешь там вечно страдать и мучиться... Нет, это невозможно, чтобы ты меня покинул...

— Да, это невозможно,— подтвердил Шалом. И это казалось ему настолько очевидным, что и говорить тут было не о чем.— Никогда мне и в голову не приходило, что я могу тебя покинуть.

— Поклянись!

— Клянусь тебе. Клянусь! — Он говорил это, как ученик, повторяющий слова учителя.— Клянусь, клянусь!

В такие минуты Румье была безмерно счастлива, ей казалось, что она обладает всеми сокровищами мира, и ничего ей больше не надо. Она выпрямлялась и, закидывая руки назад, сплетала пальцы на затылке, закрывала глаза и стояла, вся расслабленная от обилия нахлынувшего на нее счастья, залитая лучами солнца, купаясь в них. Шалом осторожно, на цыпочках, подходил к ней и наклонялся, чтобы сорвать с ее уст неожиданный поцелуй. Тогда она мгновенно срывалась с места, делала два-три прыжка в сторону и убегала.

— Догоняй,— кричала она, обернувшись, легкая, стройная и быстроногая, как серна.— Догоняй! Лови!

Нагнав Румье, Шалом опускал ее на землю под сень ветвистой маслины и иступленно обнимал и целовал, окончательно теряя голову.

— Не трогай меня, милый! — Она обнимала и ласкала его, и голос ее звучал нежно-нежно.— Не трогай меня... Я плодovitая, как земля, как моя мать... Не трогай меня, милый, родной, желанный, единственный. Не трогай меня...

Она возвращалась домой поздно вечером, смертельно усталая, будто судьба взвалила на ее плечи значительно больший груз счастья, чем она в состоянии была нести. Сердце ее переполняла радость. Все эти дни, казалось Румье, принадлежали не ей одной, девушке из бедного йеменитского квартала, а еще бескрайнему горизонту, полям и долинам. Они тянулись к далеким горам и холмам, полные сияния и радости. Несравненный и щедрый дар небес!

Но немного было этих счастливых дней. Не прошло и недели, как стараниями матери было достигнуто примирение между строптивой служанкой и ее госпожой. И снова начались для Румье подъяремные трудовые будни.

Много раз девушка собиралась рассказать матери о своем намерении начать новую жизнь с Шаломом, и каждый раз ей не хватало храбрости. Мысленно она давно подобрала все нужные слова, давно все тщательно взвеси- ла и обдумала, и в голове у нее все получалось очень складно. Но как только Румье открывала рот, чтобы объ- ясниться с матерью, высказать свои мысли вслух, ее охва- тывала странная робость. Все нужные слова куда-то ис- чезали, мысли путались, и она становилась совершенно беспомощной, не в состоянии связать и двух фраз. В кон- це концов она все же пересилила себя и заговорила. Но разговор получился не очень убедительным. Вместо заран- нее хорошо обдуманных фраз звучали какие-то отрыви- стые и бессвязные предложения.

— Зачем я тут живу? — Она опустила голову, и в го- лосе ее прозвучали упрек и обида. — Зачем мне губить свою молодость и заживо хоронить себя? И вообще, ка- кое мне дело до всех ваших несчастий и вашей собачьей жизни? Почему бы мне не пойти в кибуц? Я слышала, как там живут люди, как работают на полях, в садах и вино- градниках, на общественной кухне, в мастерских. Всегда веселые и довольные, едят досыта, и голова у них не бо- лит о заработках, о том, где взять денег на еду и на одеж- ду. И безработицы они не боятся. Живут на всем готовом, даже о стирке белья и то не заботятся. Каждый думает только о деле, которое ему поручено. Одни заняты на кух- не, другие работают в прачечной, третьи ремонтируют одежду и обувь. У каждого свой участок работы. Один для всех, все для одного! Как в сказке! Я бы туда поле- тала на крыльях! Клянусь!

— Ох ты, безбожница! — ужаснулась Наама. От не- ожиданности она даже застыла на месте. Руки ее беспо- мощно повисли, глаза расширились, в них был испуг. — Кто успел напелсти тебе эти небылицы? От кого ты слы- шала всю эту белиберду? Какой негодяй задурил тебе го- лову? Почему тебе вдруг так захотелось в кибуц? Разве

ты не знаешь, что все, кто пошел в кибуц, пропащие люди, бесстыжие морды. Там никто не соблюдает ни святой субботы, ни божьих заповедей, там даже понятия не имеют о кошерной пище... Никогда в жизни я не соглашусь на это. Никогда я тебе этого не разрешу, хоть бейся головой о стенку. Никогда! Так и знай!

— Все это ложь! — вспыхнула Румье. — Кто сказал тебе, что все они безбожники и нечестивцы? Наоборот! Они строят нашу страну. Они готовы жизнь отдать за нее. Все они между собой равны, нет у них ни старших, ни младших, ни начальников, ни подчиненных, ни богатых, ни бедных. Все живут вместе. Все питаются одинаково, можно сказать, едят из одной тарелки. Что ест один, то ест и другой. И работают все одинаково. И одеваются все одинаково, просто и красиво. И все у них делается по-честному, по справедливости. Нет между ними ссор, да и зачем им ссориться? А тот, кто рассказывал тебе всякий вздор и чернил кибуц, тот просто посмеялся над тобой.

— Господи, спасти и помилуй! — затрясла Наама головой. — И слушать не хочу! Запомни раз и навсегда: я не дала своего согласия! Даже если ты будешь уговаривать меня с утра до ночи и с ночи до утра, я не соглашусь. Я тебя вырастила, заботилась о тебе, столько лет терпела муки из-за тебя. А теперь, когда ты выросла и мы наконец дождалась твоей помощи, а я превратилась в старуху и нет у меня сил больше работать, теперь ты хочешь оставить меня? Нет и еще раз нет! Я не согласна. Пойдем со мной к старейшинам и спросим, допустимо ли, чтобы ты оставила меня, пошла в кибуц и стала безбожницей, как все эти выродки...

— Послушай, мама, и постарайся меня понять. Зачем мы сюда приехали? — Румье незаметно стала говорить словами Шалома и повторять его доводы. — Мы приехали сюда строить нашу страну. Строить на основах справедливости. Я хочу тоже строить вместе со всеми, а не работать в прислугах. Я хочу быть ближе к земле. И работать на земле, возделывать ее... Не только для самой себя, для своей собственной выгоды... Я хочу жить в кибуце... Ты меня не понимаешь. Тебе этого не понять...

— Мне не нужно ничего строить, и не нужны мне эти глупости! — перебила ее мать. — И не вспоминай даже слово кибуц!



— А ты что хочешь, чтобы я на веки вечные осталась такой? — Румье насупилась и опустила голову. В голосе ее чувствовалось ожесточение.

— Почему такой? Почему навеки? — удивилась Наама.— Такой ты навеки не останешься. С божьей помощью ты выйдешь замуж и заживешь счастливо со своим мужем, всем нам на радость.

— Оставь, мама, эти глупости! Я не собираюсь выходить замуж и не просила тебя подыскивать мне мужа... Теперь тебе все известно. Я хотела поговорить с тобой мирно. Но знай, будет твое согласие или нет — я все равно уйду. А если вы меня не отпустите, я убегу...

— Убежишь? Ты убежишь? — Наама глядела на нее так, будто видела дочь впервые.— И это говорит мне моя родная дочь! С ума можно сойти!.. Все против меня — и ты, и твой отец, и дети... Нет у вас ни жалости, ни сострадания. Выходит, я должна и зарабатывать, и готовить, и стирать... Все одна? А кто, скажи мне, кто будет кормить твоих маленьких братьев и сестер? Кто о них позаботится? Разве хватит у меня на это сил? Ведь вы высосали из меня все соки... Вы превратили меня в развалину. Ладно, дочка. Делайте со мной что хотите... Пусть свершится божий суд. Мало мне моих забот, от которых голова разваливается на части, так ты мне еще добавляешь этот кибуц... Что я могу поделаться? Такая, видно, судьба. Ни одного светлого дня не видела я в своей жизни. И так, верно, будет до конца моих дней. Даже хуже и хуже... Ладно, иди и строй страну. Строй... Строй страну и разрушай семью, жизнь родной матери... Хватит ли у тебя, дочь моя, силы духа оставить малышей? Отвечай! У тебя вместо сердца, наверно, камень...

Наама повернулась к стене и закрыла лицо руками. Плечи ее содрогались от рыданий.

— Чуть что — сразу в слезы, — в сердцах сказала Румье и, хлопнув дверью, вышла из дому.

В тот же вечер она встретила с Шаломом. Он медленно шел рядом, рассеянно срывая янтарные ягоды с виноградной грозди. Румье рассказывала ему о своем объяснении с матерью. В заключение она сказала:

— Не могу ее оставить. Жалко мне ее. Ничего не поделаешь. Не могу, милый. Нехорошо получится, если я ее оставлю.

Румье немного помолчала, ожидая, что скажет Шалом. Но он ничего не сказал, только молча срывал ягоду за ягодой.

— Слушай, милый,— продолжала она,— если ты меня любишь так, как я люблю тебя, пошли к нам свата. Я думаю, что в этом случае мама согласится. А уж потом мы с тобой уедем в кибуц. И все будет улажено.

— Какого свата? — От неожиданности Шалом даже остановился.— Зачем он нужен?

— Из уважения к моей маме. Ведь ты знаешь, какая она.— Прильнув к Шалому, Румье произнесла дрожащим голосом: — Так нужно, чтобы не доставлять ей огорчений... Если ты меня любишь... Иначе просто невозможно... Клянусь тебе. Поверь мне...

— Оставь эти глупости! — Шалом рассмеялся.— И как только тебе могла прийти в голову такая мысль?

— Милый мой, не возражай! — Она обвила руками его шею.— Ты сделаешь так, ты обязательно пошлешь свата. Или нам придется расстаться.

— Мириам, душа моя,— говорил он, целуя ее в губы и в глаза.— Подумала ли ты, в какую беду хочешь вовлечь меня? Какого к черту свата? Зачем нам сват? Узнают товарищи — мне прохода не дадут. Я стану всеобщим посмешищем. И не только я — и ты, мы оба.

— Кому смешно — пусть смеется. Мне-то какое дело? — Выскользнув из его объятий, она сказала спокойно и веско: — Именно потому, что ты меня любишь, ты должен послать свата. Если же нет, то оставь меня. Это все, что я могу тебе сказать, хотя мне очень больно и сердце мое разрывается на части. Но что поделаешь... Я вынуждена.

— Я сделаю все, что ты захочешь, выполню любое твоё желание. Но что касается свата — этого я не могу.

— Не можешь — и не надо,— проговорила она сокрушенно, опустив голову.

— И где я найду такого товарища, чтобы он согласился быть моим сватом? — продолжал убеждать ее Шалом.— Ведь стоит мне кому-нибудь об этом заикнуться, и тот подымет меня на смех.

— Не надо посылать товарища. У нас, в Иерусалиме, есть свои сваты, люди очень почтенные. Можешь обратиться к одному из них.

— Этого я ни в коем случае не могу сделать.— Шалом всего трясло от негодования.— Я их не знаю и знать не хочу! Мы с тобой люди взрослые, свободные и сами можем устроить свою судьбу.

— Что ж,— сказала Румье, как говорят о деле ясном и решенном.— Если ты не хочешь сделать так, как я прошу, оставь меня. По крайней мере я буду знать, что ты меня не любишь. Даже такую малость и то ты не хочешь сделать ради меня. Прощай!

Румье резко повернулась и быстрыми шагами стала удаляться.

Шалом побежал за ней.

— Мириам, Мириам...— звал он девушку.— Обожди!

Но Румье лишь ускорила шаг, а потом пустилась бегом.

— Обожди! Обожди! — кричал он, устремившись за ней.— Я должен тебе что-то сказать.

Он нагнал ее.

— Постой минутку... Одну минутку...— Он схватил ее за руку и растерянно смотрел ей в глаза.

— Оставь меня! — Она вырвала руку и убежала.

Шалом очень раскаивался в своей вспыльчивости. Он жаждал помириться с Румье, вернуть ее любовь. Парень долго бродил по улицам, где она обычно ходила, бесцельно слонялся по закоулкам йеменитского квартала, дежурил возле вечерней школы, но Румье не встречал.

Однажды, когда он вот так бродил с убитым видом, словно похоронил близкого человека, навстречу ему попала Наама. Это было вечером, на углу одной из городских улиц. Несчастный вид юноши огорчил женщину, и в ее сердце зашевелилась материнская жалость. Она первая обратилась к юноше, и в словах ее звучали одновременно и упрек и сострадание.

— Я знала твою семью,— сказала она с печальной улыбкой.— Знала твоих родителей. Они люди честные, справедливые... Но как им тяжело! Мало того, что ты их оставил, так ты уже ходишь с непокрытой головой! Будто ты не сын богобоязненного Мусы... И мать твою я знала, она тоже очень хорошая женщина. Что же случилось? Почему ты дал свести себя с пути истинного? Ты забыл, кто ты такой? Или, может быть, ты приехал в

страну Израильскую только для того, чтобы стать безбожником, как все эти нечестивцы? Если бы ты жил в Йемене, у тебя был бы совсем другой вид — благородный, достойный мужчины: ты бы носил пейс и бороду. А что сейчас? Выглядишь, как общипанная курица. Увидав тебя бритым, кто поверит, что ты сын Мусы Машраки! Да еще как побрился — ни одного волосика не оставил! Разве так можно? Ты думаешь, это красиво? Ты думаешь, это тебе к лицу? Нехорошо, нехорошо... И зачем ты разгуливаешь по улицам с девушками? Большой грех берешь на свою душу. Как огорчились бы твои бедные родители, если бы узнали об этом! Стоит тебе только захотеть, и ты можешь жениться на любой девушке. А все эти прогулки приносят только несчастье. И зачем собственными руками губить себя, когда ты можешь найти невесту и жениться по закону Моисея? Или тебе больше нравится прослыть сумасшедшим? Сегодня ходить с одной девушкой, завтра с другой?.. И какой от этого прок? Одна над тобой посмеется, другая посмеется... И ты посмеешься, сначала над одной, потом над другой... И так пройдет вся твоя молодость. Сплошная пустота и суета. Послушай меня, сынок, я говорю с тобой только потому, что знаю, чей ты сын. С другими я бы и не стала разговаривать.

— Верно, верно, мамаша... — пробормотал Шалом, опустив глаза. — Я в самом деле хочу жениться. Я ведь не просто так гулял. Я люблю вашу дочь...

— Что? Что ты говоришь! — Наама посмотрела на него как-то странно, с опаской и недоумением. — Ты любишь мою дочь?

— Да, люблю.

— А зачем тебе ее любить? Разве она тебе жена, что ты ее любишь?..

— Нет, я хочу на ней жениться. Я в ближайшие же дни пришлю к вам свата.

— Не присылай, не надо, — строго ответила Наама. — Не стоит утруждать себя. Ищи себе девушку из ваших, из кибуца. Там ведь их тысячи. Моя дочь — не для кибуца. Моя дочь — честная и порядочная девушка... Прошу тебя, не морочь ей голову. Это большой грех. Она бедная девушка, всю жизнь работает. Она еще совсем дитя, неразумное дитя. И она знать не хочет ваших кибуцев. Оставь ее в покое. Бог даст тебе другую, которая больше тебе подойдет.

После трех дней тщетных и бесплодных блужданий по улицам Шалом наконец встретил Румье, когда она возвращалась с работы. Он окликнул ее:

— Мириам!

В голосе его звучала радость, смешанная с тревогой.

Увидев его, Румье испугалась, но сразу овладела собой и прошла мимо с каменным лицом, будто никогда его и не знала.

— Мириам! Мириам! — Он шел за ней, в его глазах стояли слезы. — Послушай... Послушай...

Она сделала вид, что не слышит и не видит его, и продолжала идти своей дорогой.

— Прости меня... — умолял он ее. — Я во всем виноват. Я ошибся...

Она повернулась к нему и холодно сказала:

— Мне некогда. Я спешу.

— Минутку... Одну минутку... Я должен тебе что-то сказать.

— Ничего не хочу слушать. — Она нахмурилась и крепко сжала пальцы, чтобы скрыть волнение.

— Но я должен с тобой поговорить... — сказал он жалобно. — Я должен!

— Не надо!

— Но я так страдаю...

— А какое мне дело? — бросила она в пространство.

— Но ведь нельзя же так! Я схожу с ума...

— А при чем тут я? И что тебе от меня надо?

— Я сделаю все, как ты сказала. Я пошлю свата.

— Что-о? — спросила она с таким удивлением, будто Шалом свалился с луны. — Свата? Какого свата? Не нужно мне никаких сватов.

— Не говори так, прошу тебя... — Голос Шалома задрожал, его душили слезы.

— Оставь эти глупости! — Они подошли к ее дому. — Ну, я пришла.

— Ты сегодня вечером будешь в школе? — Он умоляюще посмотрел на нее. — Прощу тебя, приходи! Я буду тебя ждать.

Она ничего не ответила. Как серна, скачками бросилась вниз по откосу и через минуту исчезла за калиткой своего двора.

Он увидел ее в тот же вечер после занятий среди шумной компании юношей и девушек. Шалом почти насильно

заставил ее перейти с ним на другую сторону улицы. Некоторое время они шли молча, и сердца обоих учащенно бились.

— Какая темень! — Он взял ее под руку. — Ни зги не видно.

— А мне все видно, — ответила она, высвобождая руку.

Он заговорил торопливо и сбивчиво, словно боясь, что она прервет его, не выслушает до конца и убежит.

— Мириам... Прости меня... Умоляю... Прости. Ты ведь моя, моя... Ну, пусть я ошибся. Я в самом деле очень виноват. Но пойми, ведь я тебя люблю... Без тебя нет мне жизни... Я не думал, что ты так рассердишься на мои слова.

Она ничего не ответила. Ей хотелось, чтобы он высказался до конца.

— Хорошо. Ты на меня сердисься, — продолжал он. — Ладно, сердись... Только не будь так холодна со мною. Сердись! Ругай меня! Кричи на меня! Делай со мной что хочешь... Но нельзя же так. Ты поняла? Я больше не могу... Радость моя... Ты ведь самая прекрасная на свете! Забудь все, что произошло. Я пошлю свата. У меня есть на примете человек, он мой родственник. Он этим займется, и все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо. Мы будем счастливы!

— Ты пошлешь свата? — начала она насмешливо, с раздражением. — А в кибуце разве тебя не подымут на смех?

— Да, подымут.

— Вот как! — в голосе ее звучала издевка. — Значит, раньше ты этого боялся, а теперь идешь на это? Бедненький! Зачем же ты приносишь себя в жертву?

— Это не жертва. Ради тебя я готов сделать в тысячу раз больше. Я тебя люблю. Ты даже не знаешь, как я тебя люблю! Я не ем, не сплю, не имею ни минуты покоя, просто с ума схожу! Что я могу поделаться? Поверь мне, если ты не согласишься, уйду в солдаты. Я не хотел тебе говорить, но это у меня твердо решено.

Румье на миг остановилась, взяла его обеими руками за уши и тихо сказала:

— Бедненький ты мой... Девушка дергает парня за уши, а он, дурень, молчит и терпит...

Шалом с силой привлек ее к себе и стал осыпать поцелуями.

— Моя... Моя... Моя...— шептал он в иступлении, будто забыл все другие слова.— Моя... Моя...

— Сумасшедший! Просто сумасшедший! — Опустив голову ему на грудь, она тихо сквозь слезы сказала: — Ты погубил меня! Ты взял мое сердце... А я так боялась... Милый... Родной...

Проснувшись рано утром, когда было еще темно, Наама торопливо зажгла примус и вышла на улицу. Вскоре она вернулась, неся нарезанный хлеб, сложенный башенкой. Теперь она уже не присела ни на минуту — готовила для семьи завтрак, обед, стараясь сделать все так, чтобы до ее возвращения с работы дети могли обойтись без нее.

В окно, выходящее на запад, стал проникать свет, тусклый и бледный, какой бывает в облачный день или в сумерки.

Малыши стали просыпаться. Они уже лежали как попало; голова одного покоилась у ног другого, одеяла сползли в сторону, и отовсюду торчали ручки и ножки, и трудно было понять, кому они принадлежат. Прошло еще несколько минут, и дети соскочили с кровати, заполнив весь дом своим шумом и криком.

Не прекращая работы, Наама цыкнула на них, мимоходом дала одному шлепка, другому подзатыльника, торопясь на работу. Больше всех досталось Мазаль. Так уж получалось, что эта девочка была всегда козлом отпущения, ибо среди взрослых она была маленькой, а среди маленьких считалась взрослой... Но, по правде говоря, на ней, как на старшей, до прихода матери, держался весь дом.

Когда наступило время идти на работу, Наама напоследок еще раз окинула взглядом всю семью.

— А... где Румье? — спохватилась вдруг она. Лицо ее выражало озабоченность и тревогу. Она с недоумением развела руками, посмотрела по сторонам, и глаза ее расширились.

— О, горе мне! Что же это такое? Неужели она не ночевала дома? О, горе мне!

Наама стояла, будто пригвожденная к месту, в полной растерянности, чувствуя, что пол уходит у нее из-под ног.

— Мазаль! Мазаль! — не своим голосом закричала она.

— Что такое? — недовольно откликнулась Мазаль со двора.

— Ты видела Румье? Подойди-ка сюда, негодница!

— Румье? — переспросила Мазаль, остановившись у входа. — Румье? Нет, не видела. Да она и не приходила еще.

— Неужели она не ночевала дома?.. — Руки у Наамы опустились, губы дрожали. — Ее нет!.. О, горе мне!

— Она не приходила, мама, — ответила Мазаль многозначительно, как говорят о подобных делах старушки, — она не приходила ночевать.

— Где она могла так задержаться? — Лицо Наамы искривила гримаса. Она с трудом сдерживала слезы. — Где же она провела ночь? О, меня хватит удар... Дрянь! Безбожница! Лучше бы мне умереть, чем дожить до этого... Да, я и умру, и умру... Какой позор!.. Нет, нет, этого не может быть!

— По-моему, мама, она все еще гуляет, — ответила Мазаль тоном взрослой. — Ей нравится гулять со своим парнем по ночам. Она ведь завела себе парня. Говорят, он очень красивый!..

— Замолчи! — накинулась на нее мать. — Ты тоже такая растешь! Прикуси лучше язык! Она, вероятно, очень поздно вернулась и уже ушла на работу...

— Мы бы услышали... — без тени смущения возразила Мазаль. — Я всегда слышу, когда она встает. Даже если кругом темно.

— Куда же она делась? — Наама заметалась по комнате. — Где мне ее искать? Где искать?

— Может быть, она утонула, — рассудительно ответил Нисим. — А может быть, ее убили...

— Что мне делать, что мне делать? — причитала Наама. — Я ведь должна идти на работу. Как я смогу сегодня работать? О, горе мне, горе мне!

Мазаль ударила головой о косяк двери и тоже начала причитать.



— О, горе мне, горе мне!

Вслед за ней заплакали малыши.

— Замолчите, черти! — набросилась на них мать и шлепнула Юсефа, который оказался под рукой. — Быстро всем одеться и завтракать! Мазаль, накорми их! Пусть они сначала съедят черствый хлеб. А я пойду... И буду оплакивать свою судьбу. Я ведь должна идти работать... А что?.. Бросить работу и искать эту дрянь? Сгореть бы ей в аду!.. Она загубила мою жизнь... Куда идти, к кому обратиться, кого спрашивать?.. Пусть бог накажет ее за все мои страдания! Пусть душа ее горит в огне! Пусть ее тело трясется в лихорадке!

Весь день Наама не могла успокоиться и тайком от хозяйки вздыхала и плакала, ни на минуту не переставая думать о дочери.

Вечером, закончив работу, Наама побежала к хозяйке дочери, но там Румье не было. В этот день она вообще не появлялась. Наама опрометью бросилась домой — может быть, дочь уже пришла. Но вышедшая ей навстречу Мазаль сказала, что Румье не приходила. Больше того, нет и ее вещей: пижамы и сорочек.

— Я знаю, она удрала в кибуц, — сказала Мазаль. — В субботу я слышала, как она говорила подруге, что обязательно уйдет в кибуц.

— И пижамы нет? — Наама часто заморгала глазами, застыв на месте. Она чувствовала, что у нее холодеют руки и подкашиваются ноги.

— Ага. И сорочек, оранжевой и голубой. И чулок. Она все взяла...

Несколько минут мать стояла молча, не замечая столпившихся вокруг нее детей. Напрасно они тормозили ее, пытаясь привлечь к себе внимание.

— Глаза бы мои вас всех не видели! — отвернулась она от детей. — И откуда вы взялись, пропадите вы пропадом!

Даже не взглянув на детей, она пошла бродить по кварталу в надежде узнать что-нибудь о Румье. Женщина останавливала подруг дочери, попадавших ей навстречу, задавая всем один и тот же вопрос:

— Не видала ли ты Румье? Она мне очень нужна...

Совершенно разбитая, когда уже совсем стемнело, она вернулась домой, накормила детей и уселась в уголок. Слезы неудержимо потекли по ее щекам.

В это время кто-то постучал в дверь. Вошел высокий парень. Дети застыли с ложками в руках, с любопытством уставившись на незнакомого гостя.

— Это, наверно, ее парень,— шепнула Мазаль.

— Добрый вечер,— поздоровался вошедший.— Здесь живет Наама?

— Здесь.— Наама сорвалась с места и подбежала к парню.— Что случилось?

— Привет вам от вашей дочери.

— Какой еще привет? — На ее болезненном лице появилось злое выражение.— Бог не даст ей добра ни в этой, ни в загробной жизни. Где она?

— Она в кибуце. Очень хорошо устроилась,— сказал парень, разглядывая малышей.— У нее там постоянная работа, и она всем обеспечена.

— Что ей там нужно? Что она там потеряла?

— Поверьте, там ей будет хорошо. И не беспокойтесь за нее. Время от времени она будет вас навещать. Чего же вы расстраиваетесь? Дай бог, чтобы и другие еврейские девушки поступали бы так, как Румье.

— Ладно уж, хватит... Ни с кем не посчиталась, все сделала по-своему.— Голос Наамы звучал надломленно.— Что ж, пусть живет себе как знает. А где же этот кибуц?

— Она сама вам обо всем напишет,— сказал парень.

— А ты почему не говоришь? Боишься? — вмешался в разговор Нисим.— Я тоже хочу в кибуц.

— И я хочу! — сказал Юсеф.

— Замолчите! — цыкнула на них Наама.— А тебе спасибо за добрые вести, что принес...

Парень не успел попрощаться, как вошла соседка. Она попросила спичку. Наама дала ей четыре спички, но та не уходила, все чего-то ждала.

— А где же Румье? — спросила соседка, оглядываясь по сторонам.

— А ты разве не знаешь? — повернулась к ней Наама.— Румье уехала в кибуц. Там, говорят, очень хорошо. Они ее очень звали, вот она и согласилась. И хорошо устроилась... Что ж, ведь и там еврейская страна. Что здесь, что там...

— А на праздники она приедет? — допытывалась соседка.

— А как же,— с жаром ответила Наама.— Праздники она будет справлять у нас. А после праздников снова вер-

нется туда. А то как же... Там, говорят, очень хорошо. Все они работают, живут дружно, один другому помогает... И едят все вместе. Слава богу, не так, как здесь. У наших городских девушек нет другого занятия, как разгуливать с англичанами да с арабами. А там, в кибуце, одни только евреи... Все будет хорошо, только было бы здоровье. Я знаю свою дочь. Когда она была еще совсем крохотной, уже было видно, что растет умный ребенок. Никогда она дурно не поступала. Румье всегда помнит, чья она дочь... Уверена, что она не осрамит нашу семью. Румье в десять раз умнее меня.

Когда соседка вышла, детям захотелось пошалить. Они были сыты. К тому же им показалось, что мать успокоилась, и та тревога, которая целый день царила в их доме, исчезла. Кто-то шумно запел, кто-то стал ему аккомпанировать на ведре, кто-то прыгнул кому-то на спину, кто-то стал танцевать и кувыркаться... И тогда Наама излила на них весь свой гнев. Как из рога изобилия, посыпались тычки и подзатыльники, сопровождаемые проклятиями. С визгом и плачем укладывались малыши в постели, а через несколько минут все уже спали. В комнате стало тихо.

Тогда Наама уселась на пол<sup>1</sup>, опустила голову на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, начала вполголоса причитать:

— Где же ты, доченька, голубка моя, где? Как же ты оставила родную мать и пошла к чужим людям? Ты ведь их совсем не знаешь. Или ты лишилась разума, что ввергла нас в такое горе? Разве ты можешь работать в поле? Разве есть у тебя для этого силы? О, горе мне! Свет ты моих очей! Моя красотка, моя ненаглядная! Ты наше солнышко светлое! Ты оконце, откуда к нам проникал свет! А теперь дома совсем темно. Только один день без тебя — и уже темно... Не вижу я твоей улыбки, не слышу твоего смеха. Где твое личико? Как я смогу жить в этом доме, когда тебя нет рядом со мной? Ты же у меня правая рука, моя главная помощница. Во всем, во всем... На кого мне сейчас положиться? На кого мне сейчас опереться?

Вдруг поднялась с кровати Мазаль. Она подошла к матери и сказала:

---

<sup>1</sup> В знак траура евреи сидят на полу или на низких скамейках.

— Мама, не плачь! Не расстраивайся! Я буду работать у госпожи вместо Румье. Я буду зарабатывать и приносить домой деньги. Я ведь уже взрослая.

— А кто останется с детьми? — Наама подняла залитое слезами лицо и продолжала, всхлипывая: — Кто будет их кормить? Кто за ними присмотрит?

— Ничего, мама, — успокаивала ее девочка. — Мы закроем дверь на ключ, чтобы они не могли выйти. И они целый день будут спать и не смогут даже выйти во двор. Не беспокойся за них, мама. А я пойду работать. С завтрашнего дня я уже начну зарабатывать и приносить домой деньги. Довольно, мама, не плачь! Хватит, мама, ведь после слез у тебя всегда болят глаза.

— Хорошо, доченька, хорошо. — Наама краешком платка вытерла слезы. — Иди, поспи. Я больше не буду плакать. Бог нам поможет. Он не оставит нас... А против судьбы не пойдешь. Видно, так уж на роду написано...



### Братская могила

Он поднялся с кровати и, приставив ладонь ко лбу козырьком, прикрыл глаза, будто ему мешал яркий свет, хотя в комнате было еще темно. Его сухие, как валежник, пальцы в предутренней мгле казались морщинистыми. Одеваясь в темноте и осторожно нащупывая ногами ботинки, он слышал, как по желобу стекают дождевые капли. В черные проемы окон не заглядывали звезды: небо было затянуто облаками.

Даям осторожно нагнулся над кроватью жены и прикрыл ее обнажившееся плечо. Белые края пододеяльника отсвечивали в темноте, и он увидел, что ее веки дрожат. Со дня гибели их старшего сына Иоси она плохо спала, и, даже когда ей удавалось задремать, у нее дрожали веки, будто она бодрствовала и во сне.

На цыпочках он вышел из комнаты, легонько нажав на ручку двери, чтобы не звякнул замок. В темной, без окон передней на минуту остановился и нащупал рукой стену. Она кольнула его неприятным холодком. В узкой передней он несколько раз натыкался на стену, пока не нашел дверь, ведущую в кухню. Повернул выключатель и плотно зажмурил глаза, будто совсем отвык от света.

На столе в беспорядке лежали остатки ужина, а в раковине была сложена грязная посуда. У Деборы сейчас нередко накапливаются невымытые тарелки за несколько дней. Кажется, что она потеряла счет времени. Иногда

она забывает подать к обеду суп. Спohватившись, вечером ставит его на огонь и подает к ужину. Иногда она засыпает на своем кресле, склонив голову на плечо. Когда через несколько минут просыпается, глаза у нее красные, воспаленные.

На кухне беспорядок. На самом видном месте стоят ее сапоги, к которым прилипли комья грязи. Даям осторожно, чтобы не разбудить жену, отнес их в коридор и вернулся на кухню. Он долго, но тщетно искал на всех полках спички. Раньше на каждом шагу натыкался на них, а теперь они словно исчезли.

Опершись о стену, он стоит в раздумье. Лицо у него землистого цвета, черные глаза глядят устало, веки в темных прожилках.

Он повернулся к окну и посмотрел на улицу.

Теперь, когда прошел траур, маленький Миха вернется домой. Его отослали к знакомым, чтобы не тревожить без нужды впечатлительную душу ребенка. Когда Миха вернется, Дебора будет вынуждена снова заняться хозяйством, вовремя готовить обед для малыша, стирать...

Такова жизнь... Двадцать лет они растили Йоси. День за днем, месяц за месяцем. Иногда он болел, и они звали врача. Иногда дрался с товарищами и приходил весь в царапинах. И вот он вырос, покинул отчий дом — и его не стало...

Даям весь согнулся, будто хотел соединить воедино какие-то внутренние разрывы. От сильного порыва ветра задребезжали стекла, потом наступила еще более тягостная тишина. На перила балкона присела тонкокрылая птичка. Она встряхнула головкой — и посыпались мелкие капли.

Наконец-то он нашел спички. Они оказались у него в кармане. Даям зажег керосинку, поставил чайник и приготовился бриться. Всю неделю траура он не заглядывал в зеркало, и сейчас его обросшее лицо выглядело каким-то чужим. Он хорошенько намылил щеки, провел по коже бритвой и неожиданно порезался. Когда он побрился, лицо его в зеркале выглядело еще более странным. Оно было пепельно-серым; на нем выделялись вздутые фиолетовые вены и впалые глаза.

Чайник на керосинке тихонько засвистел, вода закипела. Он налил стакан чаю и поставил на стол. Лампочка отсвечивала в подкрашенном заваркой кипятке краснова-

тым светом. Даям глядел на стакан, совсем забыв о часе. Он спохватился, когда чай уже остыл. Наклонив голову, начал торопливо глотать тепловатую жидкость. Она застревала в горле, глотать было трудно.

Он открыл дверь и вышел на веранду. Холодный ветер пронял его насквозь. Взявшись за перила, он почувствовал, как утренняя свежесть резким холодом прошла по рукам. На мгновение показалось, будто он плывет, погружившись всем телом в холодный и влажный воздух. Он отдернул руки, торопливо вошел в комнату и тяжело опустился на низкую скамейку для ног, стоящую посреди кухни. Так он сидел, опершись локтями на колени и опустив голову. Потом с трудом поднялся и закашлялся.

— Да, это было все так,— прошептал он.— Йоси должен был в тот вечер уйти в отпуск. А он отказался.

Даям торопливо взял со стола сверток с едой, схватил свой плащ и вышел на улицу.

В долине дул слабый ветер. Вершины гор были окутаны белесым туманом. Окна домов тускло поблескивали, как погашенные фонари.

Даям свернул с шоссе на боковую тропинку. До места укладки труб — два километра. Он придет вовремя. Тропинка вилась по склону большого холма, потом кружила у его подножия. Кусты внизу шевелились, напоминающая издали могучих диковинных птиц. На шоссе показалась машина, яркий свет ее фар позолотил кусочек склона и исчез.

Тусклые, блеклые краски покрывали долину. Даям поднял воротник и съежился. Глаза его вбирали в себя бледноватую серость раннего утра, а побелевшие и покрытые трещинками губы шептали одно слово — «Йоси».

Он дошел до места, где тропинка круто поворачивала. Отсюда хорошо просматривалась вся долина, она казалась озером, погруженным в туман. Бывало, Даям смотрел на Йоси снизу вверх, а звал его «мой маленький сынок». Это всегда смешило Йоси, ведь он был на три головы выше отца. Сын хватал отца в охапку, легко подымал его и безудержно смеялся.

Однажды он вернулся домой верхом на осле, которого нашел где-то в поле. Целый день он чистил и тер ему спину жесткой щеткой, окатил его несколькими ведрами воды, а затем ласково провел рукой по его ослиным ушам.

Тогда Йосе было десять лет.

Поехав однажды во время каникул к бабушке, он каждую неделю писал домой письма неровным детским почерком, крупными буквами. «Папа, как поживает хромая телка?..» Или: «А не забываешь ли ты, папа, кормить щенка?»

Теперь он видит парня в спецовке. Йоси хлопчет вокруг трубы нового водовода, который они оба, отец и сын, прокладывают в Негеве. Из трубы полилась сильная струя. Йоси хватается пригоршнями холодной воды, смачивает лицо и громко смеется: «Смотрите, вода, вода, вода!..»

Порывшись в кармане, Даям вынул старую, изрядно потертую газетную вырезку. Он расправил ее на ладони и поднес очень близко к глазам, как это делают близорукие люди. В газете была напечатана фотография юноши, стоявшего на холме. Всклоченная шевелюра, в руке сигнальный фонарь... Отец зажал газету в ладонях и закрыл глаза.

...Это было ночью, когда Йоси вернулся домой после восхождения на Иехиам. Растянувшись на диване, вспотевший, в перепачканной одежде, он восторженно восклицал: «Ой, папа, если бы ты был с нами! С ума можно сойти от красоты! Особенно при закате солнца... Прошу тебя, папа, зажги душ... Я такой грязный и потный... Зажги, пожалуйста, папочка, душ...»

Даям снова открыл газету и потрогал фотографию, проведя пальцем по ниспадавшим на лоб волосам. «Мальчик мой дорогой, сама судьба влекла тебя туда...» А сейчас он там... И всю ночь лил на него дождь...

Всю ночь лил на него дождь.

Даям медленно шел по склону. Морщинки на лбу покрылись потом, он вытер лоб рукой. Ветер бросил ему в лицо несколько слетевших с дерева листочков. Он подумал: да, слишком рано, пожалуй, приду я сегодня на работу. Пальцы его разглаживали помятую газету.

Он увидел большие трубы, лежавшие возле траншей. Черные и толстые, они блестели от дождевых капель. Даям снял плащ, положил его на камень, присел и стал дожидаться товарищей.

Дождь давно перестал, но земля еще не высохла. Она была усеяна цветами. Покрытые росинками, они сверкали



на склоне горы, как звездочки. Даям вдыхал в себя утренние ароматы и, сам того не замечая, барабанил пальцами по камню. Кажется, сегодня, после многих дней ненастья, будет светлый солнечный день.

Тем временем начали подходить рабочие. Кто-то, желая выразить свое сочувствие, молча пожал ему руку. Даям в знак признательности склонил голову. Все рабочие молча подходили к нему и пожимали руку, и он каждого благодарил кивком головы.

Один, у которого сын был убит еще в начале зимы, подошел к Даяму и стал с ним рядом с поникшей головой.

— Вот так,— сказал он и непроизвольно плечом своим коснулся его плеча. Оба осиротевших отца посмотрели друг на друга и отвели глаза.— Вот так,— снова повторил тот, прикоснулся к его руке, повернулся и ушел.

Рабочие сбросили с себя куртки и плащи.

После дождливых дней немного прояснилось, и белые куски неба, освещенные солнцем, постепенно голубели. С востока над горами и с запада над морем собирались тучи, но гладь долины, облаченной в зеленый наряд, была залита светом.

Начался трудовой день.

У концов трубы встали по четыре человека. Один выкрикивал: — Раз, два, взяли! — и вся восьмерка дружно толкала трубу к откосу траншеи.

Труба шевелилась, как гигантское живое существо, давила своей тяжестью мелкую щебенку, с неприятным скрипом рассыпавшуюся в порошок, мяла траву и в конце концов, тяжелая и неповоротливая, с глухим и громким гулом скатывалась в траншею.

Ладони Даяма пылали, будто он держал на них горячие уголья.

— Ну, дальше!

Снова дружно вздымаются восемь пар рук. И вот уже другая огромная труба начинает шевелиться, медленно ползет и с глухим коротким стуком падает в траншею.

— Ну, теперь ставьте треногу. Вот так. А вы влезайте в траншею, надо приподнять цепь... Довольно. Вот так. Хватит!..

Вторая труба на мгновение приподнята, и рабочие сильно бьют по ее свободному концу, пока она не входит в жерло первой. Раздается острый, противный лязг. И вот

уже две трубы плотно соединились. Они покоятся на дне траншеи, как допотопные пресмыкающиеся.

— Ну, дальше.

Да, дальше. Две трубы уже уложены. До обеда надо уложить еще четыре. Потом перерыв и отдых. Начинают плавить олово. Он, Даям, будет на укладке труб.

— Только бы не было дождя,— говорит кто-то.— Уж лучше, когда солнце.

Да, когда солнце, лучше.

На сером, иссеченном глубокими морщинами лице Даяма появилась страдальческая гримаса, как у человека, у которого вдруг сильно заболела спина.

Еще две трубы. Потом обед. Солнце сегодня ласковое. Если не будет дождя, сегодня они рано управятся с заданием. Потом он пойдет домой. Может быть, сегодня привезут сверток с одеждой Йоси. Его получит Дебора. Лучше уж он сам поедет и возьмет одежду. На кладбище сейчас можно проехать — дорога открыта. Да эти трубы очень тяжелые, а его руки совсем отвыкли от них.

Он согнулся над очередной трубой.

— Раз, два, взяли...

Даям застыл на месте, тяжелый и серый, как эти камни вокруг. Он глядит на скатывающуюся вниз трубу. Рабочие сбрасывают с себя свитеры и кладут их на камни.

Жарко. Очень жарко. Он тоже снимает свитер.

— Который час? — спрашивает кто-то.

— Десять.

— Десять? Неужели уже десять? Сегодня очень быстро пробежало утро.

Да, очень быстро. Теперь можно немного отдохнуть. Нет, лучше, пожалуй, покончить с этой трубой, а уж потом отдыхать. Да, так будет лучше. Тем временем можно будет расплавить олово. Да. За дело!

Рабочие тяжело дышат. На бровях и подбородках сверкают капельки пота. Трубу слегка приподнимают, чтобы сдвинуть с места, скатывают в траншею и сильными ударами смыкают с предыдущей трубой. На все эти манипуляции железная громада отвечает глухим скрежетом и резким лязгом.

Ну, теперь можно немного отдохнуть. А другие тем временем заделывают оловом стык.

Даям вытирает вспотевшее лицо. Волосы у него тоже потные. До чего быстро он стал уставать...

Кто-то говорит:

— Ух, я весь вспотел. Для этих труб нужны железные руки... А какой поднялся ветер! Итак, кто будет рыть лунки?

— Я буду рыть...

— Ты хочешь рыть лунки, Даям? А может, тебе все же лучше остаться на укладке труб? Впрочем, как знаешь. Земля здесь мягкая.

Да, земля мягкая.

Ветер понемногу усиливается. Даям роет землю. Он копает небольшие канавки в местах соединения труб. Работает неспеша. Наберет лопату земли — и в сторону. Каждый взмах лопатой отдается на трубе тяжелым и шумным толчком. Трубы лежат сейчас сплошной массивной полосой, тускло-матовой и монолитной, наподобие огромной змеи, ползущей по траншее.

— Даям, уже полдень.

Да, уже полдень.

Солнце медленно вычерчивает где-то на небосклоне свой извечный круг. Иногда оно выплывает из-за облаков и светит ослепительно ярко.

Даям выходит из траншеи. Он вынимает принесенный из дому завтрак, садится на камень и начинает есть. Кто-то угощает его очищенными апельсинами, но Даям говорит:

— Нет, спасибо, у меня есть,— и жует свой бутерброд.

Те, кто уже поел, растянулись на плоских выступях скал и дремлют. Один задрал ноги кверху и лежит в изнеможении. Даям сидит на камне, лицом к солнцу. Ветер ласкает его лицо. Он вдыхает воздух полной грудью, подставляя себя солнечным лучам. Глядит на скалу, залитую солнцем, затем на светлый небосвод и мерно, спокойно дышит. И земля под ним словно живая, она тоже дышит. Она источает печаль и жизненную силу. Даям чувствует, что глаза его заволакивает пелена.

Да, теперь уже можно добраться до кладбища. Дорога открыта.

Он встает, набрасывает плащ и шагает по направлению к шоссе. Плащ свисает с плеча, ноги заплетаются.

Даям останавливает первый же грузовик и взбирается на него.

— Вам до перекрестка? Теперь путь открыт. Там можно обождать.

Да, да, там можно обождать.

Он примостился в углу кузова. На перекрестке слез и снова стал ждать попутной машины. Небо покрылось тучами. Ветер усилился. Скоро будет дождь.

— Куда держите путь?.. Понятно... Спасибо. Я поеду с вами.

— Вам куда?.. На кладбище?.. Ладно. Забирайтесь. Только быстрее. Мы очень спешим.

Да, они очень спешат.

Даям бродит по кладбищу. Идет туда, куда его подталкивает ветер. А на равнине уже дождь. Он пришел с гор, потом снова вернулся в горы и покатился вниз по скалистым откосам. Ударил по ошестинившимся колючкам кустарников, и они сразу потускнели, задрожали, будто у них закружилась голова. Верхушки деревьев впали в неистовство. Затрепетали листья. Каждый листок дрожал за себя, за свою жизнь.

Ветер ударил по серым памятникам. Они высились, как маленькие заброшенные крепости в движущемся пространстве. Даям все еще не подходил к могиле сына. Он бесцельно бродил по кладбищу. Голова его была опущена, глаза смотрели в землю. А ветер свистел и ярился, все более свирепея.

Даям идет вперед, потом возвращается. Он движется, как лунатик, по воле ветра. Но вот ударил ливень. Тогда он подошел к братской могиле и увидел, что дождь поливает и ее. На могиле уже выросла трава. Тяжело задышав, он опустился на колени, положил руку на землю и почувствовал, что она дрожит, как лист.

Земля источала острый запах.

Дождь бил Даяма по затылку, бил непрерывно. Даям припал к холмику, синевшему наподобие живого существа, которое мерзнет на холоде, и прижался к нему обеими руками, как к чему-то живому.

Внезапно резким движением он сорвал с себя плащ и прикрыл им могилу.

Всю ночь на могилу будет лить проливной дождь.

Он взял камень и положил его на плащ. Теперь его не унесет ветер. В эту минуту он почувствовал, что не один Йоси здесь покоится. Их было сорок восемь... Он ужаснулся, задрожав всем телом. Потом его обдало жаром. Глаза наполнились слезами.

А дождь все лил и лил.

Он встал и зашагал по направлению к шоссе. Дождь утихал, но тонкие струйки еще поливали все вокруг. Памятники среди деревьев напоминали хижины бедняков в холодный зимний день. В ветвях молодого кипариса спряталась дрожащая птичка. По спине Даяма покатились дождевые капли. Он почувствовал, что промок до нитки. Холодно. Стал под дерево, застегнулся на все пуговицы и оперся о влажный ствол. Посвежавшие ветви были полны жизни. С листьев стекали крупные капли.

На шоссе он остановил машину. Одну ногу поставил на ступеньку и, порывшись в кармане, сунул что-то водителю. В лицо ему ударил теплый пар, исходящий от людей в машине, острый запах пота и табачного дыма. Глаза его скользнули по лицам пассажиров. Он нашел свободное место и присел.

Спины людей, сидевших впереди, излучали тепло. Девушка о чем-то оживленно рассказывала своей спутнице, потом смеялась. Ее плечи при этом невольно вздрагивали. Как в тумане, он слышал ее смех, смотрел на ее спину и округлые плечи.

Мимо окон пробежали деревья и зеленые, коричневые, золотистые поля и огороды. В стороне от шоссе стояла разбитая машина. Даям не отрывал от нее глаз, пока она не скрылась из виду.

— Здесь погиб мой сын,— сказал он старику, сидевшему рядом.

— Вот как! — ответил старик, сдвинув на лоб шляпу. И добавил: — Каждый раз сердце болит, когда об этом слышишь.

— В тот вечер он должен был получить увольнительную,— прошептал Даям сухими губами. Он не знал, зачем это говорит.

— Вот как! — повторил старик.— Всегда гибнут самые лучшие...— Он закашлялся, прикрыв ладонью рот и что-то бормоча себе в седую бороду.

Въехав в пригород, машина замедлила бег. Даям смотрел на цветущие сады и на людей, идущих мимо домов.

Вот идет женщина с тяжелой корзиной в руке, и он подумал, что, может быть, в той братской могиле лежит и ее сын. Много местных юношей погибло. Он смотрел вслед этой женщине, прижавшись лицом к стеклу. Сейчас тоска пересилила в нем боль. Он почувствовал, что невидимая глазом нить жизни, которую непрерывно прядет и тклет время, связала тот могильный холм с людьми, шагавшими по улице, с полями, мимо которых он проезжал, и с этой женщиной, несущей тяжелую корзину и свернувшей сейчас в палисадник по направлению к домику, в окнах которого зажглись огни.

Даям отвел глаза. Они смыкались от усталости.

Когда он вернулся в свой поселок, уже стемнело. Все ставни были закрыты. Он зашагал по тропинке и осторожно прикрыл за собой калитку, будто боялся кого-то потревожить. Во дворе напротив сердито залаяла собака.

Даям вошел в дом. Дебора сидела на кухне и дремала. Голова ее покоилась на плече, и, как все последние дни, казалось, что она бодрствует во сне. На погашенной керосинке стоял суп, над ним еще клубился пар.

Даям вошел в детскую. Здесь уже был Миха. Он крепко спал, прикрытый белым одеялом. В темноте его личико светилось. На нем лежала печать усталости. Отец нагнулся над сыном и прижал свою голову к холодной спинке кровати. Внезапно в ставни ударил ветер, с шумом сомкнув обе створки. Ребенок испуганно повернул головку. Даям выпрямился, поправил соскользнувшее одеяло, хранившее тепло детского тельца, и на минутку прикрыл им свои озябшие руки.



## Самир

Самир появился на свет на пустыре, лежащем между двумя цитрусовыми садами. Пустырь своей формой напоминал треугольник, две стороны которого окаймляли кипарисы со срезанными верхушками, а основанием служила асфальтовая дорога. Летом на пустыре разрастались колючки и терновник. К концу лета они превращались в густую чащу, похожую на исполинскую паутину, которая на каждое дуновение ветра отзывалась раздраженным шелестом. В дождливую пору здесь сваливали испорченные апельсины. Кучи сгнивших фруктов издавали едкий, кислый запах и бросали на черный асфальт дороги оранжевые блики.

Однажды утром на этом пустыре появились четыре жалких шалаша. Все они были сделаны из разноцветных тряпок, грязных мешков и ржавой жести, подобранной на разных свалках. Два серых осла, исхудавших настолько, что кости торчали у них со всех сторон, стояли недвижимо, привязанные к кипарисам. Большая собака с подрезанными ушами время от времени лениво лаяла. Женщины разжигали костер. Босые, долговязые мужчины заканчивали сооружение шалашей.

Кто же были эти случайные жители пустыря? Если судить по их одежде и нравам, это были не бедуины и не цыгане. Возможно, они принадлежали к какому-нибудь забытому клану или неизвестной донине народности, явив-

шейся сюда из глубин Аравийской пустыни. Женщины были все украшены тяжелыми ожерельями из каких-то древних монет и полумесяцев, сквозь ноздри у них были продеты большие кольца, как это часто делают у животных. Глаза мужчин были подведены сурьмой, а длинные волосы, смазанные липким, пахучим скипидаром, спускались вниз черными косами.

Люди эти жили по определенно установленному порядку. Их шалаши пустовали почти весь день. Мужчины работали, как правило, на поденной работе у владельцев цитрусовых садов. Кое-кто, правда, промышлял и другими неугодными государству занятиями. Женщины с большими мешками на спине расхаживали по ближним мошавам, где жили евреи. Они рылись там в мусорных ящиках. Кроме того, они с большой ловкостью превращали в свою собственность все, что плохо лежало.

Как-то одна женщина из этого лагеря вернулась из своей очередной прогулки позже обычного. В мешке, который висел у нее за спиной, что-то надрывно пищало. Ноги ее были испачканы кровью. Она родила прямо в поле по дороге домой. Только один-единственный крик вырвался у нее из груди. Зубами она перекусила пуповину, слюной смыла с новорожденного кровь, оторванным от платья куском крепко запеленала ребенка и бросила его в мешок, как бросала туда все, что находила в мусорных ящиках. Отдохнув немного, она поднялась и поплелась домой, оставив в пыли оттиск своего тела и кровавый след. Непрекращающийся писк за спиной сопровождал ее всю дорогу.

Новорожденный был мальчик — да будет благословен всемилостивейший аллах. Две финиковые ветки, поставленные возле косяков у входа в одну из палаток, извещали всех, что именно в этой палатке ее обитатели удостоились величайшей милости аллаха.

Новорожденный был похож на кусок мяса с небольшой черной гривой, из-под которой пара черных глаз блестела диким огоньком, как глаза лесного зверька. Это и был Самир. С первой минуты своего появления на свет его сопровождало неутолимое чувство голода. Грудь матери были вечно пустыми. Когда он их сосал, они сворачивались в складки, падая на его лицо словно порожние меха. И почти всегда он плакал, плакал, когда не спал и когда спал, когда лежал на сооруженной из веток постели у входа в шалаш и когда его носили в мешке за спиной. Бывало, мать для



его успокоения плевала на палец и совала палец ему в рот. На какое-то мгновение плач утихал. Самир по-звериному втягивал в рот палец, а потом кричал еще сильнее.

Одни мухи доставляли Самиру удовольствие. На пустыре мухи плодились мириадами. Никто их не уничтожал, и ничто им не мешало. Они носились сплошным роем и без помех облепляли спины и морды ослов. Но ни одно ухо не шевелилось, ни один хвост не двигался. Прогонять их было бесполезно. И собака это тоже поняла и спокойно дремала, лишь изредка издавая ленивый и недовольный лай. Мужчины, женщины, дети — все, занимаясь каким-нибудь делом или беседуя друг с другом, никакого внимания не обращали на мух, пусть себе хоть в рот лезут.

Самир ловил мух, чтобы их есть; он ловил их сознательно, в силу голода, который один управлял его слабым тельцем. Обычно он лежал на тряпках у входа в палатку. Его рот был широко раскрыт, напоминая мухоловку. Так раскрывают свои ловушки некоторые растения, которые питаются насекомыми. Черные глаза Самира внимательно следили за мушиными полетами, и каждая клетка его тела, каждое его движение интуитивно стремились поймать зазевавшееся насекомое. Его рот автоматически закрывался, как только туда попадала муха. И тогда его лицо морщилось от удовольствия.

Спустя несколько месяцев палатки исчезли с пустыря так же внезапно, как и появились. Осталось лишь грязное тряпье, переплетение следов да кучи почерневшего человеческого кала. Палатки появлялись время от времени в разных уголках страны, то в горах, то в долинах. Они появлялись внезапно, внезапно и исчезали, с определенной последовательностью, тихо и таинственно, словно тени. Это было как мираж, как эхо далеких, давно минувших дней, что всплывают иногда лишь в памяти времен.

С каждой новой остановкой Самир рос. Его худощавая, вечно голая фигурка вытянулась. Лишь впереди, словно приклеенный, пучился большой живот, из которого безобразно торчал огромный отросток пуповины, который так и не был в свое время удален. Лохматые волосы, темный блеск глаз, вечно угрюмая и тупая серьезность лица, которому были чужды смех и улыбка, обыкновение мчаться с ловкостью мыши на своих тоненьких, как щепки, ногах — все это придавало Самиру облик зверька. Во время переездов он сидел вместе с другими детьми на одном из ослов.

Когда мать пускалась в очередные поиски, она носила его за спиной в кармане мешка, заменявшего Самиру люльку.

По мере того как Самир рос, росло у него и чувство голода. И он всегда плакал, даже не плакал, а выл. Выл во сне и наяву, на спине осла и у матери за спиной. Выл он как-то особенно, так воют кошки или шакалы. И к вою его все привыкли, как привыкли к мириадам мух, осаждавших лагерь. Кстати, теперь Самир научился ловить их руками. Когда мать рылась в мусорных ящиках, Самир был тут же. Его голое тельце буквально тонуло в разноцветной смеси кухонных отходов, которые вызывали отвращение. Но Самир чувствовал себя здесь превосходно, опьяненный зловонием. Только голод его мучил еще больше. Он глотал все, что можно было жевать, и наконец сделался опытным хищником. В выборе жертв он не проявлял щепетильности. Все, что двигалось, шло в пищу: жуки, ящерицы, лягушки... Нет, Самир не брезговал ничем.

Самиру исполнилось семь лет. В последние два года он стал привлекать внимание родителей. Они стали замечать в нем признаки самостоятельности. Теперь, сопровождая свою мать во время ее странствий, он держался за ее юбку сзади и ловко маневрировал, не путаясь в ее ногах. Когда они бывали в городе, Самиру предоставлялась полная свобода. Пока мать была занята своими поисками, Самир прогуливался по улицам и собирал все, что попадалось под руку. Свои находки он прятал в маленькую, сделанную для него матерью сумку, которая закреплялась на голове и спускалась на плечи. В этой сумке находили приют различные предметы, хозяева коих неосторожно оставили их на окнах или во дворе. Сумка всегда была переполнена всяким добром, за исключением съестных припасов. Последние Самир уничтожал тут же, как только находил.

Однажды отец надел на него мешок, которому была придана форма абы, дал ему палку и посадил на осла. Мать накрасила его ресницы, из-за чего глаза Самира казались еще более жгучими, смазала скипидаром волосы и заплела их в косы. Затем повесила ему на шею ожерелье для красоты и от злого глаза. Это была грязная нитка, на которой болтались синие стекляшки. С этого дня

Самир стал мужчиной, он «вышел в люди». В тот же день родители вывели его в большой мир.

Осел пересекал заброшенные горные дорожки. На осле сидели отец и Самир во всей своей мужской красоте. Так они добрались до отдаленной деревни. Тут отец слез с осла и исчез в ближайшем дворе. Спустя некоторое время пригласили Самира. И вот ему стало известно, что его отдали внаймы в помощники пастуха. Мизерную плату наличными взял отец. А Самиру было обещано получать за свой труд хлеб и крышу над головой.

Отец исчез — уехал на том же осле после того, как в качестве прощального дара наградил сына легким шлепком по спине. А Самир остался. Ему выделили место в темном сарае, который служил также курятником и стойлом для осла.

Наступили дождливые дни. Мешок, который до сих пор висел у Самира на спине, теперь был накинут на голову. Из-под мешка виднелись тонкие, как щепки, вернее, как обугленные головешки, ноги.

Каждое утро Самир выходил вместе с пастухом. За деревней пастух часто скрывался в ближайшей пещере, где наслаждался предобеденным сном, и тогда вся ответственность за скот возлагалась на Самира, маленькую живую точку, сопровождавшую стадо.

На обед Самир получал всегда три лепешки. Он прятал свой обед на груди и с этой минуты центром его жизни становилось данное сокровище. К нему было направлено все его внимание. Теперь здесь билось его сердце и отсюда отдавались жизненные распоряжения всему телу и чувствам.

Никогда еще не доводилось Самиру съесть свой «обед» в один присест. Он щипал лепешки осторожно и с трепетом клал небольшие кусочки в рот, заполненный слюной. Ему хотелось бы сохранить свое сокровище навсегда, но лепешки быстро исчезали. Обнаружив, что все съедено, Самир впадал в ярость. Дрожащими руками развязывал он тряпку и подбирал все крошки. И вскоре Самира снова одолевало прежнее чувство голода. И он начинал опять выть. Телята и козы смотрели на него с удивлением, а он стоял и протяжно выл, удовлетворенно воспринимая несущееся из расщелин эхо.

Чувство голода, зарождавшееся где-то в желудке, сменялось странным ознобом. Внимание Самира обострялось.

Запах травы и теплого, свежего навоза, бил в нос и по вискам и оглушал его. Все эти ощущения, подобно острому ножу, кромсали его тело на части, задевая каждый нерв. В эти мгновения коровы прекращали жевать травы. Те, какие стояли от Самира неподалеку, пятились назад, а лежавшие на земле вставали и собирались в круг, испуганные, тесно прижавшись друг к другу. Слюна, как тонкая паутина, свисала с их губ. Что-то зловещее, звериное в облике Самира пугало их. Только передаваемый из поколения в поколение инстинкт самозащиты, когда животное подвергается нападению хищника, мог так проявлять себя. И тут Самир срывался с места, дрожа и скрежеща зубами. Он носился по полю, и протяжный вой нарушал тишину.

— Люди! Я голоден... голоден... голоден!..

В начале весны Самиру поручили пасти небольшое стадо коз вместе с козлятами. Он погнал стадо в долину, где сохранилась еще мягкая и сочная трава. На более высоких местах первые порывы хамсина уже уничтожили траву. Узкая долина служила руслом для вад<sup>1</sup>. Со всех сторон она была окружена крутыми горами, склоны которых кое-где были покрыты серыми каменистыми выступами и прошлогодними колючками. А внизу лежала свежая, ласкающая глаз зелень молодой травки, окрашенной россыпью различных цветов. Голое русло вад<sup>1</sup> было усеяно гравием и снесенными водой со скал камнями, а берега уже густо заросли травой и цветами, над которыми гнулись под ветром кусты олеандра с красными розами, одинокие оливы и редкие ивы.

Угрюмые и тяжелые тучи спустились около полудня в долину. Их густая тень стерла все цвета, сохранив лишь пустынную серость каменистых полей. Ветер налетел, словно брошенный с крутого склона кусок скалы. Одинокое старое фиговое дерево, голое и морщинистое, наклонилось, будто запросило о помощи. Небесные водяные меха, не выдержав, лопнули, и, сопровождаемый молниями и громом, полил крупный летний дождь. Большие капли, словно выстреленные из рогатки, сильно ударили по земле. Самир сунул два пальца в рот и издал протяжный свист. Это был сигнал тревоги. Разбредшееся стадо, услышав свист,

<sup>1</sup> Вад<sup>1</sup> — безводные русла рек.

быстро собралось вокруг пастуха. И пастух и стадо, сразу промокшие и продрогшие, поспешили укрыться в ближайшей пещере.

Козы скупились внутри пещеры. Козел начал было приставать к одной козочке, но против обыкновения натолкнулся на полное равнодушие. Холодно, мокро — какой уж тут флирт!

Самир вначале сел у входа. Но тут было холодно, и он отошел в глубь пещеры, к козлятам. Они сразу обступили его. Козел стоял позади в застывшей позе и лишь время от времени изредка чихал. У Самира еще осталась одна лепешка из его дневного рациона, и он стал неторопливо отщипывать от нее маленькие кусочки. Жевал он медленно, чтобы как можно дольше продлить удовольствие.

Вход в пещеру казался отгороженным от прочего мира сплошной дождевой сеткой. Вади воскрес. Буйные водяные лошади со спутанными гривами с шумом мчались по руслу ручья.

Лепешка кончилась, и Самира снова одолело чувство голода. А тут еще этот холод, бросающий тело в дрожь. В пещере было тихо. Козы бесшумно бродили то туда, то сюда, лизали стены и щипали на них мох. Козлята теснились у маток. Воцарилась таинственная тишина, которая еще больше подчеркивала шум извне. Тогда Самир снова завыл. Казалось, что вой шел не только изо рта, но и из глаз, рук, ног... Ошеломленные, застыли на месте козы. А там, за дождевой сеткой, кричала еще река, словно это был сам беспокойный Самбадион<sup>1</sup>. Самир сидел съжившись, покрытый промокшей мешковиной, и монотонно выл, как воеет голодный шакал.

Дождь не прекращался. Вади с грохотом нес грязную пенистую воду, которая все больше выходила из берегов, заливая расщелины.

Проникший в пещеру запах напоенной влагой земли увеличивал у Самира чувство голода. И он выл почти беспрестанно, во весь голос. Он уже охрип, но все еще выл. И вдруг он умолк и сбросил с себя мешок. Голый, он смотрел на стадо глазами зверя. Его тупой и угрюмый взгляд сеял страх. Испуганные козы потянулись к выходу, словно кто-то их подстегнул кнутом. Возглавил отступление козел, а стадо потянулось за ним. У выхода из

---

<sup>1</sup> Самбадион — название легендарной реки.

пещеры перед сеткой дождя козел остановился, потом вышел наружу и тотчас же, мгновенно промокший, юркнул обратно, как бы толкая стадо назад. Козы попятились в глубь пещеры.

Один Самир не двигался. Его блестящие глаза все время пристально глядели на коз, как бы выискивая жертву. И вот они, словно раскаленный клинок, пронзили одного крохотного козленка. Тот, словно чуя беду, сорвался с места и тревожно заблеял. Он нашел спасение между ногами своей матери и из-под ее брюха испуганно поглядывал на Самира.

Самир нащупал острый камень, зажал его в руке и ворвался в стадо. Он поймал задрожавшего от страха, блеющего козленка и с силой бросил его наземь. Первый же удар камнем разможил козленку голову. Тогда Самир попытался камнем снять шкуру и разделать тушку, но у него ничего не получалось. Потеряв терпение, он впал в ярость и уже бессмысленно стал наносить удары камнем по голове. Он бил и ругался, посылая кому-то проклятья. Наконец ему удалось сделать несколько рваных надрезов. Запахло свежей кровью.

Ошеломленные козы с тупым удивлением глядели на происходящее. Рогатая голова козла застыла посреди стада. И только его ноги от беспокойства часто меняли точки опоры.

Самир, отшвырнув в сторону камень, с рыком голодного зверя набросился на разорванного козленка. Он весь дрожал, когда впивался зубами и ногтями в свежее мясо, и громко чавкал.

Но в середине трапезы на Самира неизвестно почему нашел страх. Он в ужасе бросился к выходу и выбежал из пещеры под дождь. Он даже забыл набросить на тело мешковину. Кого он боится и куда он бежит? Этого он не знал. Его щепкообразные ноги быстро несли его по скользкой тропинке у склона горы. Он бежал и кричал: «Мама!»

И тут у него вдруг началась рвота. Все, что он только что съел, желудок выбросил на землю.

А вокруг Самира высились серые и мокрые скалы. Они затаились, словно звери, чей покой внезапно нарушили. Его все время преследовал гром...

Одинокое фиговое дерево, что росло внизу, в долине, подняло к небу свои омытые дождем ветви...

**Охранник,  
который не хотел  
продавать фалафел<sup>1</sup>**

(Из записной книжки  
репортера)



Однажды мне позвонил секретарь «Союза строителей» Авраам Дроян.

— Тебе следует обязательно посмотреть выставку народного творчества жителей деревни Кефар-Сабба.

— Почему мне следует ее посмотреть?

— Потому что весь мир должен знать, чем занимаются люди из Кефар-Саббы в свободное от работы время и какие у них золотые руки. Кроме того, учти, что весь сбор от этой выставки идет на благотворительные нужды.

— Хорошо,— согласился я, со словом «следует» спорить трудно.

Мы условились о дне поездки. Дроян должен был захватить за мной, и мы вместе поедem в эту Кефар-Саббу.

В назначенный день Дроян попросил меня выйти из дому раньше, так как он должен был еще до поездки побывать в качестве свидетеля на суде.

По дороге Дроян рассказал мне, по какому делу ему придется давать свидетельские показания. Вот что он мне сказал.

Среди членов «Союза охранников» был один опытный страж по имени Шимон Кохен. За ним закрепилась слава преданного и бдительного сторожа. Как он, бывало, мчался по полям на лошади со своей верной породистой овчаркой! Это был идеальный охранник, о каком можно

<sup>1</sup> Фалафел — восточное острое блюдо.

было только мечтать. Все были довольны работой Кохена, пока однажды — а это случилось четыре года назад — его не перевели в район Раананы.

Во время объездов полей Раананы Кохену довелось побывать в арабской деревне Тира, где ему приглянулась одна арабская девушка. Вскоре он женился на ней. Хотя мы народ просвещенный и свободный от предрассудков, заметил мой собеседник, нельзя было просто воспринять брак сторожа-еврея с арабской девушкой. Злые языки оклеветали Кохена. Пошел слух, будто он вовсе и не Кохен. Более того, что он вовсе не еврей, а черкес, который назвал себя Кохеном, чтобы ввести в заблуждение людей. Никто не смог этого доказать, но тот факт, что из всех женщин нашей страны он нашел возможным выбрать себе в жены арабскую девушку, уже послужил убедительным доводом, что у него не все благополучно.

И вот работа Шимона Кохена вдруг перестала удовлетворять жителей Раананы и «Союз охранников». Его стал подозревать в воровстве. Эти обвинения никем не были доказаны, но никем и не оспаривались, за исключением самого Кохена. Однако этого было достаточно, чтобы его снять с работы.

С тех пор прошло четыре года. И все время Кохен стучался в двери городского совета Раананы и «Союза охранников». Он умолял, чтобы его вернули на прежнюю работу, но все оставались глухи к его просьбам.

«Некоторые время тому назад, — рассказывал мне Дроян, — когда я был в Кефар-Саббе, я встретился с председателем раананского совета и обсуждал с ним вопрос об охране в этой местности. И вот в кабинет вошел Кохен и снова попросил нас, чтобы мы поручили ему охрану местности. Он не просил — это не то слово, — он умолял, утверждая, что ему нечем кормить своих детей.

Я ему ответил, — продолжал Дроян, — что ему нельзя поручить охрану, так как жители Раананы подозревают его в воровстве. Нельзя же заставить их взять сторожем человека, которому они не доверяют. Я знаком с Кохеном много лет и должен тебе сказать, что все время мы гордились им, считали его образцовым служащим. То же самое я говорил и председателю совета, но что делать, если теперь Кохена считают вором?

Тут Кохен не вытерпел:

«Если я ворую, то почему меня не передают полиции?»



И как вы можете утверждать, что не даете мне работу потому, что подозреваете меня в воровстве, когда именно тот сторож, которого вы взяли вместо меня,— известный вор-рецидивист, сидевший не раз в тюрьме за кражи?»

В ту минуту, когда Кохен это сказал, дверь приоткрылась и вошел сторож, о котором только что шла речь.

«Вот! — воскликнул Кохен.— Вот он сам! Спросите у него, правда это или нет.»

«Да, я был вором,— ответил вошедший,— и крупным вором. Я взломал сто восемьдесят квартир! У меня была такая отмычка, что всякую дверь открывала. Да вы можете справиться в полиции. Они все меня знают. Не было такой квартиры, в которую я не смог бы забраться. И это еще не все. Я и развратничал и другие номера выкидывал. Ну и что? Во время последних выборов я заявил в МАПАЙ<sup>1</sup>: «Довольно, если вы сделаете меня охранником, я больше не стану воровать. Никогда!»

«Вот видите!» — крикнул Кохен.

Убедившись, что Кохен прав, я рассказал тогда историю, которую помню еще со времен турок. Это рассказ о старом арабе, который что-то украл. Его поймали и дали ему «флакс». А «флакс» — это удары по пяткам, вызывающие сильную боль. Араб лежал на земле, полицейские били его, а сержант громко считал удары. Но, любопытно, араб после каждого полученного удара кричал: «Ой, спина моя, ой, спина!»

Удивленный сержант спросил его: «Почему ты кричишь: «Ой, спина моя!», когда тебя бьют по ногам?» Тебе следовало бы кричать: «Ой, ноги мои!»

Но араб ответил: «Спина-то как раз у меня и больная, а будь она здоровая, вы не посмели бы бить меня по ногам».

Я рассказал эту историю с надеждой, что Кохен извлечет из нее мораль: у кого сильная спина, того нельзя бить по ногам. Но Кохен ничего не захотел понять. Как только я умолк, он поднялся и, крикнув: «Вы еще обо мне услышите!», вышел из кабинета.

Спустя полчаса он вернулся с тремя детьми. Усадив их за стол, он сказал:

---

<sup>1</sup> МАПАЙ — аббревиатура слов, обозначающих «Рабочая партия Израиля»

«Если вы мне не даете работу, чтобы я мог прокормить детей, возьмите их себе и кормите сами». — И сразу ушел.

Потом его долго искали, а теперь в Кефар-Саббе против него возбуждено судебное дело за то, что он бросил детей. И судья пригласил меня дать по этому делу свидетельское показание.

Эту историю Дроян рассказал мне по дороге, когда мы ехали в его легковой машине. Когда Дроян направился в суд, я последовал за ним, чтобы посмотреть, чем кончится дело.

В коридоре, прилегающем к залу заседаний, возле полицейского на скамье сидел Кохен. Это был красивый худощавый мужчина с легкой сединой на висках. Он был одет в поношенный китель и выцветшие брюки цвета хаки. Увидев Дрояна, он встал и сказал ему:

— Вот видишь, Дроян? Если б ты мне дал работу, не вышла бы вся эта история. Ведь не мог же я смотреть, как мои дети погибают от голода.

— Но я тебе уже говорил, — ответил Дроян, — что работу охранника я не могу тебе дать. Если все говорят, что ты вор, этого нельзя делать. Посиди спокойно несколько лет, и, если о тебе ничего дурного говорить не будут, может быть, мы что-нибудь для тебя сделаем.

— Но что мне теперь делать?

— Ты можешь, например, купить лошадь и повозку, продавать фалафел или что-нибудь другое.

Когда Кохен услышал эти слова, он страшно побледнел. Я знал, что происходило в душе у Кохена, этого отважного стража. Ведь это он когда-то мчался на лихом коне по полям с винтовкой за спиной, опоясанный патронными лентами, а вслед за ним стлалась в беге его огромная овчарка. И такому человеку предлагают продавать фалафел? Таскать овощи на базар?! Это ведь все равно что предложить Наполеону открыть продовольственную лавку!

Между тем в зал заседаний вызвали Дрояна. Я вошел вслед за ним. Зал был переполнен. В это время разбиралось другое дело, и мы с трудом нашли для себя место на задней скамейке.

Но вот судья — доктор Бухвит — вызвал Дрояна, пригласил его занять место свидетеля и рассказать подробнейшим образом, что ему известно о Шимоне Кохене и в

особенности восстановить подробно тот разговор, который имел место в кабинете председателя совета Раананы. Когда Дроян закончил свои показания, судья его спросил, предложил ли он в тот раз Кохену отдать своих детей в приют, если ему нечем их кормить?

Дроян ответил, что он ничего подобного не предлагал. Судья, видимо, ждал этот ответ, он прикрикнул на Кохена и начал свою нравоучительную речь так громко, что дверные косяки задрожали.

— Ты видишь, Кохен, какой ты лгун? С той минуты, как ты мне это сказал, я знал, что ты лжешь, но я хотел, чтобы это подтвердил и свидетель. Теперь я доказал тебе, что ты лгун и лентяй. Ты ведь знал, что тебе работу в охране не дадут. Так почему ты не пошел на другую работу? Этот свидетель дал тебе хороший совет, а ты его не послушал. Ты хотел работу в охране, а когда тебе сказали, что это невозможно, ты бросил детей на произвол судьбы и еще посмел лгать в суде! Поэтому я выношу такое решение: посадить тебя в тюрьму на шесть месяцев. Два месяца ты отсидишь сразу, а четыре месяца получишь условно, и если в течение двух лет ты еще раз оставишь детей, то будешь заключен в тюрьму еще на четыре месяца!

На этом речь закончилась, и судья приказал полицейскому вывести обвиняемого в коридор.

Мы тоже вышли в коридор, Дроян хотел было что-то сказать Кохену, но тот так и кипел от негодования.

— Я им еще покажу, где раки зимуют,— выдал он из себя.— Теперь я из тюрьмы уже не выйду. Если они меня выпустят, я снова туда попаду. Я не могу оставаться на воле, когда у моих детей нет куска хлеба!

Мы видели, что нам здесь делать нечего, и пошли к машине Дрояна, чтобы ехать на выставку. Но когда мы сели в машину, нам стало не по себе. Что-то внутри нас восстало против жестокой несправедливости, свидетелями которой мы стали. Я был взбешен и сказал Дрояну, что необходимо достать для Кохена адвоката, который подал бы жалобу на это судебное решение. Ведь ясно же всякому, что, если б у него был адвокат, дело приняло бы другой оборот.

— Давай вернемся,— сказал я Дрояну.— Я хочу спросить Кохена, согласен ли он, чтобы я ему нанял адвоката, который от его имени подал бы кассацию.

Мы вышли из машины и вернулись в полицейский участок. Кохен сидел в коридоре возле охранявшего его полицейского, в той же позе, в которой мы оставили его пять минут назад. Лицо его будто окаменело, глаза уставились в окно, в какую-то невидимую точку.

Я подошел к нему и потянул его за рукав. Кохен повернул лицо ко мне, но глазами он еще как бы упирался в ту невидимую точку.

— Меня зовут Цаббар,— сказал я ему.— Я случайно присутствовал на суде и хочу спросить, согласитесь ли вы, если я найму вам адвоката для подачи кассационной жалобы.

Глаза Кохена продолжали неотрывно смотреть в окно на небо, где сидит бог и управляет весами правосудия. Наконец он мне ответил:

— Нет, мне не нужен адвокат.

Вот и все. Рассказ закончен, хотя он и не имеет конца. Я знаю, что найдутся люди, которые будут удивляться, читая этот рассказ, так как в нем они найдут самих себя. И Дроян будет удивляться. Наверно, он скажет: «Мне не понять этого Цаббара. Я взял его с собой на выставку, кружил с ним по улицам Кефар-Саббы, потратил на него весь день, а он о чем пишет? О суде Кохена?»

Но об этом уже написано в Пятикнижии, где сказано об одном человеке, который отправился искать ослиц, а нашел чудищ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Писатель нарочно саркастически смешивает здесь сюжеты различных библейских сказаний.

К. ЦЕТНИК

„Видергутмахунг“<sup>1</sup>



## Репарации

Какой была моя мать?.. Как описать мне ее? Она была самой прекрасной из всех матерей мира. Это она говорила:

— О нет, мой сын не мог поступить дурно.— И ласково притягивала меня к себе.

Или:

— О нет! Дурно поступила я сама. Ведь я и мой сын — одно целое.— И глаза ее заглядывали мне прямо в душу...

И как я мог допустить, чтобы моя мать была в чем-то виновата? Даже самой невинной детской шалости я старался избегать.

Мама!

Из всех женщин на земле она была самой прекрасной.

И я знаю, я в этом твердо убежден, что на пути в крематорий она видела одно лицо, мое лицо.

Мама, теперь предлагают всем репарации. И мне хотят возместить твою гибель деньгами.

Но я, к сожалению, не знаю расценок. Сколько рейхсмарок полагается получить за сожженную мать?..

Мой сын не мог поступить дурно...

Мама, я чувствую твои простертые ладони над моей головой. И я смотрю тебе в глаза.

Не правда ли, мама, ты не стала бы брать денег за своего сожженного сына?

<sup>1</sup> Видергутмахунг — исправление ошибок, возмещение убытков (нем.).

У моей сестры были длинные, золотые волосы. Когда мама мыла их, руки утопали в золотистых пузырях и на дно ванны струился водопад чистого золота.

Моя мать любила вплетать ленты в косы своей маленькой дочурки. Перебирая ленты, мама напевала:

Зеленая лента подходит к золотым волосам,  
розовая идет к смуглому личику,  
а небесно-голубая — к ее глазам.

Глаза у моей сестры были голубыми, как небо.

Когда ясным субботним утром солнечные лучи играли в локонах сестренки, соседи спрашивали ее, выглядывая из окошек:

— Скажи, это чьи волосики у тебя на головке?

И сестренка отвечала:

— Мамины!..

Я очень любил ее волосы. Их никогда еще не касались ножницы...

Перед тем, как мою сестру сожгли в крематории Освенцима, ей, впервые в жизни, остригли волосы. Семнадцать лет росли ее золотые кудри.

Длинные золотые кудри. Семнадцать лет...

Ее волосы отправили в Германию в товарном вагоне, их упаковали в квадратный тюк или мешок, словно хлопок. Их везли на фабрику для производства одеял, подушек, мягкой мебели.

Теперь, может, в Германии какая-нибудь девушка укрывается этим одеялом. Золотой волосок покажется из ткани. Девушка протянет к нему руку.

— О, девушка, отдай мне этот волосок! Это золотой волосок моей сестры...

Сестра, сейчас всем предлагают репарации. Мне хотят деньгами заплатить за твою гибель. Но я не знаю расценок. Сколько рейхсмарок полагается за золотые кудри моей сожженной сестры?..

— Скажи, это чьи волосики у тебя на головке?..

— Мамины!..

Мама, какую цену ты бы назначила за золотые кудри твоей дочери?

Моя мать напевала:

Зеленая лента подходит к золотым волосам,  
розовая идет к смуглому личику,  
а небесно-голубая — к ее глазам.

Глаза моей сестры были голубые, как небо.

Я узнал бы твою обувь, отец, среди множества ботинок, туфель и сапог.

Твои каблуки никогда не кривились.

Твоя поступь всегда была прямой...

На площади перед крематорием ежедневно вырастает новая гора обуви.

— Помнишь, отец, когда я был еще мальчиком, ты впервые разрешил мне вычистить твои сапоги, и я постарался навести на них глянец и сверху и снизу.

Как ты смеялся тогда надо мной!

— У сапог, сын мой, есть и такая сторона, которой люди ступают по грязи. Когда станешь взрослым — поймешь...

— Отец, теперь я уже стал совсем взрослым...

Солнце проливает свои лучи и на гору обуви.

Обувь!

Гора обуви!

Распоротый детский ботинок — раскрытый ротик ребенка, обращенный к ложечке каши в материнской руке; распоротый детский ботинок — детская головка с вырванными глазами, выглядывающая из горы обуви на сияние солнца.

А рядом, на самом верху, — туфелька изнеженной дамы, высокий тонкий каблучок, покрытый коричневыми чешуйками. Сверху — только несколько ремешков и больше ничего; на крутом изгибе подошвы светится золотом фабричное клеймо.

А рядом — запачканный известью рабочий сапог. Солнце проникает в него словно в тоннель, высеченный в бесплодной скалистой горе.

А рядом — горный ботинок альпиниста. Носок его также твердо стоит на горе обуви, как стоял сам альпинист, когда, поднявшись на снежные высоты Татр или Монблана, с трудом перевел дыхание и воскликнул: «Какой изумительный вид!»

А рядом — деревянная человеческая нога в ботинке. Протез, залитый солнцем.

Ботинки, туфли, сапоги, босоножки...

Горы обуви!

Отец, среди этой груды я все равно узнал бы твой ботинок. Твои каблуки никогда не кривились. Твоя поступь всегда была прямой.

Верните мне хотя бы один волосок из золотых кудрей сестры моей.

Верните хоть один ботинок отца.

Хоть одно сломанное колесико из игрушек моего братишки. Одну пылинку, которая падала на плечи моей сестры!





## Сила дождя

### 1

Во дворе брошена сеялка. Под навесом стоит землепашец и задумчиво покусывает соломинку. Щурясь, смотрит он на полустертый адрес фирмы на корпусе сеялки и на комья грязи, прилипшие к ее колесам. Непрерывно льет дождь, густой, надоедливый. Деревья склонились под его тяжестью, по всему двору бурлят потоки воды.

Когда мы вышли сеять, стояла еще осень. Вечерами можно было срывать виноградинки, оставшиеся на лозах после сбора урожая, и приносить домой полную шапку черных и золотистых ягод. По утрам было холодно, и веялки сверкали, как и наши новые дизельные тракторы. Тракторы эти каждое утро тащили за собой огромные, солнцеподобные диски, и верилось, что, после того как в землю будут брошены последние семена, небеса останутся такими же безмятежно голубыми. Знатоки из нашей бригады (а кто себя не считает знатоком!) вытирали руки, перепачканные в саже и солярке, и, пряча тряпки в шкафчики, говорили:

— Нынче не избежать засухи. Это как пить дать. Дождей не будет. Мы-то знаем, как-никак старожилы...

И вот наши сеялки стоят во дворе под проливным дождем. Он начал лить после бушевавшего в течение трех дней хамсина. Ветер дул с такой силой, что виноградные лозы и те завяли. Вспаханные поля были черны, как воронье крыло, а стерня горела золотым пламенем. В по-

следний вечер после хамсина горизонт стали рассекать молнии. При каждой их вспышке мрак внезапно отступал, и на землю глядели огромные огненные глаза. Но на усадьбе кибуца только посмеивались:

— Даже если две недели подряд будет такая иллюминация, с неба не упадет ни капли. Мы спокойно отсеемся, будьте уверены...

Но уже ночью полил дождь. Тяжелые теплые капли неторопливо забарабанили по жестяной крыше, подобно граду. В птичнике возник переполох. Заволновались и обитатели конюшни. Лошади били копытами, громыхали цепями мулы. Ночные сторожа, забравшиеся на кухню, чтобы согреться, тревожно прислушивались к шуму дождя.

— Что-то будет с севом?

— Неужели к утру не утихнет?

— Ведь успели только пятьсот дунамов...<sup>1</sup>

— А я уверен, что завтра можно будет сеять...

— Кормовые травы даже не начинали...

— Это разве дождь? Только побрызгало.

— Не смейся людей!

— Глупости какие!

Жирный кот выгнул дугой спину над грудой тарелок, и хвост его мелодично зашуршал между чашками в большой кухонной раковине. В окне сверкали молнии, на дворе гремел гром. Дождь усиливался. Кибуцники беспокойно ворочались в своих постелях. Тревожные мысли, подобно ночным призракам, лишали их сна. Скребло на сердце. Впрочем, нашлись умники, которые решили, что нет худа без добра.

— Не велика беда,— говорили они с наигранным оптимизмом.— Во всяком случае, завтра на рассвете никто будить не будет. Хоть раз в жизни выспимся всласть.

Совсем по-другому думал бригадир, ответственный за сев.

— Если дождь утихнет, в полдень начнем.

Ночные сторожа глубокомысленно рассуждали вслух:

— Осадков выпало не больше пяти миллиметров.

— Что ты! Намного больше!

— Конечно, больше!

---

<sup>1</sup> Дунам — 0,1 гектара.

Кот боялся выйти на улицу.

Утром в столовую все явились в сапогах. Мокрым блеском отливали плащи. Не успев отдышаться, люди с шумом стряхивали фуражки, с которых струйками стекала вода. Просторное помещение столовой гудело, как улей. Люди толпились у дверей, заглядывали в окна, но никто не решался выйти — дождь лил как из ведра. Пол был весь затоптан, каждый принес столько грязи, что дежурные лишь вздыхали и сокрушенно качали головой. Вокруг бригадиров толпились изнывавшие от безделья люди. Но бригадирам не оставалось ничего другого, как объявить трактористам и сеяльщикам, что они свободны (безумием было бы в такой день выходить в поле). Настроение сразу поднялось. Люди, сбившись в кучки, незлобливо подшучивали друг над другом, от нечего делать совали свой нос в чужие дела. Когда появились утренние газеты, над каждой нависли гроздья голов.

Досталось кухонной бригаде: все поглощали сладкий чай и хлеб с маргарином в двойном и тройном размере. Ну что может быть вкуснее крепкого, обжигающего губы чая и душистого хлеба с маргарином в такой суматошный, дождливый день?

— Братцы, кто на боковую? За мной!

А дождь не прекращался. Вначале никто не придавал этому большого значения. Но когда на следующее утро выяснилось, что выпало более тридцати миллиметров осадков, все поняли, что дело это не шуточное. Теперь придется ждать солнечных дней, пока подсохнет почва и можно будет возобновить сев.

— На огородах-то не страшно — можно работать и под дождем. Не надо быть только неженками... В садах и виноградниках тоже не беда — можно вносить удобрения и обрезать лозу. Но что будет с зерновыми?..

Люди стояли под жестяным навесом и, задумчиво покусывая соломинки, с тоской глядели на бесполезные сейчас огромные тракторные сеялки. Все на свете перемешалось. На глазах рушилась извечная традиция, впитавшая в себя запах муки и душистого зерна. Все знали, что, если сейчас не посеять, кибуц останется без хлеба.

В давно минувшие времена в подобных случаях прибегали к колдовству, молились идолам. Но что делать теперь? Кибуцникам казалось, что испокон веков люди сеяли только с помощью тракторов и сеялок, иначе и быть

не могло. Все готовы были работать от зари до зари, хоть двадцать часов подряд, но только на тракторе и с помощью машин. Это дело верное: зерно ритмично течет медленной, строго дозированной струйкой в землю, молчаливо и беззвучно раскрывающей для него свои объятия, а затем также молчаливо и беззвучно смыкающей их. И вдруг — на тебе! Ни тпру, ни ну!..

Стали поговаривать о живом тягле. Что ж, если уж нет другого выхода, можно попробовать. Но скорей бы прекратился этот нескончаемый дождь!

Русло нашего вади быстро наполнялось водой, и вскоре она стала выходить из берегов. До конца осени этот вади обычно стоял сухим, а его русло было изрезано трещинами, как дряблая кожа на лице старушки. Между колючими кустарниками сновали ящерицы; маленькие камешки, которыми было усеяно дно, крошились от жары. Но теперь вади совершенно преобразился. Все вокруг наполнилось стремительным движением, бурным и безудержным ликованием.

Вначале потоки были умеренными. Вода после первого дождя не вела себя слишком дерзко. К тому же после него наступил обманчивый перерыв. Как-то ночью небо прояснилось и навесило на свою могучую грудь яркие золотые пуговицы, что сверкают на нем с самого сотворения мира. Утро было прозрачно-голубым, но вскоре над долиной повисли огромные белые клочья густого тумана, а над вади наподобие дыма закружился пар.

Верхом на лошадях парни выехали на поля, чтобы проверить почву. Дренажные канавы были полны воды, в некоторых местах она даже залила поля. Пахотная земля, как губка, впитала в себя несметное количество влаги и стала мягкой и топкой. Лошади то и дело останавливались в поисках точки опоры — они начали вязнуть.

Вернувшись на центральную усадьбу, люди решили, что ждать придется не меньше недели, пока немного подсохнет. Да и тогда, кто знает, можно ли будет выехать в поле с тракторными сеялками. Если же использовать на севе живое тягло, то это двойная работа, двойная трепка нервов, сплошные муки и для людей, и для скотины. Но и это окажется возможным лишь при условии, что не будет больше дождить... Что и говорить, перспектива была не из веселых. Но люди не роптали.

— Ладно, помучаемся... Зато поля будут засеяны вовремя...— И добавляли: — Если повезет и удержится хорошая погода...

## 2

Но не прошло и недели, как снова начались дожди.

Наш вади взбесился. В том месте, где он углубляется в лес, появился оползень, и начал пениться пруд. Вскоре там образовался бурлящий днем и ночью водоворот. Ночные сторожа слышали его рокот даже сквозь раскаты грома, шум леса, завывания ветра и барабанную дробь дождя о железную крышу.

Над руслом вади с незапамятных времен стоят старые ивы. Теперь их стволы омывают бешеные потоки воды, увлекая за собой изломанные ветки, деревья непрерывно стонут и жалобно поскрипывают...

Далее вади стремительно спускается в узкую расселину. Ее окружают толстые, почерневшие кусты дикой малины, образуя над ней большой навес, из глубин которого доносится громовой шум водопада. Затем вади вторгается в гущу леса. Вокруг него шумят вечнозеленые сосны, стройные кипарисы обрамляют заросшие тропинки на его берегах.

По вади беснуются бурные, пепельно-серые потоки воды. Они несут в себе ветры далеких холодных гор, остатки почвы, скопившейся за многие годы на скалах, тонко измельченный прах засохших растений и старую змеиную кожу, запах диких коз и коровий помет арабских селений Эйн-А-Тена и Эйн-А-Шейх...

В том месте, где широко раскинули свои ветки красавицы эвкалипты, вади расширяется, его потоки умеряют свой бег. Тут от его голых берегов разбегаются в лес тропинки. И снова широкой и величавой лавиной движется вода, а над ней смыкаются густые кроны деревьев, образуя естественный шатер.

Но вот вади вступает в фруктовые сады селения Абу-Шуша, извивается, пенится, скачет, пока не достигает шоссе. Под шоссе его воды проходят по специально для них проложенным бетонным трубам. Вырвавшись оттуда, они нещадно смывают возделанную почву в сливовых садах, курчавые полоски клевера и пашню, подготовленную для

посева. Впадает же вади в Кишон; только здесь, наконец, его потоки прекращают свой разбойный бег.

Когда гремит и грохочет вади — значит, гремит и грохочет дождь. Когда гремит и грохочет дождь — значит, гремит и грохочет вади. Между вади и дождем установились, к великому огорчению земледельцев, поистине дружеские отношения... И вот стоят наши парни под навесом и от нестерпимой досады покусывают соломинку. У них перед глазами — бездействующие машины, а в сараях нетерпеливо бьет землю копытами рабочий скот.

Но вот отодвинулись за горизонт дождевые облака. Дождь из долины перекинулся в горы. Люди здесь — большие оптимисты. Они никогда не теряют надежды. Посоветовавшись, они решили: «Коль на тракторах нельзя, выведем на поля лошадей и мулов». И вот уже все лихорадочно готовят сбрую, удила, дышла, грохочут цепями, делают пробные выезды. Если он и впрямь не вернется (этот такой сейчас неуместный дождь), то, пожалуй, можно отсеяться вовремя.

— Возьмем на поля жен и детей, прекратим на время работу в садах, меньше будем возиться с молоком, клевер вывезем на тракторах, а уж поля засеем вовремя! Обязательно засеем, чего бы это ни стоило!

### 3

И тогда наступила третья полоса дождей...

Это произошло в полдень. Внезапно потемнело и началось форменное светопреставление. Разверзлись хляби небесные, и водяные потоки бушевали и неистовствовали, как никогда раньше. Вместо того чтобы работать в поле, мы распивали в столовой чай, толпились возле душа, кутались в одеяла, пели песни о нашей распрекрасной жизни и жарили картошку.

День померк, спустилась темень. Ливень шумел без отдыха и передышки, как заводной. И с каждой минутой мрачнели наши мысли, росло наше отчаяние.

А в конюшне в это время околевал Могучий. Возле него стоял парень, и в губах у него торчал стебелек — «соломинка размышлений»... Круп Могучего дрожал, голова была низко опущена к земле, ноги одеревенели и были уже холодными: заражение крови. Красивая морда лошади

время от времени вздрагивала и приподымалась, но глаза были закрыты и слезились желтоватой слизью. Парень стоял возле коня, видел, как тот испускает дух, и ничем, решительно ничем не мог ему помочь.

Могучий был гордостью и славой кибуца. С ним в упряжку можно было ставить самого чахлого конягу и не сомневаться, что будет полный порядок, все пойдет как по маслу. Все знали — Могучий не подведет. И вот он погибает, и спасти его нельзя.

Такой труженик, как Могучий, должен уйти из жизни молча, в гордом одиночестве. Возчики, которые много лет работали с ним, не должны его видеть в этот скорбный час. «Они уже улеглись спать,— думает парень, покусывая соломинку.— А может, склонились за шахматами, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, или жалуются друг другу на ломоту в костях...»

Как же сейчас сеять, когда нет Могучего? Кто, кроме него, может справиться с десятками дунамов в день? И кто будет приветствовать радостным ржанием ворота усадьбы, запах конюшни, длинный, но совсем не страшный кнут конюха?..

Молча стоит парень, охваченный невеселыми думами, и смотрит, как гибнет конь, которому нет цены и нет замены, и кусает губы от бессилия. А дождь все льет, льет и льет...

Когда парень вышел из сарая, на улице стояла крошечная тьма. Он месил грязь ногами, и его неотступно преследовали упрямые мысли. Первая — к утру Могучий околеет, и вторая — надо сеять вручную. Надо сеять, даже если придется ползать на четвереньках. Надо сеять, даже если самому придется лечь в землю вместе с золотистым зерном!

Ночью женщина разбудила спавшего рядом мужа. Он вскочил и через минуту был уже одет. Сквозь боль она улыбалась ему, а он зажег свет и вышел во двор. Дождь висел в воздухе, как живой, непрерывно движущийся занавес. Все звуки перекрывал угрюмо грохотавший вад, и казалось, что весь мир проклят и наполнен шумом, тенью и проливным дождем. Таким мир сотворен, и до скончания века дождь все будет лить, лить и лить...

Ночные сторожа рассказали встревоженному мужчине, что вади вышел из берегов, проник в нижний колодец и угрожает затопить мотор, с помощью которого подается питьевая вода. Светя электрическим фонариком, они проводили мужчину до гаража и сказали дружелюбно, с искренним сочувствием:

— И вздумалось же ей в этакую ночь... Да, это будет нелегкая поездка...

Мужчина запустил мотор пятитонки и повел машину на свет окна. Остановившись у дверей дома, он вышел из кабины. Жена, укутанная в большое пальто, скрадивавшее ее располневшую фигуру, уже ждала его. На ногах у нее были сапоги, на голове — толстый шерстяной платок. Муж вывел ее из комнаты и с большой осторожностью усадил в кабину. Он медленно повел грузовик по направлению к шоссе, напутствуемый добрыми пожеланиями ночных сторожей.

По гладкому и сверкающему в темноте асфальту перекатывались потоки воды. Яркий свет фар все время упирался в дождевую завесу, а «дворник», ритмично постукивая и брызгая каплями в лицо водителю, очищал смотровое окно.

Женщина опустила голову на плечо мужа. От боли она кусала губы. Не решаясь на нее взглянуть, он тихо спросил, словно обращаясь в пространство, к летящему на них из ночи дождю:

— Который час?

— Двенадцать. Может быть, десять минут первого,— ответила женщина, вся съежившись, так как боль с каждой минутой становилась все нестерпимей.

Больше они не проронили ни слова.

Небольшие мосты, по которым проезжала машина, были уже под водой, и колеса, вздымая волны, с шумом разрезали стремительные потоки. Грузовик проехал мимо спящих арабских селений, окруженных деревьями, которые покорно кланялись темной земле.

Еще издали водитель и его жена слышали шум Кишона. С обеих сторон шоссе вода мчалась по канавам к реке. В двух огромных золотых трубах, образованных светом фар, скакали, прыгали, плясали обезумевшие потоки дождя.

Достигнув реки, машина остановилась. Мост, перекинутый через реку, был затоплен. Определить, где вода, а



где мост, было невозможно. Нечего было и думать о переправе на другой берег.

...Он был настолько ошеломлен, что две-три минуты не в состоянии был шевельнуть рукой, и эти минуты показать ему вечностью. Потом встрепенулся, вылез из машины и захлопнул за собой дверцы. Мотор продолжал ритмично постукивать. От фар над бурлящим водоемом тянулись две длинные золотые трубы.

Водитель обошел машину, посмотрел по сторонам и вдруг рывком открыл дверцу и влез в кабину. Он сел рядом с женой и стал ей что-то говорить. Она слушала его с удивлением, потом согласилась. Он погладил ее по щеке, она же сняла с себя платок и повязала им непокрытую голову мужа.

Он вышел из машины и медленно зашагал вперед. Он шел по воде, все время чувствуя под ногами твердый и ровный асфальт шоссе. Мост был перекинут у нижней кромки естественного склона, и потому по мере продвижения вперед человек все более погружался в воду. Вот она уже ему по пояс... Вода была холодной, а течение очень сильным, но надо было во что бы то ни стало сохранить устойчивость, не дать воде сбить себя с ног.

Все более погружаясь в воду, он медленно нащупывал ногами мост, дабы не отклониться в сторону. Он уже спотыкался о камни и одной ногой даже ступил на мягкую, засасывающую почву... Были трудные минуты, очень трудные, но он не позволял себе оглянуться назад... И вдруг дорога пошла в гору, и вода стала резко убывать. Шоссе было повреждено, но подъем с этой стороны был крутым, и вот вода уже ниже лодыжек, а теперь под ногами снова асфальт. Он уверенно зашагал по нему под проливным дождем.

После холодной воды в потоке дождь казался теплым, а струи его мягкими и даже приятными. Справа от шоссе замелькали одинокие огоньки, и вскоре он понял: это военный аэродром.

Мужчина оглянулся. Два сверкающих огненных глаза глядели на него издали. И внезапно появилось щемящее чувство, что все пережитое — это лишь начало долгих злоключений, конец которых трудно предугадать. Как его здесь встретят?

Он подошел к сторожевой будке, возле которой застыл часовой. В будке стоял полевой телефон. Часовой оказал-

ся флегматичным бородачом с винтовкой в руке. Оба они — молодой землепашец, облепленный грязью до пояса, и молчаливый бородач с винтовкой в руке — стояли, согнувшись, друг против друга возле тусклой электрической лампочки. Она тихо дрожала вместе со столиком и будкой. Бородач пододвинул телефонный аппарат к водителю.

В пустой комнате раздался продолжительный телефонный звонок. Вскоре кто-то снял трубку. Вначале его не поняли, несколько раз переспрашивали, потом твердым, решительным голосом обещали помочь. Разговор оборвался, но водитель уловил характерные звуки торопливых сборов в дорогу. Положив телефонную трубку на рычаг, он улыбнулся своему неведомому благодетелю.

Бородач пошел следом за ним, постоял у ворот и посмотрел в ту сторону, куда показал водитель. Там, среди густой темени, светились золотые глаза автомобильных фар.

Теперь предстояло пересечь разлившийся поток в обратном направлении, но это было легче, так как свет автомобильных фар указывал дорогу. Жена за эти минуты очень побледнела, губы ее были искушены до крови. Она провела рукой по мокрой одежде мужа и привлекла его к себе. Он не отрываясь смотрел на шоссе, на то место, где вскоре должны были замелькать электрические фонарики. И снова эти две-три минуты показались ему вечностью. И снова появилось гнетущее чувство, что все трудности еще впереди и его злоключения только начинаются. Он подумал о затопленных и незасеянных полях, задыхающихся от потоков воды. И ночь эта вдруг наполнилась для него таинственным страхом первобытного человека перед грозными силами природы.

Но вот он заметил вдали мерцающие бледные огоньки. Значит, пришла помощь!.. Плотнo укутав жену и прикрыв ей голову мешком, он бережно вывел ее из кабины. Медленно и осторожно двигаясь, они дошли до воды. Тут он взял жену на руки, прижал к груди и понес через поток. Она крепко обняла его за шею, чуть отвернув голову, чтобы он мог смотреть вперед. Кончиками пальцев он прижал ее голову к плечу, и она, послушно закрыв глаза, доверилась его сильным рукам.

Ноша была тяжелой. Он спускался по склону, погружаясь в воду все глубже. Дождь не ослабевал. На шерстяном платке крупные капли воды сверкали при свете фар,

как маленькие жемчужины. Он был уже по пояс в воде и двигался с большой осторожностью. Больше всего он боялся поскользнуться, потерять под ногами шоссе.

То ли усилилось течение воды, то ли он устал и ослабел, но ему показалось, что ветер и дождь непрерывно и сильно секут влажными розгами спину и лицо. Он сильнее прижал к себе жену и шел вперед, расталкивая воду телом. Свет, мерцавший вдалеке и плескавшийся в воде, внезапно остановился. И ему вдруг показалось, что до огоньков еще так далеко, что никогда, никогда не преодолеть ему этого расстояния. А вода грозно шумела вокруг. Что-то твердое ударило его по ноге, и он едва не упал. В ту же минуту он почувствовал, как из-под подошвы выскользнул камень-голыш.

Немного постояв, он тронулся дальше. Ноша оттягивала руки, и он боялся, как бы вдруг они у него не задрожали, не ослабели, не разомкнулись. Далекие огоньки стояли неподвижно, но он уже слышал зовущие его голоса и сразу же откликнулся. В ответ кто-то пошел ему навстречу.

И вот наконец показались люди. Они просят передать им его бесценный груз.

— Не стоит... Уже близко. Я сам донесу.

Не говоря ни слова, женщину бережно уложили в теплую и сухую машину и захлопнули дверцу. Ее муж стоял несколько секунд, опершись о капот машины. Ему показалось, что он слышит стон роженицы, что уже начались последние схватки, и он быстро и взволнованно заговорил. Чужой, неизвестный ему человек обещал:

— Мы позвоним через час. Сюда, в сторожевую будку.

— Это когда же? А сколько сейчас времени?

— Три часа. Мы будем звонить в четыре.

Он смертельно устал. Машина укатила. А по ту сторону реки все еще горели два золотых огненных глаза.

#### 4

Зима наступала прескверная. Немало соленых и крепких словечек было сказано по ее адресу. Но горше и оскорбительнее всех были проклятия пахарей — они невольно вырывались из глубины сердца. Облаченные в кожанки, кибуцники густо дымили и скрежетали зубами. Но вот кто-то встал и громко заговорил. Кожанки придвинулись

к нему поближе. Его слушали внимательно и время от времени одобрительно качали головой.

— Скажите, пожалуйста, кто плюет на этот дождь? Кто плюет на непогоду и в ус себе не дует? Они! — И он показал в сторону арабского селения Абу-Шуша.

— Кто, скажите мне, уже отсеялся? Они! Кому, скажите мне, наплевать на дождь, так как они могут сеять хоть сегодня? Им! А почему, скажите, пожалуйста, почему? Потому что они пашут лошадьми, а сеют вручную. Потому что они так обрабатывают землю, что никакое несчастье, даже если луна свалится с неба, не помешает им пахать, сеять, жать, а затем и молотить... В самом деле, посмотрите на них. Их участки в горах... Красота! У нас нет таких участков. Там ты работаешь, даже когда льет как из ведра. Вы видели, как они ползают со своими конягами и худыми коровенками и скребут землю под каждой скалой?.. Почему же, скажите на милость, почему мы не можем делать то же самое?.. Даже когда льют дожди! Почему бы и нам завтра же не выйти в поле?.. Да к черту завтра! Сегодня же!

Оратор обвел всех глазами и, убедившись, что его внимательно слушают, закончил так:

— Только не спрашивайте меня, пожалуйста, как... Будем сеять вручную, а на пахоте используем всю нашу скотину. И знайте, что я сейчас же иду запрягать и сеять, даже если ни один из вас не тронется с места. К черту! Надоело! Сколько можно отсиживаться? Противно!

Мысль эта родилась с первым погожим днем. Мысль простая и ясная, как этот первый ясный день. Нельзя было дальше терпеть, мучиться, вздыхать и бездельничать! Мир так великолепен, а ты сиди тут сложа руки...

Итак, решено — мы будем сеять вручную. Мы выведем в поле всех — стариков, детей, всю нашу скотину. И нам наверняка помогут! Впрочем, кто нам поможет?..

Оседлав трех лошадей и по-праздничному разукрасив их гривы лентами, мы поскакали в Абу-Шуша. Там сейчас, после того как феллахи отсеялись, каждую ночь справляют свадьбы. Сейчас у них что ни день — праздник. Из всех хижин вздымаются кверху струйки дыма.

И вот что мы сказали жителям этой деревни:

— По-соседски просим — выручайте! И если есть у вас желание помочь нам — запрягайте коней и вытаскивайте из сараев на свет божий ваши давно запряганные плуги и

сохи. Приложите также ваши умелые руки. Зато, когда придет весна, мы вспашем ваши поля нашими могучими тракторами и нашими огромными плугами — каждый их нож берет, пожалуй, не меньше, чем полдюжины ваших. Долг платежом красен. Соседи должны выручать друг друга. Бог благословит труды ваших рук.

И еще мы сказали:

— Вы видите наши поля? Они превратились в сплошное болото. Мы не успели их засеять и останемся без хлеба. Чем будем мы кормить детей наших?

— Как тут сеять? — спросили соседи.

— Горсть за горстью... горсть за горстью. Семена уже очищены.

— А кто будет сеять?

— Разве найдутся во всей долине лучшие сеятели, чем вы? Мы будем работать с вами рука об руку.

— А скотина?

— И наша, и ваша. Тягла у нас мало. Сами знаете, что мы давно заменили его машинами, а лучший наш конь околел.

— Это белый?

— Да.

— Какая жалость!

— С божьей помощью дни будут подходящими для ручного сева. И поля выдержат, кони — не дизельные тракторы. И мы будем сеять, сеять и сеять! Зато весеннюю вспашку проведем на ваших полях нашими тракторами. Сделаем это от всего сердца!

И, слава богу, дни стояли погожие. Феллахи с лошадьми собрались у ворот нашей главной усадьбы еще до восхода солнца. Когда мы выходили из сараев с нашими откормленными мулами и лошадьми (впереди двигался трактор с зерном), из-за темени мы еще не различали лиц. Мы видели только — стоят на дороге люди, каждый со своей лошадкой и маленьким деревянным или железным плугом.

Дул холодный ветер, лошади испуганно заржали, услышав тарактение трактора. Поэтому мы велели трактористу свернуть и объехать собравшихся стороной. Затем мы подошли к поджидавшим нас арабам.

Они встретили нас приветственными возгласами. Мы сердечно поздоровались. В каждую из наших телег мы впрягли по паре соседских лошадок, погрузили их легкие, прямо-таки игрушечные плуги, помогли феллахам взобрать-

ся на телеги, потеснились, чтобы было место для всех,— и в поле!

Да, мы опоздали с севом, но зато сейчас работали как одержимые. Разделив поля на участки, мы всем миром штурмовали их сразу со всех сторон. За парной упряжкой, волочившей плуг, медленно шагала шеренга сеяльщиков. За ними на некотором расстоянии пахали еще несколько парных упряжек. Затем снова двигалась целая шеренга сеяльщиков. И так мы шли вперед и вперед, и работа шла, как на конвейере.

Почва на полях была мягкая, хорошая, сорняки еще не успели взойти. Как желанный дар, принимала земля золотые зерна, и они покоились в бороздах, пока не покрывались мягким и рыхлым черноземом, напоенным влагой и солнечным светом.

Тракторист, который без усталости возил мешки с зерном, а в полдень привез для всех обед, глядел на работающих и не верил глазам своим. Наши поля, никогда не видевшие таких примитивных орудий, спокон веков приученные к могучим ножам дирингов и полидисков, эти поля лежали теперь мирно, спокойно и как бы отдыхали... Они не стонали под тяжестью тракторов и беспощадных лемехов мощных механических плугов, а прямо-таки блаженствовали, радуясь, что их так деликатно расчесывают... Это даже нельзя было назвать пахотой. Это скорее напоминало какую-то забаву — деревянные игрушечные плуги, тощие, поджарые лошаденки...

Сев между тем шел своим чередом, и успели мы, надо сказать, немало. Сеяльщики время от времени подъезжали к трактору на своих легких телегах, грузили на них мешки с зерном и отвозили на поля. И каждый раз, когда мы открывали мешок, феллахи, чуть ли не в тысячный раз, взвешивали на ладони золотистые зерна, слегка подбрасывая их кверху, смотрели друг на друга и на тракториста, и глаза их выражали восхищение. Какая красота! Вот это зерно! Каждое зернышко — чуть ли не целый хлебец!

Мы вышли из дому еще до рассвета, а вернулись, когда уже стемнело. Все счета — потом, когда все зерна лягут в землю. Появятся зеленя — и мы возьмем первый выходной. Окрепнут всходы — отдохнем на славу. Когда колос начнет наливаться зерном, можно будет денек-другой понежиться в кровати, а когда зазолотятся хлеба — опять начнутся горячие денечки. Тогда никто не считает часов,

все трудятся до изнеможения. Нет места среди нас трусливым и малодушным, и никакая работа нас не страшит, только бы собрать хороший урожай!

Далеко окрест, куда только доставал глаз, чернели поля, по которым прошли пахари. Утром при восходе солнца они блестели, к вечеру голубели, а на закате отсвечивали розовым светом, и чудилось, что на них уже появились всходы. Но когда же, когда же наконец они появятся?..

А между тем начался четвертый тур дождей. Дождь нагрянул в полдень. Еще с утра мы ждали его, но сева не прекращали. Мы работали очень напряженно и почти закончили сев. Когда первые дождевые капли ударили в лицо и по небу над долиной поползли рваные облака, люди было заметались по полю. Но сев — это сев, и тут необходим определенный ритм. Если мотаться по полю галопом — о хорошем урожае и не мечтай. Скотина чуть было не взбесилась, но люди, напрягая мускулы, обуздали ее.

Мы сеяли до тех пор, пока земля не стала прилипать к плугам, упорно сопротивляясь нашим усилиям. Пока лошади держались на ногах... Пока мы не стали вязнуть в сплошном болоте... Тогда мы подбежали к телегам, прикрыли семена, мигом запрягли лошадей и помчались домой.

В пути нас настиг ливень. Он хлестал скачущих лошадей, и они обезумели. Повозки набрали воды. Дождь превратил в мокрые тряпки всю нашу одежду и пронял нас до костей... А мы стояли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не свалиться от сильной тряски, и, задрвав головы к небу, пели и кричали от радости.

Очутившись у ворот главной усадьбы, мы не расстались здесь с феллахами из Абу-Шуша, не распрягли их лошадей, а с шумом и гиком въехали всем табором во двор. Скотину — в сарай, а людей — под огромный навес для машин. Там мы стояли большой промокшей толпой и прислушивались к барабанной дроби дождя по жестяной крыше. Стояли, молчали и сосредоточенно прислушивались.

— Фактически, — сказал один из наших, разминая пальцем соломинку, — фактически мы уже отсеялись!

В эту минуту мы увидели, как один из феллахов, потомственный пахарь, наш старый сосед из Абу-Шуша, подошел к огромному плугу, лемеха которого торчали мощными плоскими кусками металла. Он внимательно разгля-

дывал его, совсем позабыв о дожде. Волосы его прилипли к лицу, а аба<sup>1</sup> развезалась на ветру, и по ней стекали струйки воды.

Наклонившись над плугом, он потрогал гладкую литую сталь, а затем с уважением провел рукой по большим лезвиям лемехов. При этом он все время улыбался, будто предвкушая грядущую весеннюю вспашку.

---

<sup>1</sup> Аба — арабская шерстяная верхняя одежда.





## В горах

В один из зимних дней пастух Авраам Рахмани медленно брел за своим стадом овец. Слегка утомленный подъемом на гору, он лениво думал о мелких домашних делах, что ждут его вечером по возвращении в деревню. Теплое зимнее солнце, привольно плывшее по чистому, безоблачному небу, навевало дремоту. Оно излучало такой прозрачный и ясный свет, что преобразились и засверкали по-новому давно знакомые места. Посвежевшая природа обостряла чувства. Временами Авраам останавливался и вглядывался в гигантские снежные вершины, замыкавшие небосвод с севера. Они казались невесомыми. И тогда он вспоминал свои прогулки по Хермону в молодые годы. В ту пору он бродил в горах, влекомый любознательностью. А сейчас он бродит здесь, занятый самым будничным делом, которое его кормит.

Потом Авраам опускал свой взор в долину, где среди деревьев пестрели селения, они были видны как на ладони. И тогда он думал о людях, которые сейчас там напряженно работают, не имея ни минуты покоя, и благословлял свою судьбу. Его профессия давала ему возможность жить особняком, между богом и людьми, вместе со своими бессловесными овцами.

Равнина, облеченная в зелень, походила на огромный плащ, расцвеченный там и сям черными и синими квадратами. То были нивы и рыбные пруды. Машина, ехавшая по шоссе, казалась отсюда не больше жука, но ее

быстрое движение не соответствовало картине умиротворенности и праздничного покоя под голубым и неподвижным небом.

На косогоре растительность была небогатая. Много скота проходит здесь днем, и он пожирает всю скудную зелень склонов, плодородную почву которых смывают дождевые потоки. Если же подняться выше, к вершине, то там травы густые, нетронутые: близость границы заставляет пастухов избегать «ничейной» земли, и потому растительность здесь особенно пышная.

Авраам неторопливо вел свое стадо и зорко следил, чтобы от стада не отбилась ни одна овца. В полдень неразумных ярочек влекло почему-то к вершине, к сочным пастбищам, матки же стремились спуститься вниз к своим ягнятам, оставленным в овчарне. Пока Авраам подогнал отбившихся, стадо ушло далеко от своего пастбища. И тут перед пастухом открылись новые картины. Знакомая гора предстала в другом облики. Сплошной ковер из пестрого разнотравья, выросшего в приволье на ничейной земле, покрывал горные изгибы и спускался по склонам в долину. Миндальные и фруктовые деревья в запущенных садах, брошенных во время войны, источали острый и терпкий запах.

«Вот это да!» — мысленно произнес Авраам, как делал всегда, когда был чем-то взволнован.

Он уселся на полуразрушенную каменную ограду и приготовился пообедать. Вокруг царили удивительное спокойствие и тишина, слышался лишь хруст обрываемой овцами травы да глухой шум изредка скатывавшихся где-то внизу камней. Авраам разложил газету, в которую была завернута еда, и глаза его машинально заскользили по заголовкам. Но ничто его не задело за живое, так как газета была старая, и к тому же все, о чем она писала, уж очень не вязалось с этим полным покоем и отрешенностью от мирской суеты. Он запел что-то вполголоса, довольный своей участью, когда неожиданно за его спиной лязгнуло железо и раздался резкий окрик:

— Стой! Ни с места!

— Добро пожаловать, — сказал Авраам и неторопливо оглянулся. Эта медлительность шла еще от того беспечного покоя, который им владел, и от дремотного состояния, навеянного зноем. Но когда он увидел двух вооруженных арабов, то сразу понял, кто перед ним.

Его спокойствие — результат запоздалой реакции на неожиданную встречу — обескуражило тех двоих. Они стояли сзади с наведенными на него автоматами, и по их лицам было видно, что они не знают, как быть дальше.

По спине Авраама пополз неприятный озноб, руки его внезапно отяжелели. Он боялся, как бы парни нечаянно, от возбуждения, не всадили в него пулю, и поэтому не шевелился.

Но он все-таки заставил себя встать и заговорил с ними на безукоризненном арабском языке, спокойно и по-дружески, как человек, не могущий поверить, что против него замышляется зло. Он знал, что весь его облик внушает доверие.

— Добро пожаловать! Но зачем эти ружья? — И он показал на автоматы. — Спрячьте их. Ведь вас вся деревня засмеет, а девушки тем более. Два вооруженных парня напали на безоружного старика. У вас даже руки дрожат...

Они слушали его с удивлением: как здорово говорит он на их языке. А может быть, их удивило его спокойствие.

Теперь все трое стояли лицом к лицу. Автоматы молчали. Сейчас нужен был особый повод, чтобы выстрелить в него. И Авраам почувствовал, что действует правильно. Его слова затруднили выполнение их замысла. Теперь он уже не был для них безвестным евреем, в которого безо всякого можно всадишь пулю. Слово сделало свое дело. Оно установило человеческие отношения между жертвой и убийцами. Теперь убивать пришлось бы не еврея вообще, а определенную личность, к тому же вызвавшую их любопытство. Но надо быть все время настороже, чтобы не навлечь на себя их ненависть.

Авраам хорошо понимал, что не от страха дрожат их руки. Просто они еще ни разу в жизни не убивали человека. Он верно понял их душевное состояние — в нем было любопытство, смешанное с удивлением, и нетерпеливое желание, готовое перейти в азарт. Еще немного — и они будут хвастаться, что собственноручно прикончили одного еврея, и будут с трепетным удивлением глядеть на его тело, бьющееся на земле в агонии, как бьется зарезанная курица, пока оно окончательно не затихнет. И тогда их, может, постигнет разочарование, как обычно бывает, когда азарт проходит. Ведь у их ног будет лежать бездыханный труп — и только.

Авраам ненавидел это жестокое любопытство, свойственное юнцам, жаждущим овладеть тайнами жизни и не останавливающимся перед убийством. Эта жажда происходит из-за полнейшей бесчувственности и скудости воображения.

Парни выглядели оборванцами: поношенные военные гимнастерки были в дырах, шерстяные жилеты — потертые и рваные, брюки — явно не по размеру. Младшему можно было дать лет шестнадцать — на его щеках только пробивался редкий пушок. У него были большие красивые глаза, а всклокоченная шевелюра напоминала миртовый куст. Второй, лет двадцати, рябой, с приплюснутым носом, маленькими печальными глазками и жиденькими грязными волосами, напоминавшими свалывшуюся шерсть на овечьем курдюке, был попросту безобразен.

Авраам смотрел то на одного, то на другого, не зная, как втянуть их в разговор, чтобы выиграть время и отвлечь их от черных замыслов. Но к кому из них обратиться? Перед ним стояли двое, и он должен угадать, кто из них более человек. Возможно, от этого зависит его жизнь. Он больше боялся младшего, красивого. Такие красавчики, никогда не знающие мук уродства, не в состоянии посочувствовать ближнему. Эгоизм рождает жестокость, презрение к старым и слабым. И Авраам возлагал надежды на безобразного. Уродство и бедность рожают иногда возвышенные чувства.

— Руки вверх! — закричал рябой, и в его маленьких глазах засверкал жестокий огонек.

Авраам рук не поднял, он только спросил:

— Зачем?

— Руки вверх! — закричал рябой вторично и положил палец на спусковой крючок.

— Но зачем? — беспечно сказал пастух. — Ей-богу, это целепо...

Парни удивленно переглянулись. На устах у младшего появилось подобие детской улыбки. Авраам почувствовал, что опасная игра достигла предела. Если его сейчас не пристрелят, то спасение возможно. Его возьмут в плен.

Он и сам удивлялся своему поведению, но только знал, что чувства его не обманывают. Ведь страх как бы примиряет со смертью, признает ее возможность, и жертва сама становится невольной участницей собственной гибели. Страх — это верная смерть, только чуть задержавшая-

ся. А хладнокровие и самообладание, исключают даже самую возможность покушения на твою жизнь, дают убийц тяжелой ответственностью. Они должны вызвать смерть, которой нет, создать ее из ничего.

— Руки вверх — и молчать! — закричал рябой и вскинул автомат.

— Вы хотите, чтобы я, старый человек, участвовал в этой забаве?.. Зачем вам это?

Он развел руками и приподнял плечи, выражая этим жестом крайнее удивление.

— Так надо, и все,— сказал младший и опустил автомат с видом человека, вынужденного идти на уступки, ибо, оказывается, никто, кроме него, не соблюдает правил игры.

Авраам улыбнулся.

— Так надо? Но, братья, надо же понять почему? Вот вы, два молодых парня с автоматами, угрожаете безоружному старику...

— Есть оружие? — перебил его рябой.

— Я же сказал, что нету, к чему же еще спрашивать? — огрызнулся Авраам, проявив еще раз свое превосходство. Он обрел право выражать возмущение, и они должны посягнуть на жизнь человека, обладающего чувством собственного достоинства.

— Обыщи его,— недоверчиво приказал старший.

Авраам помог молодому вывернуть свои карманы. Во время обыска он глядел ему прямо в глаза, и тот опустил веки, показывая, что выполняет неприятную обязанность. Заметив, что парень голодными глазами смотрит на разложенную на газете еду, Авраам сказал:

— Угощайтесь!.. Я уже заморил червячка и совсем не голодный.

— Скоро ты уж никогда не будешь голодным! — крикнул старший.

— С божьей помощью мы все не будем знать голода. Засухи, кажется, не будет,— спокойно ответил Авраам, поняв, что до сих пор он разговаривал не с тем, с кем надо. Большая опасность исходила от рябого. И он завел разговор с младшим, который рылся в его сумке:

— Дожди, правда, запоздали, но зато шли часто. Урожай будет хороший. И яровые, с божьей помощью, пошли дружно. А ты как думаешь? Или вам говорят, что то, что хорошо для нас, плохо для вас. Да? Но это

неправда. Вон видишь, тучка? Она прольется дождем и на Аль-Джиб и на Беэроатаим<sup>1</sup>. И у нас, и у вас — одна молитва в сердце... Эй, куда... — закричал он на овец, заметив, что стадо движается вверх по склону. — Пока мы тут стоим и разговариваем, все овцы разбредутся.

— Са-лех! — закричал рябой.

— А-а-а! — послышалось в ответ с вершины холма.

— Тут стадо! Надо угнать!

— Куда? И что это значит — «надо угнать»? — сердито спросил Авраам.

— Неделю назад в Бир-Хамаме евреи угнали у нас стадо.

— У вас ружья, у вас и закон, — ответил Авраам, давая понять, что его вынуждают согласиться с явной несправедливостью.

Рябой издевательски засмеялся.

— Говоришь, ружья? Ты что, слепой? — Он погладил свой автомат типа «Карл-Густав», и по блеску его глаз было видно, что он им очень гордится. — А еще говорят, что у вас каждый еврей — солдат. Клянусь, этот пастух никогда не видел автомата, — обратился он к товарищу.

Рябой пытался казаться таким же хладнокровным, как Авраам. Это хладнокровие он хотел обрести, хвастаясь своим оружием.

— Славная штучка, — добавил он горделиво.

— И безотказная, — добавил младший, надевая себе на плечо пастушескую сумку Авраама.

— Та-та-та — и ты готов. Навсегда! — усмехнулся рябой, обнажив здоровые, сверкающие белизной зубы.

— Но для этого вовсе не нужно такой славной штучки, — ответил в тон ему Авраам.

Парни рассмеялись.

— Точно! Что такое человек? Его можно убить даже камнем! — грустно добавил младший, и в его голосе прозвучала жалость.

— И камнем, и болезнью, и даже простой водичкой, когда ее больше, чем нужно... — сказал Авраам, умаляя значение того, что они собирались с ним сделать. — И все-таки он властвует над всеми, и эти славные штучки сделал своими руками, — добавил он, как бы возвращая человеку его достоинство. При этом он мерно, в такт словам, пока-

<sup>1</sup> Аль-Джиб — арабская деревня. Беэроатаим — еврейская деревня.

чивал головой, выделяя главное напевной интонацией, как это принято у пожилых арабов.

— Э-э,— сказал рябой с гордостью.— Сейчас все делают на заводах. Я был в Джанине. Все делают машины, богу даже молятся.

— Это по радио Хаджи Махмуд молится,— сказал младший, гордясь своей осведомленностью.

— А вы знаете, почему бог не создал машины? — продолжал Авраам неторопливо плести нить ученого разговора. (Когда человек разговаривает, да еще жестикулирует, он прочнее связан с бытием, его труднее отторгнуть от божьего мира.)

— Нет,— простодушно ответил младший.

— Так почему же, я вас спрашиваю, бог создал человека, который сам делает машины, а не создал сразу и машины? Вы не знаете? Хорошо, что вы встретили старого еврея, который объяснит вам это. Бог не захотел создавать машины, чтобы не погубить человека. Он дал ему разум, чтобы человек сам мог создавать машины, чтобы он не стал лентяем. Бог ненавидит лень больше, чем злую жену!

— Здорово! — заметил рябой.

— Больше, чем злую жену! — смеясь, повторил младший.— Ну, а у кого злая жена, тот уже не боится бога!

— Из-за злой жены мужчина становится лодырем. И ему тогда крышка!

Эта тема на короткое время установила между ними какое-то единодушие. Авраам был доволен своей маленькой победой, но он заметил тень озабоченности на лице старшего: тот, видимо, почувствовал, что удаляется от цели. Младший же был явно польщен, что участвует в настоящем мужском разговоре.

— Клянусь богом, он говорит правильно, как по радио! — воскликнул он.

— Подумаешь, по радио! Там говорят по бумажке. А вот ты радио сделай.

— А ты сделаешь?

— Сделаю.

— Правда?

— Когда учатся, все можно сделать,— ответил Авраам с нарочитой скромностью, еще более поразившей парня.

— Умеешь делать радио, а пасешь скот; как мальчишка! — Он недоверчиво посмотрел на Авраама.

— Клянусь своей верой.

Авраам невольно взглянул на свои старые ботинки и грязные заплатанные брюки. Он знал: с их точки зрения пастух — это бедняк, горемыка, это тот, кто стоит на самой низкой ступени общественной лестницы. И вот он — еврей, волосы которого посеребрила уже обильная седина, все еще пасет скот. Видно, он неудачник. Но теперь ребята встревожены: неужели этот народ так могуч, что даже пастухи у них умеют делать радио? А может, они досаждают на тех, кто не уважает столь образованного и старого человека и заставляет его пасти скот. Так или иначе, но у ребят может возникнуть симпатия. А от этого зависит его жизнь.

— Да, — вздохнул он, — ты, конечно, еще молод и не знаешь, что такое кубания<sup>1</sup>. Спроси у односельчан, они тебе расскажут. Я знаю, у вас еще живы старики, которые бывали у нас в добрые времена, ну, например, шейх Фархан, Абдул Азис, Махмуд Салех... Они, бывало, говорили нам: о, если бы вы были арабами... Жили бы мы тогда припеваючи, ходили бы в золоте, ведь у вас все ученые да образованные, все вы умеете делать, каждый может легко разбогатеть. А мы им, бывало, отвечали: «Мы не гонимся за золотом...»

— Я это слышал, — сказал рябой. — Мне отец рассказывал.

— Что же говорил тебе отец?

Старший начал объяснять товарищу, как живут и работают в кибуце. Несколько раз Авраам прерывал его, уточняя разъяснения рябого. «Не богатство и не деньги для нас главное, а честность и справедливость», — говорил он, сам удивляясь примитивности своих суждений. Уж много лет не приходилось ему так упрощенно говорить о сложных жизненных вопросах. Он ведь знал, что все на самом деле гораздо сложнее. Но то, что было лишь приблизительно верным и далеко не точным там, в долине, было чистой правдой здесь, в горах. Когда находишься между жизнью и смертью, все становится очень простым.

Авраам внимательно следил за выражением лица рябого, который говорил о евреях с ненавистью и презрением, и чувствовал, что опасность не ушла. И действительно, маленькие глазки рябого вдруг сверкнули, он взял

---

<sup>1</sup> Так арабы называют кибуц — еврейские сельскохозяйственные коммуны.



автомат на изготовку и сердито закричал на своего товарища:

— Чего уши развесил? Они мастера зубы заговаривать... Не успеешь оглянуться, как забудешь, кто ты, а кто он. А тебе зачем дали оружие? Чтобы ты его шлепнул! А ты во все глаза на него смотришь! Тоже нашел наставника... Пулю в него — и дело с концом. А ты не сделаешь — сделаю я. Раз — и вместо красивых слов изо рта кровь хлынет.

— А зачем его убивать? Какая нам от этого польза? — спросил младший, и глаза его подернулись грустью. — Ведь он совсем старик, седой весь.

— Ты дурак! — цыкнул на него рябой.

— Он, наверное, хочет похвастаться перед односельчанами: я-де воевал с евреем и убил его. А на тебя он сердится потому, что ты можешь всем сказать, что «герой» всего-навсего застрелил невооруженного старика, — сказал Авраам, бросив презрительный взгляд на рябого.

— Я не деревенский, и мне наплевать, что скажут его односельчане. Я настоящий араб и знаю, кто мой враг, — горделиво произнес старший, снова взяв автомат на изготовку.

— А-а, он не из деревни... Поэтому он не знает, что уже восемь лет на этой границе не проливалась кровь. Поэтому ему ничего не стоит положить конец миру и добрососедству, благодаря которым крестьяне спокойно засевают свои поля и знают, что никто не помешает им снять урожай.

— Мы не должны его убивать! — решительно сказал младший.

— Они убивали арабов! — закричал старший.

— Солдаты убивали, а он старик и даже не ополченец.

— С чего ты взял?

— С чего он взял? — сказал Авраам насмешливо. — Он моложе тебя, а умнее. Если бы я был ополченцем, то не ходил бы у самой границы с пустыми руками.

— Ну, конечно! — обрадованно воскликнул младший.

— И не стыдно тебе ругаться со мной в присутствии еврея! — закричал рябой.

— Ладно, я замолчу, только его убивать не надо.

— Подойди ко мне! — сердито сказал старший. Он положил руку на плечо товарища и, отойдя в сторону, стал ему что-то нашептывать.

До слуха Авраама доносились лишь отдельные слова, но по смущенному выражению лица молодого парнишки он понял, что тот выслушивает веские доводы в пользу убийства. «Нельзя допустить, чтобы порвались наши человеческие отношения»,— подумал Авраам. Жизнь висит на ниточке-паутинке, которую он соткал разговором. Если он будет молчать, то нить оборвется и он погибнет.

— Вы взяли у меня все сигареты, а я хочу курить,— сказал он спокойно, будто исход этих тайных переговоров его ничуть не интересует.

Младший пошарил в пастушеской сумке. По его смущенному виду Авраам понял, что доводы старшего не оказались настолько убедительными, чтобы лишить его такой ничтожной милости, как папироса. Он вынул сигарету из пачки, подал ее дрожащей рукой Аврааму и сам зажег спичку.

Авраам не упустил возможности снова дружески заговорить с младшим. Он доверчиво взглянул на парнишку и сказал ему шепотом:

— Твой друг — плохой человек.

— Он не мой друг, я его совсем не знаю. Он не из наших,— ответил парнишка тоже шепотом.

— Ты что там болтаешь? — закричал старший.

— Он твой начальник? — спросил Авраам.

— Нет,— ответил младший.

— Почему же ты разрешаешь ему кричать на себя, как на провинившегося ребенка?

— А ты прав,— тихо сказал парнишка, и в его красивых глазах зажглись гневные огоньки.

— Ох, и дурак,— вздохнул старший.— Возишься с каким-то евреем, и все потому, что у него хорошо подвешен язык.

Они еще продолжали препираться, а сверху, с горы, быстро спускался еще один молодой араб, высокий, босой, с ружьем на плече. Он нес его небрежно, как пастушеский посох. Парень ловко прыгал с уступа на уступ, и весь его вид свидетельствовал о спокойной силе и жизнерадостности.

— А вот и Салех,— сказал младший с облегчением.

Салеху было на вид лет двадцать пять, он был ладно скроен, лицо у него было очень смуглое, выражавшее и добродушие и храбрость. А глаза были большие, круглые, чуть выпуклые. Авраам внимательно осмотрел пришельца — так разведчик рассматривает неизвестную местность,

граничащую с лесом, куда он должен вступить, пытаюсь предугадать, какие его ждут там опасности. Молодой человек понравился Аврааму. «Землепашец,— подумал он про себя.— И жизнью доволен, и лишен, кажется, того любопытства, которое другим может стоить жизни».

Салех начал допрос с видом человека, которого лишь недавно научили этому делу и он сейчас на практике проверяет свои познания. Всему свое время, торопиться некуда... Трудно сказать, будет ли какая польза от допроса, но так его учили, и так он действует.

— Кто такой? — спросил властно Салех.

— Вот это человеческий разговор,— сказал Авраам радостно.— Этих молодых, видно, не учили вежливому общению. Только мы, люди старшего поколения, умеем соблюдать вежливость, как нам внушали здесь с рождения. Зовут меня Ибрагим Рахмани. А как вас звать? Хотя зачем я спрашиваю? Я ведь слышал — Салех. Да благословит всевышний ваши поля и ваши стада!

— Откуда родом?

— Из Беэртаим.

— Оружие есть?

— Если бы оно было, меня уже убили бы. Вы ведь знаете изречение: «Простодушные гибнут от собственного оружия, ибо оно пугает других».

— Ты друг арабов?

— Друг хороших и враг плохих.

— Те, которые хороши для нас, плохи для него,— счел нужным вмешаться в разговор рябой.

— Бог дал людям свои законы, чтобы они могли отличать добро от зла,— сказал Авраам многозначительно.

— Что смыслит этот еврей в божьих законах! — вспылал рябой.

Тогда Авраам процитировал стих из корана, сказанный во славу евреев: «Я избрал вас из всех народов, о, сыновья израилевы».

— Это было давно,— сказал Салех, и чувствовалось, что он повторяет чужие слова.— Прошлое отошло в вечность.

— О! — печально воскликнул Авраам и сокрушенно покачал головой.— Как ты можешь так говорить? Что наша жизнь без древних обычаев и традиций? Разве не тем искони гордились арабы, что бог всегда сопутствует им и слово пророка для них, как хлеб насущный?

Он вполне искренне сокрушался об исчезнувших благородных арабских обычаях, тем более что от этого сейчас зависела его жизнь. С большой теплотой он вспоминал случаи из своего детства, частые визиты шейхов, относившихся к его отцу как к лучшему другу. Даже в дни беспорядков 1929 г., спровоцированных англичанами, арабские шейхи оказывали его отцу великодушное гостеприимство.

— Нет! — воскликнул он горестно. — Нет! Так не может рассуждать настоящий араб! Так никогда не скажет истинный араб. Так может говорить только такой араб, как этот, — он ткнул пальцем в сторону рябого, — который давно выбросил из своего сердца слова пророка. Так может говорить араб из Яффы, который научился всяким пакостям у англичан. О, боже милостивый! Радио прожужжало им уши, кино ослепило им глаза, чужаки мутят им голову и подстрекают убивать своих братьев евреев. И они убеждают себя, что слова пророка были хороши в свое время, а теперь они уже устарели. Да простит их господь!

— С чего ты взял, что он из Яффы? — удивился Салех.

— У меня есть уши, и я слышу, как он говорит.

— Ты будто настоящий араб! — удивленно воскликнул Салех.

— Я здесь родился, брат мой, и, как видишь, уже не молод. И родители мои здешние. Как же мне не знать моих братьев арабов?

— Он хитер, как бедуин! — закричал рябой. — Убей его, а то он сделает тебя своим рабом!

— Как ты разговариваешь с командиром? — Авраам повысил голос и сердито взглянул на рябого. — Ты ведь командир, верно я говорю? — обратился он к Салеху.

— Верно, — сказал Салех, скромно потупив взор.

— По-твоему, он хитрит? — закричал с обидой младший. — Он умеет делать радио, а пасет скот. Разве такого можно назвать хитрецом? Он простодушный и честный человек.

Салех в полной растерянности посмотрел на Авраама.

— Пойдем! — сказал он.

— Куда?

Салех показал рукой в сторону арабской деревни. Авраам почувствовал облегчение. Значит, его берут в плен.

Он зашагал рядом с Салехом, который закинул автомат за спину. Те двое пошли следом.

— А что будет с овцами?

— Они пойдут туда, куда надо,— незлобиво ответил Салех.

— Послушай, брат мой. В стаде много маток, их ягнята остались внизу. Наступило время дойки.— Авраам посмотрел на Салеха с укоризной, его взгляд говорил: «Овцы-то не виноваты».

— Да-а,— сказал Салех с огорчением. В его глазах появилась озабоченность, и Аврааму стало как-то не по себе, что он хитрит и использует в своих целях древние и благородные обычаи арабов, которые он и сам искренне уважает.

— О скоте не кручинься,— сказал Салех.— К стаду приставят лучших пастухов. Ведь я сам когда-то тоже был пастухом, пас отцовское стадо.

— А сейчас?

— Отец умер, скота не стало, и я...— Внезапно он умолк и так взглянул на Авраама, что это не предвещало ничего хорошего. Помолчав, он сказал:

— Ты вот заботаешься об овцах... А о себе думаешь?

— Вооруженного человека не спрашивают: «А не брошишь ли ты свое ружье?..»

— Сколько тебе лет?

— Пятьдесят два.

— Ты прожил вдвое больше моего.

— Дай бог тебе долгие годы жизни.

Салех молча взглянул на него и потер лоб. Авраам почувствовал, что в эту минуту Салех думает о дружеской беседе, которую они только что вели и которая совсем не подходит ему, командиру. Авраам боялся наступившего молчания, но не находил нужных слов, чтобы возобновить разговор. Он ощущал сейчас сильную усталость, как после тяжелого физического труда. Хотелось говорить, а язык не слушался. Казалось, будто жизнь постепенно покидает его и он сам тому виной. Руки и ноги вдруг налились свинцом, язык стал сухим. Он набрал воздуха в легкие, облизал губы, смочив их слюной, и из груди его невольно вырвался вздох.

— Что ты собираешься со мной сделать? — спросил он.

— Убить,— ответил Салех огорченно.

— Что ж, в твоих руках оружие,— и он вздохнул вторично.

— А как бы ты поступил, если бы я очутился в твоих руках? — простодушно спросил Салех.

Авраам почувствовал, что не в состоянии больше притворяться. Вот они, последние минуты его жизни. Он смертельно устал от этой страшной игры. Внезапно его покинула сообразительность, и он ответил, понимая, что приближает свой конец:

— Не знаю.

Казалось, он сам себе подписал смертный приговор. Салех взглянул на него с удивлением, и его круглые глаза потемнели.

На минутку Авраам пожалел о своем ответе, но и почувствовал гордость за свое бесстрашие. Все равно его убьют, когда они подойдут к деревне, и толпа, жаждущая крови, прибежит глазеть на жестокое зрелище... Теперь он снова владеет собой и не позволит себе то впадать в отчаяние, то тешиться надеждой — в зависимости от выражения лица этих парней, которые сами толком не знают, чего хотят. Долгую свою жизнь он прожил мужественно, с чувством собственного достоинства, и по прихоти этих зеленых юнцов не изменит себе до конца.

— Ты не лжец,— сказал Салех, как бы подытоживая долгое и тщательное расследование. Его круглые глаза испытующе смотрели на Авраама.— Теперь я знаю, что ты расскажешь мне всю правду.

Услышав эту похвалу, Авраам, к своему удивлению, почувствовал странное хладнокровие. Все его увертки принимались за чистую монету, а слова правды не достигли цели. Именно теперь Салех самонадеянно поверил, что сможет извлечь из него пользу и получить секретные данные, которые сразу повысят его авторитет в глазах начальства.

Авраам понял, что минутой раньше проявил постыдную слабость, поддавшись отчаянию. В самом деле, из-за страшной усталости и путаницы в голове он чуть было не ускорил свою гибель. Он не имеет права распускать себя. Его судьба в его собственных руках. Пока он борется за свою жизнь, глупость, наивность, зависть, добродушие, благородство, невежество, ненависть и жалость этих людей — все должно служить этой цели!

Теперь он понял, что Салех вовсе не собирался его убивать. Салеха, видно, так учили: надо напугать пленного, и тогда у него развяжется язык.

Он не имеет права ошибаться вторично. Да, его нервы сдали, и он был на волосок от смерти. Только смертельной усталостью можно объяснить, что он чуть не погиб по собственной вине. Нет, он не должен больше поддаваться слабости, быть рабом своих чувств!

Когда они достигли оливкового сада, находившегося еще на порядочном расстоянии от деревни, Салех приказал ему сесть на землю спиной к дереву, отвести руки назад и обнять ими ствол. Когда Авраам притворился, будто не понимает, чего от него хотят, тот схватил его за руки, свернул их за спину и крепко привязал к дереву.

— А зачем веревка? — спросил Авраам, изобразив на лице удивленную улыбку.

— Веревка возбуждает память, — ответил Салех и усмехнулся. И это, очевидно, была одна из фраз, услышанных им из уст наставников, обучавших его, как вести допрос.

— У меня затекли пальцы, — негромко произнес Авраам. Это сказано было таким тоном, каким обычно говорят другу о плохо сделанной работе, не желая, однако, его обидеть.

— Вот сейчас ты заговоришь, — сказал Салех серьезно.

— А разве до сих пор я молчал?

— Есть в Беэротайме войска? — спросил Салех властно.

— О, войска есть повсюду. Они приходят и уходят, никому не докладывая.

Салех его допрашивал долго, бесцельно, беспорядочно, по-детски. И был при этом уверен, что запутывает пленника своими вопросами, задавая их быстро, один за другим, и по-разному расспрашивая об одном и том же.

— А пушки у вас есть?

— Очень много.

— И большие?

— Огромные.

В конце концов сам Салех устал от вопроса. Он протянул Аврааму блокнот — признак своей образованности, — чтобы тот просмотрел свои показания. Авраам прочел написанное и исправил орфографические ошибки.

Салех снова посмотрел на него, как бы ожидая совета, затем спрятал блокнот в карман.

— Это все, — сказал он.

Двое других во время допроса сидели в стороне с оружием наготове, будто пленник мог внезапно освободиться, развязать руки и удрать. Сейчас они подошли поближе и молча встали против Авраама. Салех задумчиво посмотрел на них. Каждая минута молчания таила в себе смертельную опасность. И Авраам снова призвал на помощь... своих овец.

— Настало время дойки,— сказал он.

— Он прав,— дрожащим голосом поддержал его младший.

— А тебе-то что? — закричал на него рябой.

— Ты иди к стаду,— приказал Салех парнишке,— мы решим дело без тебя.

В глазах паренька появилось выражение испуга. В них даже показались слезы. Он поспешил скорей уйти, чтобы не присутствовать при убийстве. Уходя, он бросил на Авраама взгляд, полный сострадания. И сердце Авраама защемила жалость к этому доброму парнишке. Он почувствовал, что и у него на глаза навернулись слезы, и пожалел, что ошибся, подумав, что красивая наружность свидетельствует о жестокости.

Дойдя до конца сада, парень бросился бежать: он не хотел услышать звука выстрела.

— Пристрелить? — деловито спросил рябой.

Салех стал просматривать блокнот. Спустя несколько минут он протянул его рябому и сказал:

— Пойди и покажи командиру. И спроси у него, что делать.

— Так ведь он уже рассказал все, что знал. Больше ничего из него не выудишь.

— Все же надо спросить. Может быть, они захотят еще его допросить.

— Вот еще! — возразил тот с пренебрежением.— Зачем спрашивать?

— Хорошо. Ты покарауль его, пока я не вернусь. Я сам пойду.

— Ладно, иди.

Салех исчез меж деревьев, а рябой разыскал неподалеку солнечную полянку и улегся на траве, чтобы согреться. Авраам стал всматриваться в долину, где жизнь не замирала ни на минуту. Сейчас на ней лежала печать покоя. Этот покой был и его уделом, пока он пас стадо, но теперь он уже не для него. Он видел людей величиной с булавоч-



ную головку, неторопливо передвигавшихся между домами. Одни были заняты уборкой клевера, другие опрыскивали поля... Будничные, повседневные дела, обращенные к будущему. Оно для него отныне не существует.

Теперь, когда он был избавлен от необходимости бороться за жизнь (она ему гарантирована до возвращения Салеха), можно сосредоточиться и подумать о себе. Он удивился, что еще совсем недавно в его сердце не было ни страха, ни жалости к самому себе и что внимание его было рассеянно. Человек должен был умереть, а думал о пустяках. Теперь его оставили в покое, и мысли о смерти приходят сами собой.

Несколько раз в жизни он находился в подобном положении, но никогда еще, кажется, не ощущал смерть так близко. Он помнил события 1926 года, когда по заданию «Хаганы»<sup>1</sup> находился в Сихеме переодетый в арабскую одежду. Он зашел в кафе, в самом центре города. Внезапно какой-то араб ткнул в него пальцем: «Это еврей!» «Где еврей? Мы его сейчас прикончим!» — закричал Авраам и выхватил из ножен кинжал. Ему поверили. Но все же потребовали, чтоб он предстал перед судом. Там ему предложили прочесть главу из корана о «неверных». Голос его не дрогнул, и его отпустили.

Вспомнил он и побоище на Хайфском рынке... Бегство по улочкам Яффы... Перестрелку, в которой участвовал... Ни разу он не думал о смерти. Может быть, по молодости? Возможно. Но ни разу, кажется, смерть не была так близка, как сейчас.

Никогда он, в отличие от других, не испытывал безотчетного страха перед врагом, лишенным человеческого облика. Он хорошо знал людей, державших в руках оружие и противостоявших ему. В дни юности они были его товарищами, соучастниками его юношеских проказ, делили с ним первые радости и огорчения. Случалось, что он скукал, когда долго не слышал их гортанной речи. Если бы на его месте был сейчас человек, который не знает арабского языка и менее сведущ в их обычаях и культуре, такое невежество наверняка бы того погубило... Никогда нельзя знать заранее, что может спасти человеку жизнь.

---

<sup>1</sup> «Хагана» — по-еврейски значит «Оборона». Так называлась боевая подпольная еврейская организация в Палестине в годы английского мандата.

На сей раз, однако, надежды нет, потому что он уже не стоит лицом к лицу с теми, кто хочет его убить. Теперь его знаниям грош цена. Он мог бороться за свою жизнь с обуреваемыми жаждой крови двумя юнцами, из которых один был бесчувственной пня. Еще можно было привести в смятение прямодушного Салеха, поколебав в нем чувство долга. Но теперь тот ждет приказа. А приказ сильнее и безжалостнее всех человеческих страстей и чувств, ибо исполнители никогда не спрашивают, справедлив ли приказ...

Как легко и просто убить неизвестного человека! Когда издан приказ, люди исчезают, появляются бездушные автоматы.

Салех не подарит ему жизнь, если это может в какой-то мере задеть его гордость, повредить его имени храброго воина, умалить его значение в глазах вышестоящих командиров.

Авраам был доволен собой: он не предается отчаянию и покидает сей бранный мир со спокойствием старцев, жаждущих отдохнуть от жизни, которую они сами строили своими руками и разумом. Никогда он не страдал бахвальством, чрезмерным самомнением, боязнью умереть и не жалеет о тех вещах, которые ему не удалось осуществить. То, что он сделал, сделано его собственными руками. Это живет, укоренилось и останется надолго в жизни других — его семьи, его друзей. Если бы дано было детям понимать душу своих родителей, его сыновья гордились бы своим отцом, его смертью. Но никто никогда не узнает о последних часах и минутах его жизни.

Внезапно ему стало жаль, что никто так и не узнает, как он погиб. Он хотел бы написать несколько строк, но не было ни карандаша, ни бумаги, да и руки его были скручены назад. С минуту он сильно горевал, пока не понял, что эти переживания не что иное, как последний, трепетный порыв подсознательной веры в будущее. Тогда он стал думать о жене, сыновьях и близких, ибо только они были его будущим. Он смотрел вдаль и видел все то, что скоро погаснет перед его глазами, но будет еще много, много лет источником жизни для живых.

Вот луг, усеянный полевыми ирисами. Они растянулись скатертью почти на уровне его лица и бегут дальше по нижней кромке горной цепи. Как несметная армия конников со своими знаменами и копьями, стоят эти крупные и яркие полевые цветы. Он представил себе, как упадет на

них усталый воин, без оружия, без верного коня, и кровь его прольется на камни, которыми усеяно поле.

Авраам взглянул на свои поношенные ботинки, потрепанную одежду, заплатанные брюки. Он представил себе, как деревенские парни, а может быть, и девушки будут стоять возле его трупа и в душе своей будут испытывать стыд: «И это все? Старый, жалкий еврей...» Он огорчился, подумав об этом, и даже застеснялся своего неказистого вида.

Внезапно в мозгу блеснула новая мысль: в эту минуту он обрел моральное право на то, чтобы враги даровали ему жизнь. Ведь он в своих мыслях отнесся к ним с высоким уважением, огорчившись за свой несчастный вид, устыдившись его. Ненароком и вполне чистосердечно, а во все не для того, чтоб спасти свою жизнь, он наделил их тем, чем никогда не наделяют врагов — человеческими чувствами, проявил уважение к их взглядам, к их жалости, к их стыду. В тайниках своей души он построил мост над ненавистью, которая обязательно должна когда-нибудь исчезнуть, и потому заслужил их великодушие. Заслужил своей прямоотой и честностью, а не хитростью и лукавством. Они должны пощадить его, ибо только люди, ему подобные, — залог грядущей жизни без кровопролития. Благодаря острому ощущению стыда все произнесенные им ранее слова о древних обычаях арабов — не ложь, примененная для самозащиты, а святая правда. И если этими словами он завоевал их сердца и они сжалятся над ним, значит, своей прямоотой, а не хитростью он заслужил их сочувствие.

— Эй, ты!

Его страж, сидевший на земле и со скуки бросавший камни в стволы деревьев, решил, видимо, от нечего делать заговорить со своим пленником. Теперь они поменялись ролями. Раньше, чтобы спасти свою жизнь, говорил Авраам, а рябой пытался положить конец разговорам. Теперь Авраам предпочитал молчать, чтобы подготовиться к достойной смерти, а этот хочет разговаривать.

— Раньше это была арабская земля. Но пришли евреи и отняли ее у нас, — сказал рябой. В его голосе звучала угроза.

— Еще раньше эта земля была еврейской.

— О! Это было давно.

— А когда она была ваша? Это тоже было давно.

— То было очень давно, а это — совсем недавно.

— Богу безразлично, давно или недавно.

— Но людям не безразлично.

— Людские уставы лживы. И какое значение имеет тут время? Минуты моей жизни теперь мне дороже, чем дни и недели твоей.

— Ты врешь! — заорал рябой.

Авраам умолк. Рябой мешал ему сосредоточиться и подготовить себя к смерти. Он снова стал думать, что с ним произошло. Зачем, собственно, Салех пошел к начальству? Выходит, что Салех не намерен его убивать. Ибо если бы он хотел это сделать, то не стал бы так долго церемониться. Внезапно мелькнувшая мысль находила подтверждение в том, что он не раз слышал от военных: арабские крестьяне не заинтересованы в кровопролитии, они стараются его избежать. Каждая пограничная стычка чревата для них серьезными последствиями. Салех — сельский житель, и он придерживается точки зрения феллахов. А рябой — пришлый человек. Потому-то он и не повел его в деревню — там бы за пленного заступились старики и потребовали бы его освободить. Теперь Салех пошел за приказом, чтобы снять с себя ответственность и не навлечь гнева стариков.

В его сердце затеплилась надежда. Может быть, Салех по пути к начальству свернет в деревню и спросит совета у старейшин? И Авраам взглянул на своего стража, который злорадно усмехался и докучал ему своими вопросами. Он, Авраам, не должен проявлять слабости духа, чувства безнадежности. Отчаяние — наполовину гибель. Верно, он устал притворяться. Но, собственно говоря, в этом нет сейчас нужды.

Надежда вспыхнула в нем с новой силой. Салех — не юнец, находящийся во власти своих страстей. Если бы Салех хотел его прикончить, он давно бы уже это сделал.

— После того как налетят бомбардировщики и придут тяжелые танки, пушки, самоходные орудия и разрушат все ваши города и селения, я приду со своей частью в Беэртаим. Мы убьем всех мужчин и возьмем всех женщин, а я возьму твою дочь... и скажу ей: я убил твоего отца... И я ее...

Глаза его сверкали. Он испытующе смотрел на Авраама, стараясь узнать, какое впечатление произвели его слова.

Теперь Авраам понял, что не скуки ради тот затеял с ним разговор. Рябой хочет его убить, а для этого нужен повод. И вот он возбуждает в себе ненависть. Он хочет смертельно оскорбить Авраама, чтобы Авраам ответил ему тем же. Ну а разгорячившись, он схватит автомат и тогда уже не будет отвечать за свои поступки. Он не местный, и ничто не может удержать его от убийства. Но... пока что он еще не вошел в раж. И он призывает себе на помощь гнев, дабы приглушить в своем сердце остатки человеческих чувств, вызванных силой слова. А когда придет Салех и спросит, почему старик убит, он запальчиво ответит: «Проклятый еврей оскорблял мою веру!» И этот ответ вполне сойдет...

Авраам понимал, что ему нельзя поддаваться на провокацию и раздувать костер ненависти. Правда, ему очень хотелось отчитать рябого, уязвить его крепким, соленым словом. Но он решил не терять надежды до самой последней минуты.

— У меня нет дочери,— ответил он спокойно.

— Тогда мы разрушим твой дом, не оставим от него камня на камне,— сказал рябой, размахивая автоматом.

— Зачем? Вы же сможете жить в этих домах.

— Мы не будем жить в еврейских домах!

— Неверные— это неверные, евреи— это евреи, а дома— это дома. Открываешь кран, и льется горячая вода...

Прервав себя чуть ли не на полуслове, он сказал:

— Дай, пожалуйста, сигарету. Вы взяли у меня всю пачку.

— Как же ты будешь курить со связанными руками?

— Если ты никогда не видел— сейчас увидишь.

Рябой зажег сигарету и сунул ее Аврааму в рот. Теперь Авраам был освобожден от необходимости говорить: во рту у него торчала сигарета. Но время от времени он все же сквозь сжатые губы цедил несколько слов, чтобы не возбуждать раздражения своим молчанием.

— Последняя сигарета так же вкусна, как и первая,— сказал рябой.

— Не каждому дано знать, какая сигарета последняя...

— Еще до того, как погаснет огонек у тебя на губах, загорится твое тело.

— Вот покурю и расскажу тебе о пророке Моисее, у которого огнем обожгло рот. Ты слышал об этом?

— Нет.

— Обожди немного и услышишь.

И он медленно, нараспев рассказал эту древнюю легенду, подкрепляя свои слова мимикой и движениями ног, заменявшими жестикуляцию. Он нагромождал бесконечные подробности, будто они могли продлить его жизнь. А рябой все слушал. Сначала на лбу его появились складки, выражавшие недоверие. Потом он часто замигал глазами, как бы опасаясь пропустить двусмысленное слово.

Но рассказ свое дело сделал. Едва Авраам кончил говорить, как вдали между деревьями замелькала фигура Салеха, с ним шло и овечье стадо.

— Что случилось? — удивленно спросил рябой.

— Сказали, что скот надо вернуть.

— Выходит, они испугались евреев! — закричал он, почувствовав себя глубоко уязвленным.

— Это меня не касается, — ответил Салех. — Они начальники, они и решают.

Салех погнал скот вниз по склону горы.

— А что будем делать с ним? — спросил рябой, когда Салех вернулся.

Салех с досадой взглянул на Авраама. Что-то явно удручало его. Видимо, там скептически отнеслись к его «разведывательным данным» и только посмеялись над показаниями, которые он занес в свой блокнот.

Вначале Авраам испугался — по его вине было уязвлено самолюбие Салеха, но потом стал возлагать все надежды именно на него. Ведь теперь, когда от добытых им трофеев вышестоящие начальники отказались, а его сообразительность и сметка публично осмеяны, жизнь или смерть старого еврея не имели особого значения. Расстрел безоружного не прибавил бы ему воинской славы.

— А что они еще сказали? — спросил рябой.

— Они сказали, что только дураки задают дурацкие вопросы.

— Говорил я тебе! Ну, ладно, пусть возвращают стадо этим проклятым евреям, а то еще они могли бы затеять из-за этого перестрелку. Но чтобы заполучить вонючий труп старика, они своих солдат не пошлют.

— погоди, — сказал Салех. — Не здесь, надо у самой границы... И сбросим его с горы. А когда его там найдут, они не придут ночью уничтожать наши сады и виноградники.

Рябой поставил Авраама на ноги и снова скрутил ему руки за спиной.

— Иди вперед! — приказал Аврааму Салех.

Авраам выпрямился. Он стоял сейчас во весь рост и смотрел в долину. Ирисы уже не казались ему конницей со знаменами и пиками. Они снова превратились в красноватый ковер, расцвеченный коричневыми и зелеными пятнами. И по нему он будет идти, шагая к последней черте.

Он медленно шел по тропинке, ведущей к дому, и знал, что никогда до него не дойдет. Но ему хотелось как можно ближе подойти к родным местам, чтобы глаза насытились дорогими сердцу картинами, прежде чем они закроются навеки. Он ускорил шаг и услышал за спиной злорадный смех рябого.

— Кажется, старик хочет удрать, но пуля быстрее его летит...

Из-за рябого он не может сосредоточиться. Мысли его снова разбежались, расплылись, когда он увидел милый сердцу уголок земли, залитый мягким дневным светом. Он хотел думать только о том, на что смотрели глаза, чтобы забыть о смерти. Чувства его были обострены до предела. Он слышал звук шагов и дыхание этих двух, следовавших за ним по пятам.

— Дальше я сам, — внезапно сказал Салех.

Авраам не оглянулся. Он равнодушно подумал о разочаровании рябого, которого Салех лишил вождяленного зрелища. А он и сам не хотел больше видеть этого одержимого. Авраам ускорил шаг, Салех неотступно следовал за ним.

Они долго шли, пока не очутились у самого края крутого откоса, где проходила воображаемая граница. Теперь он знал, что шансы сейчас равны. Салех может его прикончить, а может и пощадить — ему теперь это безразлично. В нем нет сердечной мягкости того красивого парнишки, но и нет жестокости рябого. В голове идущего за ним человека ворочаются какие-то мысли, и они определяют его судьбу. Сердечные побуждения людей более или менее постоянны, ум же неустойчив и легко поддается влиянию. Может быть, вздорные мысли, заимствованные у других, глубоко укоренились в голове Салеха. И он без всякой ненависти, без жажды крови, только из-за уважения к этим мыслям через минуту застрелит его. Ведь Салеху внушали, что «арабам и евреям нет места под одним солн-

цем». Во имя «вечной вражды», которую, к великому своему удивлению, Салех вовсе не испытывает, он должен при первой в его жизни встрече с евреем убить его. И сейчас его, может быть, мучает мысль, что отсутствие вражды — это род недуга, умственная дефективность, от которой он обязан излечиться.

— Стой! — сказал Салех.

Авраам остановился, ожидая выстрела. В минуту смерти он не хотел видеть своего убийцу. Лучше упасть лицом на родную землю, до последнего мгновения видеть ее перед собой.

Внезапно он почувствовал страх, парализующий чувства, вызывающий оцепенение.

Салех подошел к нему и стал рядом. И Авраам увидел, что его автомат висит на спине так же небрежно, как он висел при первой их встрече, будто это был просто пастушеский посох.

— Почему я тебя жалею? — спросил Салех, взглянув на Авраама в полной растерянности.

— Жалость в твоём сердце. Почему же ты спрашиваешь меня?

— Я не знаю, что мне с тобой делать.

— Оставь меня — и тогда уж я буду знать, что мне делать, — сказал Авраам, глядя ему в глаза.

Бледное лицо Салеха осветилось мудрой улыбкой.

— Ты бесстрашный человек. Готов поклясться, что ты араб! Честное слово!

— Измаил был сыном Авраама<sup>1</sup>. Арабы и евреи братья.

— Ты, старик, мудрый человек! И я не могу тебя убить. Убить мудреца — значит убить саму мудрость.

— Убить человека — значит убить человека.

— Я не убью тебя, старик! Иди домой, к жене и детям. Но обещаю тебе, что никому не расскажешь, что с тобой случилось. Даже птицы небесные разносят на своих крыльях разные слухи, а наши деревни так близки друг от друга... Если об этом узнают молодые, меня сочтут предателем.

— Не бойся, Салех, брат мой, не бойся!

— Поклянись!

---

<sup>1</sup> Арабы, турки и некоторые другие народы, исповедующие ислам, возводят свою родословную к легендарному Измаилу.



На глаза у Авраама навернулись слезы, когда он услышал эту простодушную просьбу из уст того, который должен был его убить.

— Клянусь богом.

На мгновение лицо Салеха просветлело, потом снова омрачилось.

— Ты клянешься богом? А я слышал, что бога нет. Разве ты веришь, что он есть?

— Некоторые, Салех, верят, а некоторые нет.

— А теперь иди себе с миром, старик! Мир твоим полям и твоим стадам. Твои овцы уже пасутся там, на склоне горы.

Авраам правой рукой крепко пожал руку Салеха, а левую приложил к сердцу.

Когда он спускался по косогору, его вдруг охватил трепет. После пережитого потрясения наступила разрядка. Его било как в лихорадке. Колени отяжелели, набухли. Сердце все еще ждало выстрела из-за спины. Но выстрела не последовало. Он оглянулся. Салех стоял на утесе, его автомат болтался на плече, и он приветствовал Авраама поднятой рукой. Авраам ответил тем же. Салех повернулся и ушел по направлению к своей деревне.

Пока Авраам догонял свое стадо, он мысленно принимал то одно решение, то другое. Салех заслужил того, чтобы он сдержал свою клятву и молчал. Но его поступок заслужил того, чтобы он, Авраам Рахмани, нарушил свой обет и чтоб о нем узнали люди.



О чем плакал  
Йорам<sup>1</sup>

Вы не можете себе представить, как родители Йорама испугались, когда однажды вечером нашли его лежащим на кровати в слезах. Ведь уже давно они не видели своего сына плачущим.

— В чем дело, Йорам? Почему ты плачешь? Ты упал, что ли? Или, может, кто-нибудь ударил тебя? Скажи, что случилось? — приставали к нему взволнованные родители.

Йорам не отвечал. Он беззвучно плакал, уткнувшись лицом в подушку. Он плакал совсем как взрослый человек, которого постигло большое горе. Все тело мальчика сводило словно судорогой.

Пораженные и растерянные, стояли около него родители. Предполагая, что во всем виноват учитель и школьные товарищи сына, родители стали упрекать первого за то что он, видимо, провалил Йорама на экзамене, а вторых за то, что они обидели сына.

Услышав эти упреки, Йорам не выдержал и, повернувшись к родителям, сквозь слезы сказал:

— Нет, нет... Вы ничего не знаете... Не они... Не учитель и не товарищи... Один человек... Какой-то незнакомый пристал ко мне на улице... И вообще ничего не случилось... Лучше оставьте меня... Теперь уже все прошло...

Эти сказанные сквозь зубы обрывки фраз не успокоили ни родителей, ни самого Йорама. Правда, Йорам очень хо-

<sup>1</sup> Рассказ печатается в сокращенном виде.

тел снять с себя гнет, давивший его сердце, дать излиться слезам и заговорить... но только не с отцом и матерью, которые, как ему казалось, были не в состоянии понять его.

— Ведь я просил вас, чтобы вы меня оставили. Зачем же вы стоите возле меня? Умоляю вас, уходите, пожалуйста,— повторил Йорам свою просьбу.

Родители ушли, тогда Йорам попытался воскресить в памяти все, что с ним произошло.

Этого странного человека он заметил сегодня при выходе из школы. Тот стоял около школы и кого-то, видно, поджидал. Он стоял, наверно, уже давно, стоял, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Странный человек? Вовсе нет. Сразу он не производил такого впечатления. Он подходил на многих отцов, встречающих у школы своих детей. Только потом выяснилось, что этот человек действительно странный. Он стоял с заложенными в карманы брюк руками и улыбался Йораму непонятной улыбкой, выражающей и печаль и досаду. Так может улыбаться человек при виде долгожданного, но опоздавшего на свидание друга. Возможно, Йорам не обратил бы внимания на этого человека, если бы не странная улыбка незнакомца, так взволновавшая его.

Во второй раз за сегодняшний день ему невольно вспомнился следующий случай. Будучи еще маленьким, он как-то подошел на улице к незнакомому человеку и взял его за руку, приняв по ошибке за отца. Он не видел его лица, но походка и одежда были очень похожи на отцовские, и он долго ходил с этим человеком, вцепившись в его руку, не замечая, что это не отец. И вот этот человек вдруг разразился громким хохотом...

Йорам не знает, почему именно сегодня он дважды вспомнил этот случай, память о котором всегда вызывала в нем чувство какой-то вины и стыда. И утром, увидев незнакомца, он покраснел, как будто был в чем-то виноват. Смущенный и растерянный, он вытирал пот, выступивший на его верхней губе. А незнакомец, заметив это, начал еще больше улыбаться. Теперь уже не было никакого сомнения, что он ошибается, принимая его за другого мальчика.

Йорам хотел подойти к нему и сказать об этом, но помешали товарищи. Они начали его торопить и потащили за собой.

— Что ты стоишь как истукан? Забыл, что после обеда будет экзамен? Пошли скорее!

Шел небольшой дождик, Йорам и его товарищи спешили домой. Сегодня предстояло выдержать серьезный экзамен, а подготовиться к нему они еще не успели.

По дороге домой за разговорами Йорам успокоился. Да и что волноваться? Взрослые, оказывается, тоже могут ошибаться, принимая одного за другого. И зачем ему стыдиться того случая, из раннего детства?

Отец Йорама сегодня куда-то торопился, и обед состоялся раньше обыкновенного. Йораму пришлось обедать одному. Он не любил обедать один, считая, что только хищное животное ест в одиночку, боясь, что другие у него выхватят добычу. Человек же должен есть в обществе. И Йорам всегда сердился, если ему почему-либо приходилось есть одному. Но сегодня одиночество ему было необходимо.

Во время еды мысли быстро сменялись: одни вызывали у него улыбку, другие навевали грусть. То ему казалось, что незнакомец встретил наконец своего сына и, смеясь, рассказывает ему, как он его чуть не перепутал с другим, а то... этот человек, не подозревая о своем заблуждении, все еще стоит под дождем и удивляется, почему Йорам не признал его, и сердится, что он убежал... А что, если этот незнакомец пошел по его следам, сейчас постучит в дверь, улыбнется и спросит: «А не заходил ли сюда один мальчик?..»

А то ему кажется, что этот человек после долгих поисков вернулся домой и видит своего мальчика, спокойно обедающего, и радостно бросается к своему пропавшему сыну...

Сыну? А может, действительно этот человек ищет своего сына? Но разве возможно, чтобы отец принял другого за своего сына? А почему бы нет? Если сын, у которого отец один, может принять другого человека за своего отца, почему же отец, у которого, может, несколько сыновей, не может принять другого мальчика за своего сына?

И все-таки это невозможно! Сегодня произошло совсем не то, что случилось с ним в детстве. Он тогда видел только спину человека. А этот видел его лицом к лицу, всматривался в него, улыбался, и не один раз! Нет, тут что-то не так.

А может, тот человек вообще никого не ждал, а стоял просто так. Он любит детей и пришел, чтобы посмотреть, как они тут учатся. Нет, такое предположение неразумно.

Зачем ему для этого выбирать такой дождливый день, как сегодня? А разве его страдальческая улыбка не говорит о том, что он мучительно ждал какого-то мальчика и Йорама просто спутал с ним?

Мысль о предстоящем экзамене заставила Йорама отвлечься от своих размышлений. Он взял учебник и сел на кровать, но не успел открыть книгу, как ему на ум пришла еще одна догадка.

По всему видно, что этот человек нездешний. Он прибыл из другого города, чтобы погостить у брата, подобно тому как несколько месяцев назад приезжал к ним в гости дядя. Этот странный человек приехал сегодня. Он несколько лет не был у брата и, возможно, даже жил за границей. Он спросил о племяннике, которого не видел с тех пор, как оставил его совсем ребенком. Узнав, что мальчик учится в такой-то школе и до полудня не придет домой, он решил ускорить встречу. Его просили отказаться от такого намерения: «Ведь мальчика не узнать, он за это время стал почти юношей!» Но уговоры не помогли: «Как это я не узнаю, ведь у меня его фотография! Он похож на моего сына как две капли воды! О, я-то его узнаю, вот он меня может не узнать».

Так ведут себя все дяди. И дядя Йорама, приехавший к ним в гости, приходил в школу, чтобы увидеть своего племянника еще до возвращения домой. Правда, его дядя приходил вместе с отцом, а этот пришел один, полагаясь на свою память.

Вот и разгадка! Человек искал не сына, а племянника. Он приезжий. У школы он ожидал своего племянника и спутал Йорама с ним. Этим и объясняется его жалкая улыбка...

Правда, чтобы в этом убедиться, надо увидеться с этим человеком. Если бы ребята не помешали, Йорам подошел бы к нему и сразу все бы выяснил. А так приходится довольствоваться догадкой. Но теперь хватит. На этом можно поставить точку.

Мальчик перелистал наспех несколько страниц и выписал отдельные фразы в тетрадь. Этим и ограничилась его подготовка к экзамену.

С легким сердцем Йорам направился в школу, словно теперь ему было под силу разрешение всех загадок, существующих в мире. Но не успел он пройти и полсотни

шагов, как убедился, что волновавший его вопрос далеко не разрешен. Он услышал, что его кто-то догоняет.

Кто же идет по его следам? Снова тот человек? Но зачем? Что ему нужно? Йорам испугался. Он хотел крикнуть, чтобы позвать на помощь, но улица была безлюдна.

Опять пошел дождь. Йорам прибавил шагу. Это хорошо, что идет дождь. Пусть думает, что он спешит из-за дождя.

Но вот и школа, колени у Йорама дрожали, все тело покрылось потом. Он хотел рассказать товарищам о случившемся, поделиться своими переживаниями, может быть, кто-нибудь поможет ему разобраться. Но товарищи сразу же засыпали его вопросами.

— Как считаешь, Йорам, экзамен будет трудным?

— Устный будет или письменный?

— Будут ли придирааться? Ведь этот экзамен сверх программы, мы не все успели в классе пройти.

— Как мы будем сдавать, все так плохо подготовились?

Но эти вопросы не отвлекли Йорама от его мыслей, напротив, он еще больше почувствовал свое одиночество. Нет, они не смогут ему помочь. Еще не поверят и начнут смеяться. Скажут, что грезит наяву...

А может, этот человек сумасшедший? В самом деле, разве может нормальный человек бросить свои занятия на целый день, для того чтобы ходить по следам незнакомого мальчика, да еще под дождем...

Возможно, он из тех, кто пристаёт к детям и обижает их?.. Нет, это не может быть. Разве такой тип осмелится подойти к школе да еще днем?

Но почему он пристал именно к нему? Ведь тут сотни мальчиков и девочек. Что он увидел в нем такого? Почему из всех ребят выбрал именно его? Чем он привлек внимание этого ненормального человека? Но нет, так улыбаться ненормальный человек не может... А может быть, он сам уже ненормальный?..

И Йорам был рад, что не успел рассказать товарищам всей этой истории. Не хватало еще, чтобы его посчитали сумасшедшим.

Когда раздался звонок, Йорам вскочил с места и, словно в поисках спасения, первым ворвался в класс.

Учитель, стоявший у дверей, чтобы раздать ученикам экзаменационные листы, заметил, по-видимому, состояние Йорама и попытался успокоить его.

— Йорам, неужели ты тоже волнуешься? Да если бы твои товарищи знали хоть половину того, что ты знаешь! Тебе-то нечего беспокоиться. Уверяю тебя, ты сдашь!

Дружеская улыбка учителя и его рукопожатие вернули Йораму уверенность и спокойствие. Больше он не нуждался в поддержке товарищей.

Теперь он знает, что его неуравновешенность сама по себе является экзаменом, и ему одному надлежит его выдержать.

Ответы на экзаменационные вопросы на этот раз он написал небрежно, не соблюдая свойственной ему аккуратности в письме и стиле. Он ограничился короткими ответами, лишь бы избавиться от экзамена поскорее. Он знал, что более серьезный экзамен предстоит ему выдержать на улице, и поэтому хотел сохранить свои силы. Сердце ему подсказало, что история с незнакомцем еще не окончилась. Чтобы скорее покончить с этим, он решил сам подойти к этому человеку. А поскольку такая встреча таит в себе неожиданности, ему необходимо сберечь свои душевные силы.

Он написал ответы намного раньше, чем раздался звонок, и даже не потрудился проверить их правильность. Выйдя на улицу, он чувствовал себя воином, идущим на встречу с врагом.

Между тем опустились сумерки. Небо стало темнее. Начавшийся в полдень небольшой дождик превратился в настоящий ливень. Ветер, раскачивая уличные фонари из стороны в сторону, убавлял и без того тусклый свет. Йорам постоял у выхода, оглядываясь по сторонам. Напряженный и взволнованный, он стоял, как постовой, ожидающий в любой момент нападения. На улице не было ни единого человека.

«Значит, эта история не закончится сегодня», — подумал Йорам. Решающий бой, к которому он готовился, сегодня не состоится. Эта история может затянуться. Что тому стоит следить за ним еще несколько дней?

А может быть, он ошибается? Возможно, что тот уже забыл о нем и занялся своими делами? О, если бы так!

Йорам уже решил вернуться в школу, как вдруг увидел своего преследователя. Тот стоял под деревом, прячась под его густой листвой. Казалось, он дремлет. Лицо его выражало одиночество и печаль. Он, по-видимому, еще не видел Йорама.

При виде стоящего под проливным дождем незнакомца у Йорама сжалось от жалости сердце и на глазах появились слезы, будто он увидел в этой жалкой позе своего отца.

«Видно, у него нет пристанища,— подумал Йорам,— вот он и ходит за мной следом». Йораму захотелось подойти и сказать ему что-то ласковое, но на язык шли другие слова...

Набравшись мужества, мальчик подошел к незнакомцу.

— Что вы здесь делаете? — спросил он. — Что вам нужно?

Тот словно очнулся от дремоты и вдруг сказал:

— Я был уверен, что ты ко мне подойдешь. Здравствуй, Йосеф!

— Меня зовут не Йосеф, а Йорам.

— Пусть так. Какая разница?

— Как какая? Йорам это не Йосеф.

— Это верно, Йорам не Йосеф... Как жаль! Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?

— Пятнадцать, скоро будет шестнадцать, но в чем дело?

— Правильно. Я так и думал,— сказал незнакомец и замолчал.

Йорам решил, что дерзкий тон будет в разговоре более уместным.

— Скажите, пожалуйста, что вам от меня нужно? Зачем вы ко мне пристааете?

— Ты мой сын.

Йорам охватила дрожь.

— Я ваш сын?

— Да, ты мой сын.

— Оставьте глупости, го-спо-дин. Я не ваш сын.

— Хорошо. Пусть нет. Однако ты бы мог быть моим сыном.

— Никогда! Как это я могу быть вашим сыном, если у меня есть отец?

— А разве я говорил, что у тебя нет отца? — сказал неизвестный и засмеялся.

Сердце у Йорама замерло от испуга. Он не знал, как ему поступить дальше. Он понял, что имеет дело с человеком, который не в своем уме. Но не решался его оставить. От волнения он стал вытирать пот, выступивший на верхней губе.



Как только он это сделал, неизвестный оборвал смех и крикнул сдавленным голосом:

— О, этот жест!

— Какой жест?

— Неважно, я потом расскажу. Ведь я знаю, что ты подумал.

— Что же?

— Что я сумасшедший. Правильно?

Йорам молчал.

— О нет, Йосеф...

— Я уже сказал вам, что меня зовут Йорам.

— Верно, я забыл. Нет, Йорам, я не сумасшедший.

Я расскажу тебе все. Выслушай меня внимательно. Хорошо?

— Я должен идти домой,— ответил Йорам, дрожа.

— Я провожу тебя. Не пугайся. Я тебе сказал, что я не сумасшедший. Ты не веришь?

— Но идет дождь.

— Это не важно. Мне это не повредит, а ты, так или иначе, должен идти домой. Пошли!

Они пошли вместе, как отец с сыном.

Йорам внимательно слушал историю этого человека под шум дождя, который как бы сопровождал его рассказу.

— Несколько лет тому назад я иммигрировал в Израиль. Раньше я жил в Польше. У меня был единственный сын, по имени Йосеф. Я его назвал именем моего отца. Вполне возможно, что, если бы он родился здесь, я назвал бы его тоже Йорамом, здесь многих зовут этим именем, оно очень красивое. Мне оно нравится. Но и Йосеф красивое имя. Не правда ли? Йосеф был прелестным ребенком. Я его любил больше самого себя. И вот он у меня пропал. Это произошло во время войны. Он пропал, как пропали десятки тысяч других детей в Польше. С той лишь разницей, что сын мой не погиб в концентрационном лагере. Нет. Я сам погубил его. Можно сказать, собственными руками. Это произошло в начале войны. Вражеские самолеты налетали каждый день, сея смерть и разрушение. Жители оставили город, спасаясь бегством. Все направились на восток. Туда, говорили люди, враг не доберется, там его остановят. Само собой понятно, что и моя семья была среди беженцев. Дни и ночи вместе с другими мы брели по разрушенным дорогам. Мы шли до

тех пор, пока Йосеф окончательно не обессилел. Мальчик был очень хрупким, ему не было тогда еще и пяти лет. Нам пришлось задержаться, пока он не окрепнет. Что еще могли мы сделать?

Мы сидели, опечаленные, на обочине дороги под проливным дождем и вдруг заметили автомашину, она показала нам ангелом-спасителем. Вел ее наш добрый знакомый, который тоже направлялся на восток. Несмотря на то, что машина была переполнена, он согласился втиснуть туда Йосефа. Хозяином машины был знаменитый врач. Своими добрыми делами он прославился далеко за пределами нашего города. Мы с женой считали, что ребенок будет спасен, если он с этим доктором пересечет восточную границу. Если же машине не удастся пробраться на восток, мы и в этом случае всецело полагались на доктора, который не оставит ребенка, пока не пристроит его в безопасное место.

Но человек предполагает, а бог располагает, мы с женой спаслись, а машина попала под бомбежку. Погибли все. И наш сын. Мы этого, правда, не видели, но об этом нам сказали.

Жена, узнав о постигшем нас несчастье, вскоре заболела и умерла. Я остался один на этом свете.

Она была крепче меня, а умерла, наверно, от горя, а я вот, слабый, болезненный, выстоял. Я скитался по разным странам. Немало настрадался, пережил, немало повидал на своем веку, но остался жив. Может, я надеялся на чудо? Может, меня поддерживала вера, что я еще увижу своего сына? Нет, я не ждал чуда, хотя за годы странствий не раз был свидетелем чудес. Нет. Я не фантазер. Разве я не видел во время бегства от врага на дорогах сотни разбитых автомашин и тысячи трупов? Нет, я не надеялся увидеть сына. И вот случилось, что несколько дней тому назад, проходя мимо школы, я увидел тебя, и сердце во мне забилося. Ты мне напомнил моего Йосефа. Правда, вначале я не обратил на тебя внимания и уже хотел уйти. Ведь со мной не раз случалось, когда встреченный на улице мальчик напоминал мне сына. Но вот я увидел характерный жест — ты время от времени вытирал пот с верхней губы. Йосеф имел точно такую привычку. Детям свойственно и плакать и смеяться, а он в таких случаях, бывало, только проведет рукой по верхней губе. Сколько ни старалась мать отучить его от этой привычки,

ей это не удалось. И когда я это увидел, я не мог двинуться с места. Тут-то впервые в жизни меня окрылила надежда, что совершилось чудо и я нашел своего пропавшего сына. Правда, в глубине души я чувствовал, что это иллюзия. Однако я твердо знал, что не смогу освободиться от нее до тех пор, пока не последую за тобой, пока не поговорю с тобой. Ну вот мы и пришли,— закончил человек свою речь и замолк.

— Что значит «мы пришли»? — испугался Йорам.— Я живу не здесь, не в этом доме.

— Я знаю, знаю,— сказал незнакомец, улыбаясь и продолжая идти.— Ты живешь там, в доме напротив фонаря. Правильно? Слова «мы пришли» означают конец моей истории. Возможно, ты что-нибудь похожее уже слышал. У оставшихся в живых после этой войны в памяти много таких историй, и многие рассказывают их. Я могу лишь сказать, что все они не выдуманные. Ведь человеческая фантазия не способна придумать такое. Во всяком случае, ты не должен осуждать меня за то, что я в течение нескольких дней тешил себя надеждой обрести в тебе пропавшего сына. Поверь мне, я вовсе не хотел причинить тебе зло. Наоборот, если бы все оказалось действительностью, это было бы чудом как для тебя, так и для меня. Возможно, что и в этом я обманываю себя. Может быть, ты до сих пор убежден, что я сумасшедший? Что ты скажешь, Йорам?

Ничего не ответив и даже не попросившись, Йорам в испуге бросился домой. Дома он упал на кровать и разразился рыданиями. Йорам лежал на кровати, уставший, и весь дрожал. Наконец он перестал плакать, но успокоиться все же не мог. Там, в соседней комнате, сидят его взволнованные родители и ждут его, но он не может выйти к ним. Они, безусловно, спросят его, почему он плакал. А он не в состоянии рассказать эту историю с начала до конца и снова не разрыдаться. О чем же он плакал весь вечер? Пока он не найдет правильного ответа, он не сможет показаться на глаза родителям. И Йорам тщетно пытался объяснить причину своих слез. Ни одно объяснение не могло удовлетворить его и успокоить.

Поэтому, дорогой читатель, я подскажу ему.

Не потому ли ты плакал, дорогой Йорам, что не мог превратиться в пропавшего сына того человека и сделать его счастливым?

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

---

**Ицхак Ави-Давид** (р. 1926 г.) — пишет на языке иврит. Окончил Женевское высшее техническое учебное заведение. Его первый рассказ «При дневном свете и ночью» появился в 1955 г. в газете «Кол-гаам», центральном органе Коммунистической партии Израиля. С тех пор он постоянно участвует в литературном приложении к этой газете, откуда и взят рассказ «Одиночество».

**Мордехай Ави-Шаул** (р. 1898 г.) — поэт, прозаик, драматург, переводчик и литературовед. Широко известны в Израиле его превосходные переводы произведений Гете, Томаса Манна, Бертольта Брехта, Юлиуса Фучика, Ярослава Гашека. Автор нескольких стихотворных сборников. В своих рассказах, регулярно появляющихся на страницах газеты «Кол-гаам», журналах, альманахах и сборниках, выступает как активный борец за дружбу народов и социальную справедливость. Один из организаторов общества дружбы Израиль — СССР. Лауреат литературной премии имени С. Черняховского.

**Аарон Амир** (р. 1923 г.) — живет в Палестине с 1934 г. А. Амир — популярный поэт, писатель, литературный критик и переводчик. Пишет на языке иврит. Один из основателей журнала «Алеф» — органа литературного течения «Молодые евреи». Редактор литературно-художественного приложения к газете «Кол-гаам».

жественного журнала «Кешет», являющегося трибуной молодого и среднего поколения израильских писателей. С участием и под общей литературной редакцией Амира издается серия: «Антология современного рассказа», каждый выпуск которой посвящен новеллам одного народа. Вторая по счету «Антология» этой серии посвящена современному русскому рассказу и вышла в 1962 г.

А. Амир является автором двух сборников стихотворений: «Восточный ветер» (1949) и «Смола» (1956), сборника рассказов «Любовь» (1952) и романа «...И исчезнет власть смерти» (1955). Писатель дважды удостоивался литературных премий (1950, 1951).

**Аарон Апельфельд** (р. 1932 г.) — окончил Иерусалимский университет. Детские годы провел в одном из гетто, организованных нацистами, и это наложило отпечаток на все его творчество. Герои его рассказов — люди, случайно уцелевшие после массовой резни, концлагерей и фашистских фабрик смерти, заново начинающие жизнь в новых, непривычных условиях. Выпустил два сборника рассказов.

**Иехошуа Бар-Иосеф** (р. 1911 г.) — прозаик и драматург. Печататься начал в 1936 году. Самое значительное его произведение — трилогия «Зачарованный город». В трилогии прослежена судьба одной семьи на протяжении четырех поколений. Его перу принадлежит также роман о жизни бухарских евреев «Мать дочерей» и сборники рассказов «Голос страстей», «Новый дом» и др. Автор пьес «В закоулках Иерусалима», «Старик», «Мой муж министр» и др. Хорошо знает жизнь евреев Палестины времен турецкого владычества и британского мандата, особенно выходцев из Йемена, Бухары и Персии, и реалистически описывает их в своих произведениях.

**Ханох Бартов** (р. 1926 г.) — опубликовал три сборника повестей и рассказов. Его повесть «Все мы шестикрылые» — о жизни эмигрантов, прибывших после второй мировой войны в Израиль, их горестях и радостях, стремлении поскорее приспособиться к новым условиям жизни — была инсценирована. Публикуемый здесь рассказ «Чужой» взят из сборника его новелл «Маленький базар».

**Альберт Бени** (р. 1922 г.) — прогрессивный израильский новеллист, драматург, журналист, литературный и театральный критик. Свою литературную деятельность начал с опубликования коротких рассказов о жизни в фашистских концентрационных лагерях, где находился сам в течение трех лет. Является редактором журнала «Народен глас», еженедельника компартии Израиля на болгарском языке. Его перу принадлежат книги: «Рассказы и фельетоны» (1952 г. на болгарском языке), «Недостающее звено» — пьеса, написанная им в соавторстве с прогрессивным литературным критиком М. Харсегором, сборник рассказов «Голубая птица» (1962).

Советские читатели знакомы с переводом на русский язык его рассказа «Случай на карнавале».

**Мириам Бернштейн-Кохен** (р. 1895 г.) — выдающаяся актриса и популярная писательница. Пишет на языке иврит. Является автором романов «Мефистофель» (1937) и «Пожар» (1938), многих рассказов и стихов.

О рассказе «Поединок», включенном в сборник, писательница сказала: «Я пыталась в нем затронуть один из самых больных вопросов нашего общества».

**Иехуда Бурла** (р. 1887 г.) — много лет работал учителем. В 1918 году написал серию очерков «Среди арабских племен». Широкую известность завоевали его романы «Ненавистная жена» (1928), «Необузданная» (1930), «Наамá» (1934) и особенно «Злоключения Акавьи» (1939), а также многочисленные сборники рассказов. Для них характерны острый драматический конфликт и глубокое проникновение в душевный мир героев — «маленьких» людей, мятущихся в поисках счастья и справедливости.

С большим сочувствием рисует он участь бесправной еврейской женщины Востока, находящейся во власти средневековых догм, обычаев и представлений. Писатель хорошо знает тяжелую жизнь трудового народа — крестьян, ремесленников, мелких торговцев и черпает из нее сюжеты и образы для своих произведений.

Иехуда Бурла много лет был председателем Союза писателей Израиля. В настоящее время является почетным председателем этого Союза. Лауреат национальной премии и премии имени Х. Бялика.

**Атала Мансур** — современный израильский журналист и новеллист. Произведения Мансура насыщены неиссякаемым источником народной мудрости: поговорками, притчами и шутками.

А. Мансур одинаково известен как арабскому читателю, так и еврейскому. Он владеет языком иврит и является разъездным корреспондентом газеты «Хаарец» («Страна»).

**Йицхак Орпаз** (р. 1922 г.) — пишет на языке иврит. Его первые стихи и рассказы появились в 1948 г. Й. Орпаз — автор сборника рассказов «Дикая трава» (1959) и романа «Кожа за кожу» (1962), удостоенного литературной премии.

**Хава Слуцка-Кестин** (р. 1900 г.) — окончила философско-педагогический факультет Варшавского университета. Прозаик. Пишет на идиш. Публикует свои рассказы в газете «Фрай Исроэл», в литературно-художественных альманахах и сборниках

**Моше Стави** (р. 1884 г.) — известен также под литературным псевдонимом Абу-Нааман. Писатель, литературный критик, языковед. Писал на языках идиш и иврит.

В своих рассказах Стави отражает глубокое знание жизни и быта арабской деревни. На русском языке известен перевод его рассказа «Нежданчик».

Наиболее интересные из произведений М. Стави на языке иврит: «Из воспоминаний о детстве», «Дети земли» (1927), «Рано утром» (1930), «Арабская деревня» (1946), «В пути к стране счастья», «Безмолвные друзья» (1950), «Во время заката» (1952), «Те, которые сеют со слезой», «Деревенские рассказы» (1959) и другие.

О рассказе «Хлеб», напечатанном в сборнике, Стави писал: «Радость и сытость, порождаемые дождем, а также несчастье и страх перед голодом при засухе, которые охватывают весь животный и растительный мир, все, что находится под солнцем, независимо от его вида, рода, семьи и ступени развития, расы и народности... все это захватило меня с первых моих шагов на литературном поприще. В данном рассказе я пытался выразить страдания, связанные с засухой».

**Ш. Таль** (р. 1910 г.) — начал печататься в нелегальной коммунистической прессе Палестины во времена британского мандата. Регулярно публикует свои новеллы в газетах, журналах и сборниках, издаваемых Коммунистической партией Израиля.

**Беньямин Тамуз** (р. 1919 г.) — прозаик и журналист. Обладает ярким сатирическим дарованием. Регулярно публикует в печати сатирические обозрения и фельетоны на злобу дня. Редактор газеты для детей «Хаарец шелану» («Наша страна»). Сборник рассказов Б. Тамуза «Золотые пески» тепло и душевно воссоздает любопытные эпизоды из детства самого писателя. В сборнике «Запертый сад», откуда взят публикуемый здесь одноименный рассказ, подняты важные этические проблемы, волнующие сегодня израильскую молодежь.

**Эвер Хадани** — литературный псевдоним писателя и драматурга Аарона Фельдмана (р. 1899 г.).

Эвер Хадани является прекрасным знатоком растительного и животного мира страны и с успехом описывает его в своих произведениях. Он один из первых писателей, кто обратил внимание на жизнь в селениях, основанных на коллективной собственности. Лирическая повесть Эвера Хадани «Деревянный барак» (1930) посвящена жизни одного такого селения, расположенного в Галилее. Автобиографические повести «Маленький человек» и «Высокие трубы» дают картину тяжелой жизни молодых людей, эмигрировавших в Палестину в 1919—1923 годах. В его повести «Шимон борется с саранчой» рассказывается о тяжелом положении Палестины, которая страдала одновременно и от войны и от нашествия саранчи. Хадани принадлежит целый ряд книг, в которых воспета природа Израиля и ее труженики: «Нахалалим» (1935), «Вахтер», «Пятидесятилетие Галилеи», «Хадера» (1951).

**Хаим Хазаз** (р. 1897 г.) — начал печататься в 1918 году. Один из крупнейших израильских прозаиков. Основная его тематика — крушение старого еврейского местечка и коренная ломка жизни европейского еврейства (роман «В лесном поселке», сборники новелл «Сломанные жернова», «Медные двери», «Кипящие камни» и др.). Писатель охотно прибегает к сатире и даже к гротеску, резко крити-



кую отрицательные явления жизни, обусловленные социальным и национальным гнетом.

Перу Х. Хазаза принадлежат также два романа о йеменитах и историческая драма о мессианском движении. Писатель удостоен Государственной премии и премии имени Бялика.

Для эволюции взглядов этого выдающегося мастера слова, в прошлом нередко отдававшего дань антисоветским предрассудкам, характерно его выступление на съезде израильских писателей в 1962 г. Жалуясь на положение еврейских писателей в Израиле и на слабое влияние художественной литературы на молодежь, Хазаз сказал:

«Иное положение в Советском Союзе. Россия, коренным образом изменившая весь уклад своей жизни и сделавшая русских людей совсем другими, хранит свои литературные богатства как зеницу ока. Ежегодно там издаются произведения всех без исключения писателей, больших и малых, массовыми тиражами. Это значит, что народ много читает. Русская молодежь собирается под открытым небом, у памятников поэтам, декламирует стихи, ведет дискуссии...»

Писатель призвал израильскую общественность следовать этому примеру.

**Иехудит Хендель** (р. 1925 г.) — печататься начала с 1942 года. Завоевала широкую известность своим романом «Ступенчатая улица» (1954) — о жизни израильской молодежи в послевоенные годы. Роман был инсценирован. Большое место в ее творчестве занимает проблема взаимоотношений различных еврейских общин, главным образом ашкеназитов и сефардитов.

**Яков Хургин** (р. 1899 г.) — популярный новеллист, литературный критик, детский и юношеский писатель. Рассказы Я. Хургина рассчитаны прежде всего на юного читателя и посвящены сельским труженикам. Арабы и их быт занимают значительное место в этих произведениях.

Он является автором детских и юношеских книг: «Из блокнота учителя» (1937), «Среди озверевших людей», «Чудесный бриллиант», «Посреди моря» (1939), «От углов жертвенника», «Серебряный терем», «Освобождение» (1940), «Снопы» (1957), «Разведчик из квартала бараксов и другие рассказы» (1957).

Я. Хургин написал несколько исторических романов: «Иерусалим в пламени», «Смерть героев» (1931), «Стена Агриппы» (1934), «Три исторические повести», «Герои нашего народа», «Молодые зелоты» (1936).

Русскому читателю известен рассказ Я. Хургина «Рабби Шмельке из Цефата» (Восточный альманах, вып. 4, 1961).

**Шимон Цаббар** (р. 1926 г.) — художник, журналист и писатель. Начал печататься с 1948 г. В 1954—1960 гг. Цаббар публиковал в газете «Хаарец» сатирические очерки, к которым сам же рисовал карикатуры. Для его стиля характерным является широкое использование разговорной речи.

Ш. Цаббар является автором двух книг о путешествиях: «Как я открыл Африку» и «Как я открыл Европу». Участвует в газете «Кол-гаам», откуда взят рассказ «Охранник, который не хотел продавать фалафел».

**К. Цетник** — литературный псевдоним популярного израильского писателя Йехиэля Динура (р. 1917 г.). Пишет на языках иврит и идиш. Был участником партизанского движения во время второй мировой войны, а впоследствии — узником Освенцима.

Его перу принадлежат книги: «Саламандра» (1946), «Кукольный дом» (1953), «Часы, которые над головой» (1960), «Его звали Пипл» (1961).

Публикуемый рассказ «Репарации» взят из книги «Часы, которые над головой».

**Моше Шамир** (р. 1921 г.) — прозаик и драматург. Много лет жил в кибуце, занимаясь сельским хозяйством. Первый свой роман — «Он шел по полям» — опубликовал в 1948 году. Этот роман сразу выдвинул Шамира в число наиболее талантливых молодых писателей страны. Шамир — автор ряда исторических произведений, из которых широкую известность завоевал роман «Царь из плоти и крови» (1954) — об эпохе Александра Янная (I в до н. э.). В этом многоплановом произведении показана без прикрас жестокая классовая борьба, полыхавшая в ту пору в Иудее. Автору удалось правдиво нарисовать широкое историческое полотно, воссоздать целую галерею впечатляющих

образов. За этот роман М. Шамир награжден литературной премией имени Бялика.

Продолжением романа является пьеса «Война сынов света» (1956) — о всенародном восстании против деспотии Янная. Перу Шамира принадлежат также рассказы о жизни израильской деревни. Шамир редактирует журнал «Театрон», посвященный проблемам театрального искусства.

**Натан Шахам** (р. 1925 г.) — прозаик и драматург. Тематику для своих рассказов черпает из израильской действительности. Наиболее известны такие его книги, как «Ленивые боги», «Всегда мы», «Квартал ветеранов». Несколько его пьес были поставлены в театрах, в том числе пьеса о палестинской войне «Они доживут до завтра». Участвовал в Московском фестивале молодежи и студентов (1957 г.), о котором написал книгу. Член редколлегии «Рабочей библиотеки» — большой серии книг, которую издает Объединенная рабочая партия.

**Иехуда Яри** (р. 1900 г.) — долгое время работал сельскохозяйственным рабочим, одно время служил библиотекарем Иерусалимской университетской библиотеки.

И. Яри — писатель и драматург, посвятивший почти все свое творчество описанию тяжелой жизни эмигрантов в Палестине после первой мировой войны. Пишет на языке иврит. Он — автор сборников рассказов и повестей: «Словно свет сияет» (1937), «В шатрах» (1938), «Мужские поступки» (1940), «Когда меняется вахта» (1940), «Корнями в воде» (1951) и пьесы «Сорок дней на море».

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Израильская литература и ее истоки. <b>А. Вергелис</b> . . . . .	5
<b>И. Ави-Давид.</b> Одиночество. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	17
<b>М. Ави-Шаул.</b> Странная собака. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	26
<b>А. Амир.</b> Проза. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	37
<b>А. Апельфельд.</b> В подвале. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	49
<b>И. Бар-Иосеф.</b> Месть носильщика. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	61
<b>Х. Бартов.</b> Чужой. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	71
<b>А. Бени.</b> Первая премия. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	78
<b>М. Бернштейн-Кохен.</b> Поездик. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	83
<b>И. Бурла.</b> Лора. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	90
<b>А. Мансур.</b> Два кофе. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	120
<b>Й. Орпаз.</b> Дикая трава. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	127
<b>Х. Слуцка-Кестин.</b> В ханукальные дни. <i>Перевод с идиш А. Белова</i> . . . . .	143
<b>М. Стави.</b> Хлеб. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	155
<b>Ш. Таль.</b> Походный шелкопряд. <i>Перевод с идиш А. Белова</i> . . . . .	169
<b>Б. Тамуз.</b> Запертый сад. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	172

<b>Э. Хадани.</b> Матрац. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i>	187
<b>Х. Хазаз.</b> Румье и Шалом. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . .	193
<b>И. Хендель.</b> Братская могила. <i>Перевод с иврита А. Белова</i>	232
<b>Я. Хурин.</b> Самир. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i>	242
<b>Ш. Цаббар.</b> Охранник, который не хотел продавать фалафел. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	250
<b>К. Цетник.</b> Репарации. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	256
<b>М. Шамир.</b> Сила дождя. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	260
<b>Н. Шахам.</b> В горах. <i>Перевод с иврита А. Белова</i> . . . . .	276
<b>И. Яари.</b> О чем плакал Йорам. <i>Перевод с иврита Л. Вильскера-Шумского</i> . . . . .	301
<b>Коротко об авторах</b> . . . . .	311

1p.042